23-1-14

«Каждый иконописец сегодня должен пройти тот же путь, которым прошли русские иконописцы после принятия на Руси христианства...»
Архимандрит Зинон.

Псково-Печерский Успенский монастырь. Святая горка. (Справа — церковь Всех Псково-Печерских преподобных.)

О современных иконописцах читайте на стр. 31—32.



ISSN 0868—4855. Слово. 1991. № 5. 1—88. Индекс 70110. 1 р. 50 к.

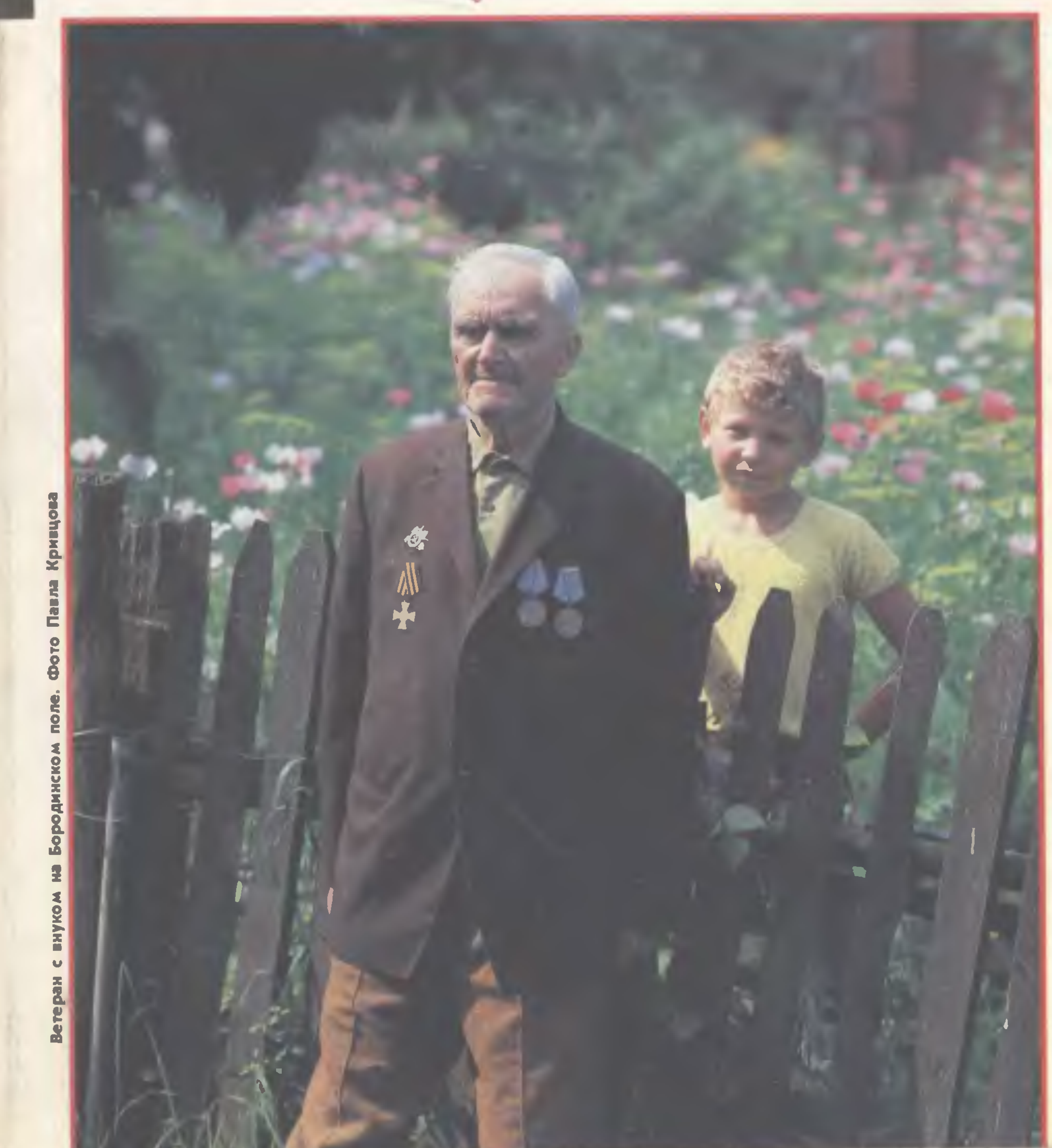
С

МАЙ

ISSN 0868—4855

СЛОВО

V 91



Ветеран с внуком на Бородинском поле. Фото Павла Кривцова

Русь моя, милая Родина…



Вологодский кремль

В трудную пору наших душевных смятений, переживаний за «украсно украшенную Землю Русскую», опять растерзанную, опять, как после батыевых нашествий, обездоленную, редакция приглашает художников-графиков и фотомастеров, воспевающих край наш отчий, выступить на страницах журнала со своими произведениями. Поэтому и эпиграфом мы выбрали есенинскую строку «Русь моя, милая Родина...» Мы хотим, чтобы эти публикации стали своеобразным творческим конкурсом, и в конце 1992 года лучшие из лучших будут отмечены дипломом и денежной премией. Две премии — по 1500 рублей присуждаются графикам и две — по 1000 рублей — фотомастерам.

Очерк о художнике Леонида Щетнева читайте на стр. 76—77.

К 50-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Последние — из миллионов

Чем меньше их остается на земле, тем ранимее память о них. О них о всех — и тех, кто навсегда остался в опустевших, гулких полях брани, и тех, кто вернулся домой, найдя свой предел на городском или забытом Богом и людьми сельском кладбище... Ранимее память и чувствительнее всякая несправедливость, забывчивость, надсаднее и больнее усиливающееся равнодушие, цинизм современного озлобленно-агрессивного общества, как будто они не землю родную защитили, а посеяли испепеляющее душу зло...

Поглядите в эти бездонно-ясные глаза... И задумайтесь: чем же провинились перед нами эти мужики, эти последние из миллионов, эта неотъемлемая от Армии-победительницы горстка защитников советских народов и народов беспамятной ныне Европы? В чем же их вина? А может, в том, что они не ушли из жизни раньше нового времени, выплеснувшего на них ненависть к Армии, к солдату, к ветеранам, к добрым традициям, ставшим священным правилом — прежде любить и защищать Отечество, потом думать о себе.

В эти скорбные дни отечественной истории, отягощенные насилием разъяренных сепаратистов-националистов и интернационалистов, блудливых антинародных политиканов, пекущихся о своем сокрытом пока теневом капитале и о вожделенной власти над народом, невольно подумаешь о десятках миллионов людей, оставшихся на полях последней мировой войны. Ради чего они погибали, если столь печальный оказался результат их самоотверженности и самопожертвования?! Земля, ими защищенная, вновь поругана, а дети их вновь сирые и обкраденные уже собственными грабителями. Вот уж воистину бывает ли трагедия более чудовищная: целый народ в мирное время подведен к краю пропасти, к возможному уничтожению и даже исчезновению из рода человеческого. А все это только за то, что он оказал человечеству неоценимую услугу и выказал свою, от Бога данную, бескорыстность, доброту и миролюбивость...

Уроки войны, ее жертвы... Можно ли о них забывать, когда они и сегодня с нами?!

Есть солдатский вклад в войну и моего родного села Койнас, основанного новгородскими ушкуйниками на реке Мезени около шестисот лет назад. И сказать об этом вкладе я хочу вовсе не из преувеличенного земляческого чувства, не из желания отметить особые заслуги своих, а из чувства справедливости. Ведь из десятков тысяч российских деревень, таких, как Койнас, пришел на фронт основной пеший, смертный люд. Кому теперь не известно, где чаще всего воевал солдат из деревни. Нередко мало знакомый с техникой, он, конечно, оказывался в пехоте, в окопах первой линии, где освобождаемая от врага земля, пядь за пядью, выстилалась солдатскими телами. Нигде и ничего более откровенно простого, естественного и тяжкого из фронтовой, окопно-полевой жизни я не слыхал, как в родном селе, в рассказах моих земляков. И всегда меня поражала неотразимость и неожиданность солдатской смерти...

Так было на всенародных героических Куликовом и Бородинском полях, так было на Неве и под Полтавой — в боях со шведами, так было и в Сталинградском котле, опрокинувшем гитлеризм.

Да, за родную землю и справедливость для всех народов русские постоять умели! Этого ли не знать Европе, трижды спасенной русскими мужиками. Их мужественными смертями приближалась победа. И как же должно быть горько сегодня оставшимся в живых бойцам смотреть, как сносят европейцы памятники с братских солдатских могил, а то и надругаются над прахом,



как разрушают памятные воинские обелиски победителям и как спешно водружаются постаменты врагам и предателям...

Удивительно короткая оказалась память у когда-то порабощенных фашистами народов Европы и спасенных от гибели и унижения русскими мужиками. Поймет ли, оценит ли она когда-нибудь это, неблагодарная, забывчивая Европа?!

Мы, дети войны, конечно, не просто знали ее спасителей в лицо. Они для нас — неотделимая часть нашей собственной трагической жизни. И теперь, когда они по всякого рода хворобам, беззащитные, а нередко униженные и оскорбленные, ослабевшие раньше времени от перенесенных фронтовых тягот, спешно покидают эту грешную землю, самое время вспомнить о них добрым, сыновьим словом. Ведь таких безоглядных героев и мучеников уже не будет на этом веку...

Из девяти небольших деревень нашего Сульского сельсовета ушло на фронт более шестисот человек! Из них погибли в боях и умерли от ран в госпиталях 355 бойцов. В пору, когда появилась эта групповая фотография, здравствовало по сельсовету еще 78 ветеранов, а в нашем селе их было тридцать два. На день съемки не все оказались в Койнасе, кто-то был в отъезде, кто-то в больнице... Но те, кто смог прийти, — не отказались.

И теперь, спустя шесть лет, не знаю, как вы, дорогие читатели, а я с грустью смотрю на фотографию, хотя лица на ней улыбающиеся и вполне симпатичные. Но мне-то они еще и родные. Многих из них я знаю с детства, с дней их послевоенной молодости. Есть тут и те, кто учил меня в школе, и те, с кем я работал в поле, на пожне стоял на покосе, и те, с кем связан близким родством — дядьки мои, с которыми уже в зрелую пору сиживал я в долгом праздничном застолье и знавал счастливые часы радостных разговоров-открытий...

И вот уж отлетающая жизнь. Прощальные годы...

Эту групповую фотографию мой старинный друг и замечательный фотомастер Павел Кривцов снял в апреле 1985 года. Мы приезжали с ним в Койнас, чтобы для газеты «Советская Россия», где мы тогда работали, подготовить репортаж о фронтовиках к 40-летию Победы. Но эта фотография в газету не попала. Сказали, мол, она скорее для семейного альбома. А мы и не настаивали, было много других хороших фотографий. Эту же послали каждому фронтовику на память... «Помните, отцы, подольше апрельскую встречу 1985 г.», — написал им я.

А фотография и правда оказалась памятной. В экспозиции сельского музея отведено ей почетное место. Нечасто выпадали им такие фотографии, ведь встречи их, как правило, запечатлевал тусклый любительский снимок. А сами ветераны при встрече почти всегда ненароком да вспомянут, только в последние два года уже с горечью утраты, с поминанием тех, кто остался на фотографии да в их сердцах...

За эти годы похоронили Юлия Николаевича Бобрецова и Петра Борисовича Втóрого, Александра Васильевича Жданова и Евгения Сергеевича Ларионова, Ефима Ефимовича Михеева и Анатолия Аполлоновича Михеева, Федора Дмитриевича Попова и Дмитрия Гавриловича Попова и еще троих из тех, кого нет на этой фотографии, — Василия Васильевича Игнатьева, Алексея Васильевича Попова и Николая Демьяновича Саукова...

Но что останется в памяти о тех, кто не пришел с войны, кто так и не узнал высокой и горькой правды не только о самой их Победе, но и о трагической судьбе их несчастной Родины, разоренной и опустошенной уже не внешними, а внутренними врагами за долгие годы сталинизма-волюнтаризма-застоя и перестройки? Разорение-то оказалось даже несравнимое с войной. Как тут не опечалиться, как не затосковать, не скукожиться сердцем. Ведь кругом опять лихолетье!

И все же мы хотим задержать память о наших фронтовиках. Хотят ее задержать и в моем селе. Усилиями фронтовика-учителя Александра Васильевича Непомилуева и подопечных его школьников-краеведов создан сельский музей, в нем самый большой зал о фронтовиках. На стенах фотографии совсем еще молодых людей, довоенные, тех, кто не вернулся с фронта, и послевоенные, чаще уже стариковские, тех, кто, прожив свою послевоенную жизнь, почил на сельском кладбище. Здесь же собраны и боевые реликвии — медали, ордена, офицерские удостоверения, даже кортик есть, подаренный семьей капитана первого ранга Василия Прокопьевича Богданова — нашего односельчанина.

Но есть, с моей точки зрения, и совершенно бесценные реликвии, например, письма с фронта или записанные рассказы солдатских вдов...

Письма Семена Ивановича Бородина нам любезно предложил Александр Васильевич Непомилуев. Они хранятся в сельском музее, переданные детьми Семена Ивановича. Я помню их, учился вместе с ними. Как помню и мать их, красивую, молодую, веселую и беспокойную Марину Бородину. Но в селе теперь уж никого из них нет. Марина Николаевна давно умерла, а дети разъехались...

Но вот письма хранятся. Я читал их с волнением, пораженный естественной простотой обыденности и жертвенности на войне. Щемящее чувство тоски и надежды, как печальная мелодия осени, звучит в каждой их строке, несмотря на наставительный, учительский тон Семена Ивановича. Он учителем остался и в письмах к молодой жене. Ни при каких трудностях его не покидала житейская обстоятельность, рассудительность, нетерпимость ко всему, что в глазах людей может выглядить плохим. И через все письма — одна неуемная, все поглощающая мысль об окончании войны и о хорошей жизни в то новое мирное время... Но неведомо ему было, чем для нас обернутся эти мирные десятилетия. Вот уже полвека отмечаем, как началась война, на пороге и полувековой юбилей Победы. Президент издает указы о подготовке к знаменательной дате. Но кто издаст указ о хорошей жизни, за которую погиб Семен Иванович и миллионы таких солдат, как он...

Да, нам есть о чем подумать в эти майские и июньские дни 1991 года. Не такими их видели наши отцы, не такими... Пусть хоть память о них, об их короткой жизни нас чему-нибудь научит, откроет нам глаза на их легковерность, доверчивость, наивность и простодушие, которые столь активно и беззастенчиво использовались и по сей день используются «вождями народа». Одурачивание и околпачивание «темных масс», обманутые надежды — это, пожалуй, похуже изнурительной и тяжелой войны.

Но все же гибельной ценой их доверчивых и добрых сердец Отечество спасено. Но будет ли оно спасено в будущем?!

Мы ведь совсем не такие, как они, и не лучше их. Выстоим ли, удержим ли, спасем ли Отечество и народ от внутреннего, все пожирающего дьявола, от властолюбиво-сатанинских сил, покусившихся на добро, на правду, на справедливость, иа тысячелетние традиции и устои великого русского народа?

Ах, если бы знали солдатушки — наши защитники и страдальцы — разверзшуюся пустыню беспамятства дней нынешних...

Видно, так уж ведется в человеческом роде, что чем агрессивнее бездуховность, тем беспамятство, как ржа, все более разъедает души — ни сочувствия, ни участия, ни доброго движения сердца. Все глухо, немо, одиноко... Одолеем ли беду, не обрастем ли лишайниками, не потеряем ли человеческое обличье, облик наш национальный, столь яростно и бережно пронесенный через века и тысячелетья?!

Вот о чем думаю я и печалюсь, когда память моя обращается к фронтовикам родного села, к простым человеческим документам из нашего сельского музея — фотографиям на память, письмам с войны и воспоминаниям, чудом сохранившимся...

АРСЕНИЙ ЛАРИОНОВ

НАРОДНАЯ ЖИЗНЬ. *Фронтовики родного села*

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ СЕЛА КОЙНАС. АПРЕЛЬ 1985 г.



I-й ряд —

Прелова Раиса Александровна,
Кузьмин Федор Григорьевич,
Жданов Александр Васильевич,
Ларионов Константин Ефимович,
Попов Евгений Егорович,
Второй Петр Борисович.

II-й ряд —

Ларионов Николай Сергеевич,
Леонтьев Петр Дмитриевич,
Обросков Петр Иванович,
Михеев Ефим Ефимович,
Прелов Александр Петрович,
Попов Дмитрий Гаврилович,
Попов Федор Дмитриевич.

III-й ряд —

Попов Константин Никифорович,
Попов Иван Васильевич,
Антонов Феофан Григорьевич,
Галкин Александр Иванович,
Попов Сергей Маркович.

IV-й ряд —

Фетьянов Александр Иванович,
Непомилуев Александр Васильевич,
Бобрецов Юлий Николаевич,
Ларионов Евгений Сергеевич,
Михеев Анатолий Аполлонович.

Фото **ПАВЛА КРИВЦОВА**

Наша жизнь еще впереди



Бородин Семен Иванович. Фотография с фронта. 1943 г.

1 января 1943 г. г. Архангельск

Дорогая Марина, Юра, Шура, Рита!

Поздравляю вас с Новым годом и желаю в вашей жизни всего наилучшего. Полагаю, вы сегодня не работаете и вообще празднуете. А я выполняю боевую задачу с 8 часов вечера со вчерашнего дня и почти совершенно не спал.

Несколько раз перечитывал твои телеграммы и письма. Дал ответ на телеграмму и дал приветственную телеграмму детдомовцам. Очень сожалею, что не получил на Новый год твоей посылочки. Скучаю. Вот сижу, а покурить нечего. Учеба моя, видимо, будет продолжаться в январе, хотя обстоятельно подготовились выехать до 1 января. Значит, посылочку я все-таки получу. Очень рад, Марина, что твоя ревизия закончилась с успешным результатом, т. е. у тебя все обошлось благополучно. Я верю тебе, что и впредь при твоей заботе и внимании ничего плохого произойти не должно. Не стесняйся чаще обращаться за советом к Ларионову. Он тебе всегда поможет и хорошему научит. Напиши мне как к тебе относится правление колхоза, работает ли председателем Илья Егорович и кто председатель с/совета. У кого живешь на квартире, сколько платишь в месяц, как дрова. Получаешь — нет пособие и сколько. Сегодня мне звонил по телефону Тимофей Егорович. У них, оказывается, устраивают новогодний праздник. Вообще, он на сегодня живет лучше и свободнее моего. Оно, конечно, и понятно. Он рядовой красноармеец, а я курсант. Я должен научиться переносить всякие условия, чтобы стать достойным командиром Красной Армии. Ну и пока.

Крепко целую, Сеня.

5.01.43 г.

Марина! Сейчас Попов Н. Я. передал мне пачку папирос «Беломор-Канал» и коробку спичек. Самого Бобрецова я не видел. Большое спасибо, Марина! Больно мне только от того, что когда ты передавала мне папиросы — плакала.

Целую, Сеня.

---

16 января 1943 г.
г. Архангельск

Дорогая Марина!

Моя учеба закончена. Ценой огромного напряжения всех своих сил я добился того, что государственные экзамены сдал кругом на «отлично». Мне, не служившему в армии, доставалось иногда очень трудно. Но истинно положение, что нет преград человеку, если он настойчиво добивается своей цели. Я был, как всегда, настойчив и я добился. С чувством исполненного долга перед партией, перед Родиной пишу эти строчки. Плюс к этому за все время не имел ни одного взыскания от командования, а имею несколько благодарностей. Более того, я был парторгом взвода. Мои товарищи славные хлопцы. Дружные. Наш взвод дал лучшие показатели на экзаменах не только по роте, но и по всему училищу.

Вот таким образом я могу сообщить тебе о своих успехах в ответ на твою телеграмму. Теперь предстоит благородная задача — ехать на фронт и истреблять фашистов. Полагаю, и оттуда ты услышишь обо мне хорошие вести. Когда еду и куда пока неизвестно. Военноа звание официально пока не присвоено. Знаки отличия уже заготовлены и имею на руках. По некоторым данным будет присвоено звание лейтенанта. Сегодня переехали в новое помещение. Занятий нет. И вот, стало скучновато. Буду просить отпуск в город. Хотелось бы повидать Тимофея Егоровича.

18.01.43.

Сегодня Попов и Рудаков получили посылки, а моей нет. Сегодня у них праздник, а мне придется около их...

Ну и пока. Крепко целую. Сеня.

Рыбинск.
2 февраля 1943 г.

Дорогая, милая Марина!

Благополучно продолжаю свой путь. Сегодня прибыл в волжский город Рыбинск. Конечно, в самом городе, как и в Ярославле, побыть не удастся, но все-таки много новых людей, новых впечатлений. Все больше чувствуется дыхание войны, близость фронта. Настроение мое, как всегда, отличное, здоровье превосходное. Товарищи мои очень хорошие люди. С такими друзьями мне не страшно идти в бой. Через эту станцию проходили Михаил Васильевич, Литов Иван Максимович, мой брат Иван и другие защитники Родины. Теперь очередь моя. Будьте покойны, честно трудитесь в тылу, а мы не опозорим чести воина Советской Армии в открытом бою с извергами-фашистами.

Пока до свидания. Крепко целую —
Сеня. Целую детей.

НАРОДНАЯ ЖИЗНЬ. Фронтовики родного села. Письма с войны

---

20 апреля 1943 г.

Здравствуй, Марина!

Вызывает серьезное беспокойство такое положение, что до сих пор я не получил от тебя ни одного письма. В чем дело? Получил письмо от Тани Поташевой, от Патракова, от Игнатьевой Афимьи, из Смоленца, из Барнаула. До этих писем я мог думать, что дело в задержке почтой. А теперь? Моя мысль работает в том направлении, что ты сама не отвечаешь на мои письма. Если это так, то дело гораздо сложнее и принимает серьезный оборот.

О себе. Пока жив, здоров, не ранен. Свое дело исполняю с честью.

---

20 апреля 1943 г.

Здравствуйте, родные!

Ваше письмо, писанное 28 марта (писала Галя), получил. Очень рад. Рад за то, что все вы живы и здоровы. Сегодня исполнился год, как я в прошлом году расстался с вами в Лешуконске. Год времени много — за это время мне удалось многому научиться, много кое-что посмотреть и пережить. Трудно досталась учеба в Архангельске. Однако, приложил все свои силы и освоил военное дело. Подготовил себя к смертельной борьбе с гитлеровскими мерзавцами. С февраля месяца нахожусь на фронте, на передовой линии. Конечно, наше дело такое, что о жизни хотя бы на завтрашний день думать не приходится. Каждую минуту может поразить шальная пуля, разрыв мины или снаряда. Но с этим скоро свыкаешься, да и раздумывать долго не приходится. Случалось так: вместе с бойцами я попал под сильный минометный огонь. Были убитые и раненые. Я потерял двух связных. Каким-то чудом остался жив и даже не ранен. Но в этот момент я думал только о том, как мне лучше выполнить боевую задачу, сохранить моих бойцов и перевязать раненых. О том, что моя жизнь была на волоске, я осознал только тогда, когда была выполнена задача, доложено по команде и расположились на отдых. Бойцы, особенно молодые ребята, мало заботятся о себе. Все помыслы о том, как бы выполнить поставленную задачу, и больше заботятся о своем товарище. Отсюда на фронте среди бойцов такая дружба, какой мне не приходилось встречать в мирной жизни. Ну да оно и понятно. Вдали от родных, жен, детей, ежеминутная смертельная опасность сближает людей. Вся любовь человеческого сердца переносится на товарища.

Понятна беспредельная радость бойца, когда он с родины получает письма. С тех пор, как я выехал на фронт, от Марины не получил ни одного письма. Так что совершенно не знаю, как она живет, как ее здоровье, каковы мои дети. Хотя вот от вас и из Койнаса письма получил. Марине я писал много писем, посылал с дороги телеграммы. Выслал деньги, так что думаю материально она живет неплохо. О том, что ей дают в Кебе комнату, и где она хочет жить в будущем, я не знаю, по крайней мере она мне ничего не писала, когда я получал от нее письма в Архангельск. Да, Шурик живет в чужих людях. Хозяйка, Раиса Ильинична, очень хорошая женщина и думаю Шурик живет не в обиде. Печально, что нет известий от брата Ивана. Будем надеяться, что с ним ничего не случилось, после войны благополучно явимся домой. Теперь я узнать его адрес не могу. Его жену и детей всеми силами надо поддержать.

Ну вот, пока и все.

Если это возможно, сфотографируйтесь все и пошлите мне карточку. А то мне вас вспомянуть нечем. Хлопцы мои показывают фотографии отцов, матерей, жен, детей, невест. А у меня вашей фотографии нет.

С красноармейским приветом ваш сын С. И. Бородин. Привет Дарье Ивановне, Марии Александр., Марфе Ивановне, Александру Ильичу, Евд. Ив., всем, всем.

Мой адрес: Полевая почта 37249В, мне.

---

28 апреля 1943 г.

Дорогая Марина!

Во-первых, поздравляю с праздником 1 Мая. Хотя от тебя не получил ни одной строчки, но считаю долгом сообщить, что после некоторого перерыва иду на выполнение боевой задачи. Удастся ли еще тебе написать, видно будет. Конечно, если жив буду — сообщу. Ну вот и все. Не получая от тебя писем, не знаю, как вы живете, не знаю, что и писать. От детдомовцев получил коллективное письмо.

С приветом — Сеня.

---

10 июня 1943 г.

Здравствуй, дорогая Марина!

Наконец-то я получил от тебя письмо и не одно, а зараз два. Очень рад. Всего на фронт получил от тебя уже 3 письма. Первое письмо до того заволочил, что неможно больше читать. Одно письмо вы писали вместе с Юрой 23 апреля, а второе писано 6 мая. Письма сходили в мою часть и оттуда сюда, где я учусь. Юрино письмо читали коллективно с моими товарищами.

Из писем видно, что в мае ты еще не получала от меня денег. Печально. Что зависит от меня, я сделал все. Деньги перевел на тебя в Сульское п/отделение. Всего переведено денег:

Из Вологды в январе 700 руб.

Из части в марте 1000 руб.

Апрель 300 руб.

Кроме того, за май месяц ты должна получить по аттестату из райвоенкомата 400 руб. И начиная с мая месяца получать ежемесячно из военкомата по 400 руб. Конечно, все деньги ты когда-нибудь получишь, но придется подождать. За июнь месяц ты получишь в военкомате 400 руб. Дополнительно перевести тебе не смогу, так как подписался на приличную сумму на Второй Военный Заем, надо оплачивать подписку. Марина, я посылал отцу за два раза 300 руб. За июнь сколько-нибудь тоже пошлю и так ежемесячно, так что ты деньги расходуй, одевай и воспитывай детей. Пусть тяжесть войны ложится на нас, мы ее снесем на своих плечах. Дети — наше будущее. Это ради их лучшие люди страны, обливаясь кровью, насмерть бьются с фашистами. Мысль о защите счастья наших детей, родных земель, придает храбрости и смелости нам, бойцам Красной Армии. Я знаю и твердо верю в одно: если я погибну за это святое дело, останутся наши дети, которые будут счастливы, не будут забыты Советским Государством. Конечно, жить хочется, особенно хочется дожить до часа — увидеть нашу землю свободной от фашистских захватчиков. Хотя бы на короткое время повидать тебя, Марина, наших детей, отца и мать. Война без жертв не бывает. Много погибло прекрасных людей. Предстоят последние решительные бои. Опять будут жертвы — таков основной смысл слова «ВОЙНА». Ты права, когда пишешь, что все надо перетерпеть, пережить. Золотые слова. Что бы не случилось, дорогая, будь мужественна, стойко переживай, переноси.

Да, Марина, очень мне хочется на вас посмотреть на фотокарточке. Пошли хоть какую-нибудь. Скоро учеба моя закончится, и куда-то я опять перееду на новый адрес. Ну, конечно, сообщу. Очень жаль Ивана Вавиловича. Пиши, что у вас нового. Как живет Раиса. Я ей писал два письма, и она почему-то не ответила.

Я кончаю. Надо идти...

Напишу уже с нового адреса, но ты пиши по старому, перешлют. Если поедешь в Кебу, передавай привет маме, Феде, Сане. Но, наверное, тебя не отпустят.

Крепко — крепко целую — Сеня.

---

12 июня 1943 г.

Дорогая Марина!

Сегодня закончилась моя напряженная учеба. Друзья

мои ушли на кино. Странное дело: когда живешь на месте, так все куда-то стремишься, ждешь, кек бы поскорее, а придет время — уезжать не хочется. Да, дорогая, снова стою перед фактом куда-то ехать... А куда — неизвестно? Твердо знаю только одно, мне предстоит возможность поехать на крупную военную учебу, вплоть до командира танка, даже самолета. Боюсь только одного — подведут мои глаза и машину не доверят. Завтра надлежит мне км. 70 пройти пешком. И будет известно, куда нас с товарищами разбросают. Можешь себе представить, Марина, как я бы хотел быть танкистом. Завтра будет решаться моя заветная мечта. Учебу кончил успешно. Так что преграды ни в чем не должно быть. Неужели я настолько счастлив, что буду изучать чудную машину — танк, управлять и давить проклятых гансов и фрицев. Если же почему-либо не попаду на крупную учебу, пойду на передовой край, сяду за «Максима», а там будь, что будет.

Здоровье мое хорошее. Война многому научила. Ежедневно приходится проходить от 20 до 30 км и ничего. Ноги не стал мять, как это было дома. Слабость была моя ходить в жаркую погоду. Вспомнил твой совет, использовать холодную воду и тоже ничего. Чувствую, если останусь жив после войны, никакие трудности мне будут не страшны: ни физические, ни морального порядка.

Итак, милая моя Марина, можешь поздравить меня с окончанием маленькой учебы и пожелать успехов на большой, большой дороге...

Крепко — крепко целую — Сеня.

Скопин
14 октября 1943 г.

Здравствуй, дорогая, милая Марина!

Сегодня получил от Насти письмо, но захотелось непременно написать тебе. Пересылаю Настино письмо тебе. Кажется живет она неплохо. Сегодня от нас выбыла большая группа товарищей в Архангельск. Что-то так заволновался. Конечно они временно и недолго там пробудут, но все-таки. Сейчас смотрел кино «Светлый путь» и потом слушал радио. Наши войска взяли Житомир. Как и все радуюсь успехам Красной Армии. Верим в скорую окончательную победу. Когда же настанет счастливый час окончания войны и все мысли будут направлены к мирному строительству. Вспомни, Марина, 1941 год. Как тревожно мы слушали «последние известия» и за ужином оживленно их обсуждали. Представляю, как торжествуете теперь вы, когда последние известия залетят к вам. Заслуженное торжество и радость. После стольких невзгод и испытаний как отрадны сталинские слова: «Война приближается к окончательной развязке». Конечно, мне придется еще раз побывать на фронте и иметь дело с погаными фрицами. Но теперь характер войны уже не тот. Веселит душу военного человека стремительное наступление, изгнание врага из наших городов и сел. Надеюсь, ты Юрика держишь в курсе политических событий соответственно его возрасту, и он уже кое-что смыслит в этом вопросе. Представляю, как бы я с ними разговаривал теперь по утрам, в ожидании, когда ты сготовишь завтрак. Да, дорогая, все-таки на целых два года оторвала меня война от вас. Но самое тяжелое уже позади. Еще энное количество напряжения сил, тревоги, тоски и призрак смерти не будет вставать над буйными головами наших воинов.

Письмо твое от 16 августа, адресованное в город Казань, получил. Переслал один друг. Рад, что вы живете хорошо, одеваешь детей, справляешься с работой. Вот со мной сидит друг, у него жена и дети попали к немцам. Теперь их город освободили, но он не знает, что сталось с его семьей. Я стараюсь его успокоить, но разве семью заменишь. Он прочитал твое письмо и еще больше расстроился.

7 ноября был в детдоме. Делал доклад. Было угощение, вечер. Но мне отпуск был дан только до 11 часов вечера. Так что праздник провел лучше, чем в прошлом году, но вообще, неважно. Сегодня — воскресенье. Выпал первый снег. Приходится по несколько часов быть на улице, а обмундирование легкое. Ну, как-нибудь. Вот поедем на фронт, оденемся как следует. Марина, я просил тебя послать бумаги. Неужели ты не найдешь пару тетрадей, заверни в трубку и пошли почтой. Ребята получают по почте. На днях получил письмо от Ивана Степановича Бородина. Он в море, где-то около Архангельска. Пишет, что был недавно в Архангельске.

Пока все. Пиши чаще и подробнее. Пиши, пока можно, важное сообщай телеграммой. Крепко — крепко целую — Сеня.

Скопин
10 ноября 1943 г.

Здравствуй, Раиса Ильнична!

Я получил телеграмму от Марины и с подписью «Раиса». Думаю, что это подписала ты. Большое спасибо. Для меня непонятно одно обстоятельство, Раиса. Я всегда к тебе лично питал самые дружественные и искренние чувства. Если можно так выразиться, ты для меня была в кругу близких и доверенных людей. Кажется этим же отвечала ты и мне. Твое искреннее письмо получил я в Архангельске, которое ты посылала с Трубиной и Поташевой. С фронта я тебе писал раза два, если небольше. Последнее письмо писал в мае. Получила ли ты его? Думаю, да. Почему же я от тебя не дождусь ни одной черточки. Мне многие пишут, многим отвечаю я. Почему не пишешь ты? Неужели так быстро забыла 1940–42 год. Было кое-что в наших взаимоотношениях хорошее, ради которого можно бы написать. Знаешь, дорогал Раиса, вот уже прошло более 1,5 лет с того дня, как судьба нас раскидала в разные концы страны. Все мы конечно пережили многое, новые чувства, ощущения. Вы — томительное чувство неуверенности, тревоги за нас. Мы — острое, нечеловеческое, грубое, жестокое, кровавое, призрак смерти... Ты — непоправимое горе, утрату навсегда любимого мужа. Я — тяжелое чувство потери товарища, проезд по его следу, аналогичное с ним положение. Судьбе угодно: он — пал смертью храбрых, я — до сего числа жив. Он — не может воскресить прошлого, полагать будущее. Я — вот этим письмом вспоминаю прошлое... и, по закону борьбы за существование, иногда задумываюсь о будущем.

Коль скоро уж я решил написать еще раз, хочу сообщить о себе. Живу сейчас в г. Скопино Московской области. За время войны удалось облазать ленинградские болота, путешествовать по железным дорогам, побывать в столице — Москве, пожить в Татарии. Было у меня в одно время очень хорошее настроение. Именно: когда я находился в танковом училище. Все мои мысли были направлены к тому, чтобы гнать фрицев с нашей земли на танке, побывать кое-где. Помнишь мы шутили с Михаилом Васильевичем о немках. Теперь же я тоже учусь, но в пехотном училище. Может быть с танками и придется встречаться и оперировать с ними, но все это уже не то. Больше всего приходится рассчитывать на свои ходули. Ну, что ж это для меня уже не новость. Пойдем пешком или на автомашинах освобождать Белоруссию, Литву и др. наши республики. Жизнь в Скопине тихая, вроде Койнаса, скучная... Срок обучения предполагается большой, но надеюсь на то, что срок будет сокращен, и я поеду на Запад, на большие дела...

Праздник провел лучше, чем в прошлом году, но весьма далеко от Койнесского. Ходил с докладом в местный детский дом и там провел вечер. После 1 Мая выпил 100 грамм, пели украинские песни, пробовал танцевать под пианино. Хотел бы я знать о Вас, Раиса. Марина вообще пишет весьма скудно, и о тебе почти ничего. Прошу, пиши, как твое здоровье, самочувствие. Где работаешь? Какова Томочка? Как праздновали 7 ноября?

НАРОДНАЯ ЖИЗНЬ. Фронтовики родного села. Письма с войны

Привет Тамаре, Илье Афанасьевичу, маме и всем твоим друзьям.

С сердечным приветом С. И. Бородин.

г. Скопин
21.11.43 г.

Здравствуй, милая Марина, деточки Юра, Рита!

Сегодня выходной день. Ночь провел под открытым небом, даже без огня. Промерз, что называется, до костей. Днем спал, вечером захотелось написать тебе письмо. Мое здоровье слабеет серьезно. Конечно, стараюсь слабости не поддаваться. Дело в том, что выраженной болезни какой-либо нет. С каждым днем все больше чувствую слабость. Похудел так, что на себя в зеркало смотреть неохота. От усиленного умственного напряжения или физических усилий — кружится голова. Первый раз за два года обратился в санчасть. Начинают исследовать, выстукивать. Болезни никакой не определили, начинают прописывать порошки и прочее. Вспомнил я, как бывало лечили Попова Михаила Филип. В общем нахожусь в таком поганом положении: болен, медицина не признает. Ну и приходится нести службу, учиться, исполнять обязанности через силу. Мерзну так, что так никогда не мерз. Даже на фронте, неделями в снегу лучше себя чувствовал. Вчера проходили суточные учения. В начале чувствовал себя хорошо, потом начал слабеть. Домой едва дошел. От товарищей отстал км на 8. Сейчас всего ломит. Раз даже случился обморок. Минуты 3 был без памяти. Очнулся, лежу прямо в грязи. Наших ребят многих направили на фронт, просил и я, но почему-то воздержались. Надеюсь еще на то, что будет лучше, когда наступит зима. А то здесь сырость, грязь непролазная. Предстоят большие походы, лыжные переходы. Серьезно озабочен. Силенок мало, а хуже товарищей быть неохота. Ну ладно, буду надеяться «на авось». Может это случайно, пройдет. Связано с частым переездом с места на место, некоторыми материальными лишениями. Хотелось бы что-нибудь послать Шурику к Новому году. Почему он имеет не посредственные оценки? Может скучает. Надо тебе основательно узнать об этом. Конечно, вредно в середине учебного года переводить из школы в школу. Но я бы был спокойнее, если бы он жил с тобой.

Пока до свидания.

Хотел писать много, но наши пошли в кино. Пиши чаще, больше.

Целую — Сеня

---

8 декабря 1943 г.

Дорогая, милая Марина!

Я от тебя получил два письма кряду, так что отвечаю на обеи письма. Письмам очень рад. Вообще-то от каждого твоего письма становится как-то теплее и все более начинаю верить, что мы с тобою снова повстречаемся и заживем мирной жизнью. Сердечно благодарю за телеграмму с поздравлением с Новым годом и пожеланием отличной учебы. Такую же телеграмму и письмо получил от Чирковой Раисы. На телеграмму ответил, а на письмо еще не успел. Получил два письма от Шурика и от Федора Ник. с Кебы. Установлена связь с Карелиным А. М. Он на фронте, командует одним нестроевым подразделением, награжден медалью «За отвагу». Звание у него старшина. Возмущается тем, что Капа вскоре после смерти Степы вышла замуж. Доволен, что сын у него уже большой и пишет уже письма. Шура написал мне письмо очень хорошо и оценки за первую четверть года. Оценки у него неплохие. Немножечко приписала к его письму его учительница. Я запросил дать мне подробную характеристику на его учебу и поведение. Вообще за учебу Шурика не надо ругать. То, что он имеет без отца и без матери — хорошо. Опасался я за худшее. От тебя теплую одежду он получил. Бабушка ему связала чулки и рукавички. Похвально для тебя, что ты слушаешь последние известия, уверена в скорой победе и очень ждешь меня. Я недавно смотрел кино «Жди меня». Если будет у вас, обязательно посмотри. Не понял в тебя о том, что Раисе ходят письма от заочников. И она говорит по совету Семена Ивановича. Чего-то я не понял. Напиши яснее. Бумагу твою я еще не получил, а очень нуждаюсь. Покупал на рынке три тетради и уплатил 90 руб. Рад за тебя, что ты хорошо живешь с колхозниками и с сельпо. Это очень важно. Быть в почете у народа не каждому дано. Люди всегда уважают за какие-то добрые дела. Я не хотел, чтобы ты расстраивалась по поводу моей болезни. Повторяю, я ничем не болею, только сильно ослабел и похудел. Но я повидал такое, что этому большого значения не придаю. Будет время — поправимся, а сейчас пока с руками и с ногами, значит здоров. Ясно? Это какая Попова М. Ф. болеет? С Селища, что ли? Юрик предвидит далеко. Действительно, если суждено благополучно к вам, посмотрим и Архангельск, и Москву, и многие другие города нашей Родины. За то и воюем, чтобы наши дети были полными хозяевами всего прекрасного на нашей земле, а не немцы. Он прав — кончится война, будет учиться и трудиться в городе. Ему-то будет доступно многое такое, что не снилось нам с тобой. А мои родные, видимо, никогда нами довольны не будут. Они мне писали, что сами бы жили неплохо, но смотали Ивановы дети. Конечно, при первой возможности, еще с фронта я им выслал 500 руб. Отсюда я нисколько выслать не могу. За вычетом вашего аттестата, налога, займа, за питание я не получаю даже на табак. На ремонт сапог, на кино, бритье и пр. расходы изыскиваю средства другими источниками, но все равно выслать сколько-нибудь не могу. Аттестат я высылаю на детей и полностью должна получать ты. Но, а если считаешь нужным поддерживать стариков, дело твое, на твое усмотрение. Но я с тебя потребую, чтобы дети были сыты, одеты и воспитаны. Я прошу тебя результаты ревизии сообщить телеграммой, а то я тоже за тебя очень беспокоюсь. О себе. К Новому году по всем наукам зачет сдал. Большинство отлично. По двум предметам хорошо. Занесен на доску отличников. Кроме того объявлено от командования три благодарности. Одна на новогоднем вечере. На вечере была елка, танцы. Но угощение не для нас. И так Новый год прошел обычным днем.

Пока все. Крепко, крепко целую — Сеня.

---

14 марта 1944 г.

Дорогая моя Марина!

...Я никак не могу представить себе, как это Риточка вышивает платочек папе. У нее уже держится иголка в руках. Я ее представляю «замарашкой», как когда-то ее называла Фима Грибанова. Часто смотрю вашу фотокарточку. Но на фото она кажется мне маленькой у тебя на коленях, как я ее помню. Очень тревожит твоя болезнь. Видимо отразилась тяжелая работа с картофелью и повторилось старое заболевание. Во всяком случае тебе это запускать не следует. Нужно поставить где следует вопрос о невозм. тяжелой работы и обратиться к врачу. О результатах ревизии прошу сообщить. Желательно телеграммой. Очень меня радует твой поворот мысли к критическому отношению к собственной жизни в верховьях рек, в медвежьей глуши. Ты права — у вас дикость неимоверная, отсталость от жизни, конечно, тоже есть. Все это отражается на воспитании детей и уже наложило на них известный отпечаток на всю жизнь. Все это верно. Для меня важно, что ты это осознала сама, дошла и убедилась на собственном опыте. Но это еще не все. Здраво рассуждая, и наше Лешуконское не отличается культурой. Теперь время военное, тяжелое. Кончим войну — все устроим как нельзя лучше. Теперь я спокоен, если что случится на фронте со мною в порыве к такой благородной цели сумеешь выйти в люди сама и вывести детей.

Согласен — время дорогое пропадает. Но если после войны голова останется на плачах — наша жизнь еще впереди.

Вот пока и все. Готовлюсь к новым зачетам к 1 Мая. Пока же сдаю государственные экзамены. Здесь уже весна. Снег почти весь растаял. Дороги высыхают. А зимы так и не было. Хотя померзнуть пришлось больше, чем в Архангельске и на Ленинградских болотах.

Крепко, крепко целую — Сеня.

Посмотри кино «Жди меня» и «Радуга». Целую, Сеня.

Скоро сфотографируюсь в летней форме.

---

12 апреля 1944 г.

(Начало оборвано.)

Да, дорогая, вот уже два года я вас не видел. Детей своих я представляю такими, какими я оставил у Койнасского креста 23 апреля 1942 г. Тогда они не умели ни спектакли ставить, ни письма писать. А теперь и Риточка уже домашняя хозяйка. И сама ты теперь уже опытный работник советской торговли. Все изменилось. И я теперь человек военный, кадровый, как у нас говорят. В общем, Марина, эти годы многое изменили и многому нас научили. Жизненный опыт так же, как и всякая учеба дорого дается. Пришлось много горького пережить и по всему видно придется еще. Но, дорогая, трудности меня никогда не пугали. Я всегда на своем жизненном пути исходил из того, чтобы быть максимально полезным Родине, двигаться вперед, разрушать старое, строить новое. Это верно, что наши годы уходят, и что мы были бы счастливы, если бы жили вместе. Но асть аойна, народ переносит на своих плечах всю тяжесть этой мировой войны. Война разлучила нас. Меня швырнула в самое пекло, а тебя принучила обращаться с государственными ценностями. Говорят, нет худа без добра. Я говорю, за эти два года мы познали столько, сколько бы не научились за 30-50 лет мирной жизни. Я хочу сказать, что если судьбе будет угодно и после войны будем здоровы, на основе накопленного опыта, мы будем заново строить большую, красивую жизнь. При всем благополучии государственного устройства и наша личная жизнь будет перестроена заново, на новых отношениях. Жаль, конечно, что наши дети терпят лишения, не видят культуры. Верю, после войны все будет компенсировано. Дети наши получат должное обучение и воспитание. Да и сами мы еще не забыли двери в солидные учебные заведения. Всему время. А теперь железная выдержка и стальные нервы. Пуще всего дорожить доверием страны и партии. Раз доверено мне боевое оружие, я с честью несу его в руках.

(оборвано)

Как мне хочется писать, но на этом кончаю. У нас снег уже растаял, трактористы готовы выехать на поле. Но погода холодная. Ветер от вас с севера.

До свидания, дорогая.

Сажусь за учебники, готовлюсь к зачетам.

Крепко, крепко целую — Сеня.

Высылаю карточку. Жду от тебя.

---

1 Мая 1944 г.
д. Виленья

Дорогая Марина!

Пишу письмо тебе в деревне Виленья, Петрушинского с/совета, Скопинского р-на, Московской области. Нахожусь в командировке по с/совету по проведению майских дней. Вчера прокатился на поезде, познакомился с местными руководителями местных организаций, делал доклад. Вечером шумно встречали 1 Мая. Сегодня перешел в другой колхоз и тут, пока собираются, пишу тебе письмо. Почему-то вспомнилось 1 Мая 1941 г., перед войной. Потом 1 Мая 1942 г., когда утром рано с песней мы проходили с Михаилом Васильевичам и лешуконцами Труфанову Гору (Пинега). 1 Мая 1943 г. — целые сутки я не отпускался от ручек станкового пулемета. 1 Мая 1944 г. приходится встречать в тылу, в центре страны среди колхозников. Интересуюсь старинными одеждами женщин и девушек-рязанцев. У нас интересно по старинному одеваются, а здесь еще чуднее. А какие частушки поют, хороводы водят. Мне попала гармошка точно такая, какую я купил у Киприянова Егора, «Победа». С удовольствием играю, но моей игры здесь не понимают. Оно и понятно. Мотивы песан и частушек другие (тягучие какие-то, но красиво исполняют), пляска медленная, важная и обязательно двое по очереди что-нибудь поют. После доклада в этом колхозе побываю в школе и шестичасовым поездом поеду в г. Скопин (домой!).

Дописываю письмо в поезде. Утро 2 мая. Спешу домой. Надо готовиться к Государственным экзаменам. Председатель с/совета просил еще погостить до вечера, но я уж поехал. Фотокарточку я тебе выслал 12.04, асли еще не получила, значит получишь. Жду от тебя. Привет Анне Филипповне. Одобряю вашу дружбу. Я никогда не считал ее плохим человеком и ничего плохого для нее не сделал, за что бы она могла быть не довольной. Ну что было в связи с обострением ее по работе по детскому дому, так это дело служебное и никому оно не может влиять на личные взаимоотношения, тем более с тобой. Тем более ты должна ее уважать, как воспитателя Юрика. От вас зависит будущее Юрика.

Ну вот и все. Крепко целую — Сеня.

---

2 мая 1944 г.

Приехал домой, от тебя получил приветственную телеграмму с пожеланием успехов в учебе. Очень рад. Я был уверен, что от тебя должна быть телеграмма и не ошибся. Сегодня получил письмо от Шурика. Пишет, что получил от мамы письмо и деньги. Еще получил письмо от тети Насти. Сегодня подписался на заем на 100% к месячному окладу. На сколько подписалась ты?

Еще раз целую — Сеня.

---

1 июня 1944 г.

Дорогая Марина!

Получил от тебя письмо, написанное 26 апреля. Как видишь оно шло более месяца. Знала бы ты, как я его ждал, и как жду письмо с твоей фото, согласно твоей телеграмме. Ты пишешь, что я редко тебе пишу и делаашь вывод, что будто ты мне надоела своими письмами. Как это ты можешь так обо мне плохо думать. Меня как-то даже удивила и тяготит такая твоя приписочка. Я о тебе самого лучшего мнения, с удовольствием пишу и с радостью получаю от тебя, а ты так нехорошо обо мне думаешь. Конечно, я понимаю твой намек и твое беспокойство за меня. Конечно, думать все можно, но если бы ты знала мои намерения, состояние здоровья, ничего бы такого не подумала. Я сдаю государственные экзамены. За весь курс учебы числился отличником и вообще передовиком подразделения. Конечно это напряжение дорого мне стоит, отразилось на состоянии здоровья, но я никогда не терпел, чтобы мое имя было хуже людей и вот тянусь. Впереди намечается блестящая перспектива — поступить на учебу в академию Р.К.К.А. Уверен, что если на фронте в этот раз останется целой голова, поступлю и закончу. Экзамены, видимо, пройдут весь июнь месяц, и в первых числах июля куда-нибудь выеду. Вот это мое стремление. Все остальное — на задний план. Правда по городу накопилось много знакомых: и пожилых, и молодых, и детей. Но то что ты думаешь, нет и не будет.

Подписка на заем у тебя очень большая. Конечно это дело важное и нужное. И раз ты подписалась на такую сумму, видимо, на что-то рассчитываешь. Только имей в виду, что на этот же аттестат я подписался на 100%.

НАРОДНАЯ ЖИЗНЬ. *Фронтовики родного села. Письма с войны*

Надо уже по подписке платить, а на руки не получаю ни одного рубля. Оставляю до фронта. Надеюсь там выплатить. Сожалею, что по деньгам ты не можешь устроить поездку Юрика в Смоленец. Но дополнительных средств выслать не могу — не имею.

Передай привет от меня Саше и Лиде. Как-то оно нехорошо вроде, что они поженились. Но уж раз свершилось — пусть живут хорошо.

Пока все. Крепко, крепко целую — Сеня.

Адрес старый. Пиши, если выеду куда, перешлют. Ох, как хотел бы я тебя на карточке посмотреть, Юрочку, Риточку.

До свидания.

---

14 июля 1944 г.
Белоруссия.

Дорогая Марина!

Вот уже с 5 июля путешествую по железным дорогам. Проехал всю Московскую, Тульскую, Смоленскую область. Видимо, доеду до Минска, а там... сама знаешь. Мое намерение побывать на Украине — не удалось. Отныне все мое существо будет связано с Белорусскими фронтами. За эти дни новых впечатлений и переживаний очень много. Тяжелые последствия от немцев переживает народ. Встречались такие села, в которых не осталось ни одной хаты. Несмотря на все пережитые ужасы народ не унывает. Вот сегодня мы с другом — Бородиным Алексеем — ночевали уже в новой хате. Хозяева очень рады, простодушны и гостеприимны. Вчера в одном селе ребята нашли гармошку. Ну мне пришлось вспомнить молодые годы. Танцы, пляски, белорусские национальные песни. Девушки провожали за околицу. Как выехали из Скопина настроение и здоровье улучшилось. Видимо мне необходимы постоянная смена мест, новых ощущений. В походе я чувствую себя, как рыба в воде. А в Скопине просто скучал...

Пока пишу тебе письмо, прошли и проехали много станций и сел. Держу путь на Могилев, а потом на Минск. Вчера у одной хозяйки угостились самогоном. Муж погиб в боях с немцами. Вот такая моя жизнь, дорогая Марина. Долго ли мне еще суждено жить под солнцем. Много, много бы мы с тобой поговорили, милочка, и поговорим, если будем живы. В свободное время смотрю на вашу фотокарточку и перечитываю твои письма. Адреса сейчас не имею. Когда будет сообщу. Но это длинная история. Пока мое письмо дойдет до тебя, пока напишешь ты мне, это много времени пройдет. Но как бы я хотел от тебя получить какую-либо весточку.

Пока до свидания. Крепко, крепко целую — Сеня.

---

28 июня 1944 г.
Ст. Пуховичи.

Дорогая Марина!

Сообщаю, что продвигаюсь вперед благополучно, без особых происшествий. Останарливался в г. Могилеве. Город сильно разрушен, но уже налаживается мирная жизнь. На днях еду в Минск и дальше до... Варшавы. Здоровье сейчас у меня улучшилось. Чувствую себя хорошо. Много наслушался рассказов мирных жителей о зверствах полицаев. Они очень рады видеть советских воинов и радушно принимают.

Пока все. Крепко, крепко целую — Сеня.

---

1 августа 1944 г.

Здравствуй, Марина!

Имею возможность написать еще тебе письмо. Сегодня — завтра доеду до действующей части, а там видно будет. Заехал на территорию, где живут вперемешку и белоруссы и поляки. Говорят на русском языке, но настолько ломаном, что едва объясняемся. Впервые расстались со своим другом Бородиным Алексеем. Сразу как-то скушно стело, как будто чего-то не хватает. Сегодня случайно с ним повстречались. Вот радости, смеха. Большинство новых друзей участники последних боев за белорусские города, уже из госпиталей.

Пока до свидания. Крепко, крепко целую — Сеня.

Сейчас идем на концерт офицерского ансамбля песни и пляски.

---

17 августа
г. Гродно.

Дорогая Марина!

Снова возвратился в г. Гродно из одной ответственной командировки. Постоянного адреса по-прежнему не имею.

Высылаю облигации на 200 (двести) руб.

Крепко, крепко целую — Сеня.

Дорогая Марина!

Сообщаю, что в настоящее время нахожусь в городе Гродно. Адрес есть, но такой, что тебе сообщеть не следует. Предлолагается скорый выезд, новый адрес. О себе могу сообщить, что здоров, состояние хорошее.

Вот пока и все. С сердечным приветом, крепко целую — Сеня. 21.08.44 г.

Телеграмма 5 сентября 1944 г.
Койнас Лешуконского Бородиной

Благодарю посылку Юру Шуру поздравляю учебным годом привет учителям

Сеня.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ваш муж лейтенант Бородин Семен Иванович уроженец Арх. обл. Лешук. р-на, д. Устьниземье в бою за Социалистическую Родину, верный военной присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 15 сентября 1944 года.

Похоронен восточнее дер. Кирки Лубы 200 метров, Снядовский р-он Белостокской области.

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии (приказ НКО СССР 194 т. № 138).

Районный народный комиссар
Карташов

Письма печатаются
по оригиналам.

Из архива сельского музея Койнаса (Лешуконский р-н, Архангельская область). Публикация подготовлена его директором А. В. Непомилуевым и учительницей койнасской школы Е. Л. Гаушаковой.
Гонорар переведен музею на дальнейшее развитие и становление.

Г. К. Жуков. Потсдам. 1945. Фото Евгения Халдея

Победоносец

Автор этого снимка Г. К. Жукова — Евгений Ананьевич Халдей, известный фотомастер, корреспондент фотохроники ТАСС во время Великой Отечественной войны. Я встретился с ним, и произошла у нас такая беседа.

— Евгений Ананьевич, расскажите, пожалуйста, об истории этого, на мой взгляд, несколько необычного снимка.

— Снимал я Жукова во время работы Потсдамской мирной конференции, в конце июля 1945 года. На так называемой «даче Жукова» в Бабельсберге проходило совещание наших военачальников — участников конференции. Когда оно закончилось, мы — группа фоторепортеров — сделали несколько «официальных» групповых снимков. Генералы стали разъезжаться, наша журналистская братия тоже. А Георгий Константинович после этой церемонии отошел в сторону и присел на крыльцо отдохнуть. Вот этот будничный момент я заметил и вскинул фотоаппарат... Маршал в последнее мгновение только увидел нацеленный на него объектив и как-то вышел из раздумья, успел улыбнуться...

— Я видел у вас этот снимок и с автографом Георгия Константиновича...

— Да, с этим связана даже небольшая история. В ноябре 1972 г. мне позвонил адъютант маршала и соединил меня с Георгием Константиновичем. Оказывается, маршалу очень понравилась сделанная мной фотография Парада Победы, где он запечатлен на белом коне объезжающим войска на Красной площади. Но ему хотелось снимок большого формата, такой, чтобы его можно было повесить на стену, и он попросил меня об этом. Я, конечно, — и сознаюсь, с некоторым трепетом — согласился... Дней через десять мне опять позвонили от Жукова, затем прислали машину, и вскоре я уже был на жуковской даче в Кунцево. Маршал встретил меня в кабинете. Помню, что он тепло поздоровался и заметил, всмотревшись в меня, что мое лицо ему незнакомо. Неудивительно, Георгий Константинович, ответил я, хоть я вас снимал неоднократно, всякий раз мое лицо было закрыто камерой... Ну, это уже лирика... Помимо снимка Парада Победы, я показал маршалу и другие мои фотографии тех лет... а вот на этой он оставил автограф... Я его снял тогда вместе с его дочерью Машей за просмотром моих военных фотографий...

— А чем привлекла маршала фотография Парада Победы?

Георгий Константинович сказал, что мне удалось поймать в кадр редкий момент: все четыре копыта лошади оторвались от брусчатки Красной площади, и всадник вместе с белым конем как бы парит на снимке над землей... Как Георгий Победоносец...

«Георгия Победоносца» ему потом припомнили в годы опалы, это помнят многие люди старшего поколения. Я же не могу не вспомнить эпизода с появлением Г. К. Жукова на первом (и последнем) официальном мероприятии после 1957 г., куда он был приглашен. Это было празднование Дня Победы в 1973 г. во Дворце Съездов. Тысячи ветеранов при появлении маршала встали и устроили ему небывалую овацию. Со всех сторон: «Слава Жукову, слава». Это надо было слышать, видеть... Но жена маршала, когда я показывал фотопанораму этой памятной встречи, вздохнула и сказала: «Берегите, Евгений Ананьевич, этот снимок — больше нас снимать не придется». И действительно, такого апофеоза власть имевшие не могли ему простить...

— А тогда, в победном 1945-м, каким человеком вам показался маршал?

— Вообще, тогда имя Жукова было у всех на устах — его я слышал и на фронте, и в Москве, куда отвозил фронтовые фотографии, и наконец в войсках союзников — я снимал встречи Жукова с союзными командующими — при появлении Георгия Константиновича они вставали, как по команде. И необычайно долго здоровались с ним за руку. Это могло быть проявлением только очень искренних чувств к человеку, олицетворявшему нашу победу. Был, конечно, и Сталин — но он был тогда как бы «за кадром», парил над облаками, а на земле победы одерживал Жуков. Он вообще был земным, обыкновенным человеком — ничего особенного я нем ни в объектив камеры (а в первый раз это было в 1943 г. под Новороссийском), ни затем лицом к лицу я не заметил. Много говорили о суровости, даже жестокости Жукова... Какая чушь! Человек всегда был для него человеком. Я слышал об этом и от его соратников, и сам испытал на себе. Помню, за несколько часов до нового, 1973 года звонок в дверь: просят принять подарок от Жукова. Внесли огромную плетеную корзину со всякой снедью... чего там только не было! Надо благодарить, а слова в горле застряли, слезы на глазах. Никто из сильных мира сего (а за прошедшие полвека я запечатлел для истории очень многих из них) никогда ничем меня не удостаивал... Такой же подарок доставили мне и на день Победы... Нет, это был человек... И человек высокой культуры.

— А как вам кажется, Жуков любил позировать перед фотокамерой, будучи в ореоле славы?

— Да, пожалуй, ему это не было чуждо. Да это и естественно — в глазах миллионов он был олицетворением Победы, а это огромная честь и огромная ответственность. Помню все тот же Парад Победы — оркестр гремит «Славься» Глинки, солдаты склоняют знамена побежденной Германии перед Жуковым, выехавшим на белом коне, а кругом у людей слезы на глазах, да и я смог сделать только два снимка — волнение было слишком велико. Кстати, Георгий Константинович, когда я сказал ему об этом, признался, что и для него тогда и парад, и поверженные знамена, и рапорт Рокоссовского — все было как в тумане. Конь нес его по площади, а он вспоминал все эти четыре года войны, всех наших солдат, павших и живых...

— Вы снимали Георгия Константиновича и рядом со Сталиным...

— Да, снимок, где они стоят рядом на Мавзолее, тоже вошел в мой сборник «От Мурманска до Берлина». Тоже мелкая, но характерная деталь: Жуков, разглядывая этот снимок, спросил, не робел ли я, снимая Сталина. Я отвечал, что по-разному: когда издали, с помощью объектива, тогда спокойно, а когда вблизи, признаюсь, чувствовал дрожь. Жуков же вспомнил в этой связи, что, когда они стояли на Мавзолее, пошел сильный дождь. Крупные капли стали падать на козырек его фуражки, а оттуда на нос. Простое человеческое желание нос почесать — сил нет. Но Жуков косится на Сталина — тому тоже неприятно, но терпит, стоит спокойно. И Жукову пришлось терпеть до окончания парада... Сталина он, что и говорить, уважал.

Но и Жуков, конечно, был человек с характером. Даже в тех же мелочах. Помню, как-то во время кампании по обмену партийных билетов он попросил меня сделать отпечаток для билета, непременно сохранив четыре Звезды Героя на груди. Такой снимок все-таки немного не влезал в рамку, и когда я принес его в Краснопресненский райком, его непременно хотели урезать, оставив маршала «без наград». Множество начальников чуть ли не на самом верху согласовывали эту деталь, но Жуков настоял, и бюрократы капитулировали.

— И все-таки, Евгений Ананьевич, из всех ваших многочисленных снимков маршала Жукова вам дороже именно этот, без геройских звезд и белого коня?

— Да, эта фотография одна из самых дорогих. А Жуков вообще мой кумир, так что вы можете себе представить, что она для меня значит. У нас привыкли его видеть в сиянии наград, на коне, на мавзолее, над поверженными вражескими знаменами... А когда в годы опалы Георгий Константинович приходил с женой в Большой театр — люди шарахались в стороны: видеть его в обычном штатском костюме было очень странно... Но тогда этим он как бы выражал внутренний протест против несправедливых обвинений. А на этой фотографии он так прост, естествен. Никакой эффектной позы, ни белого коня, ни наград. Только депутатский значок на белом кителе. И мягкая, спокойная улыбка человека, сделавшего свое трудное дело. Улыбка победителя, Победоносца...

Беседу вел
АЛЕКСЕЙ ВИНОГРАДОВ

ИСТОРИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ. ОЧЕРКИ. ПИСЬМА.

А. И. ДЕНИКИН

Мировые события и русский вопрос



1

По-прежнему мир стоит на распутьи. По-прежнему призрак смертоносной войны витает над землей. Мюнхенские решения не остановили вооружений, не рассеяли тревоги и не установили реальных основ сколько-нибудь длительного перемирия. Ибо обещания даются и не исполняются; договоры подписываются и нарушаются; над всеми нормами международного права висит кулак; сила и дерзание попирают право.

Перманентные политические, социальные, экономические кризисы вызвали стихийное движение, которому некогда Версаль дал только лишний толчок, которое все это послевоенное время углублялось в потенции или проявлялось в действиях. Различны его стимулы: погоня за «местом под солнцем», за сырьем, хлебом и нефтью, за обеспеченными путями и рынками; воссоединение единоплеменников, сепаратизмы и движение меньшинств; пробуждение цветных рас и, наконец, всякого рода «панизмы»... В частности, колониальные аппетиты возбуждает военная слабость таких, например, государств, как Португалия, колонии которой по населению превышают в полтора раза метрополию, а по пространству — в 23 раза; голландские колонии соответственно в 6 и в 60 раз и бельгийское Конго, по населению трижды, а по пространству в 77 раз больше метрополии... Недаром этим летом, даже в Польше, инсценированы были во всех крупных городах массовые демонстрации, с вынесением резолюций, выражавших — неизвестно по какому праву — «непреклонную волю польского народа получить колонии»... Немало горючего материала и в национальных вопросах, принимая во внимание, что в Европе 40 миллионов людей находятся на положении «меньшинств». Особенно разношерстный состав в Румынии и в Польше... В числе меньшинств имеются 5 млн. немцев, не присоединенных еще к рейху и свыше 10 мил. русских людей, более или менее бесправных, более или менее угнетаемых и, во всяком случае, совершенно беспризорных. Ибо интересы их чужды интернациональной советской власти. Напомню, что в Польше (по официальным и, следовательно, преуменьшенным данным) русских $6^1/_2$ мил., в Румынии — 1.200 тыс. и т. д.

Различны стимулы этого стихийного движения, но сущность одна:

Мировой передел.

О котором Геббельс, не открывая очередных планов рейха, говорил в Мюнхене:

— Наступил редкий в истории момент, когда готовится новый раздел земли.

Его не избежать. И в процессе его завершения возможны лишь два положения: полная капитуляция перед силой или жестокая борьба.

И если бы это движение — одно — направляло политику и определяло психологию народов, международное положение не было бы столь безнадежно запутано, грани между друзьями и врагами были бы определеннее, и политические прогнозы легче. Но в международные отношения, кроме советского нарыва, вклинилось еще расхождение двух идеологий, двух режимов — т. н. «великих демократий» и «фашизмов». Расхождение, которое осложняет и обостряет события и путает дипломатическую игру, перетасовывает карты, пересаживает партнеров — в преддверии мировой войны. Оно, на фоне будущих военных побед и поражений, приведет неизбежно к внутренним переворотам, которые, в свою очередь, повлекут новые неожиданные пересадки и перетасовки.

На этой почве идет борьба большого внешнего напряжения и величайшего внутреннего лицемерия. «Идеология» в большинстве случаев является лишь внешним прикрытием самых реальных политических и экономических вожделений и интересов — агрессивных или оборонительных. Вожди и партии раздувают идеологическую вражду, а правительства — устанавливают тактические соглашения с идеологическими противниками.

2

В самом деле. Одна новоявленная дружба Польши с советами чего стоит!

Совершенно безосновательно приписывать идеологические основания оси Рим — Берлин и треугольнику Берлин — Рим — Токио. Создание «оси» — всецело дело рук... англо-французской политики. После общей войны и общей победы, нарождавшийся фашистский режим и лично Муссолини встретили высокомерное отношение со стороны Англии и глумление французской прессы. Став на ноги и затеяв войну с Абиссинией, Италия встретила упорное противодействие союзников, какое не было оказано ни захвату японцами Маньчжурии, ни разрыву Гитлером Версальского договора, ни Аншлусу. Боязнь за средиземноморские пути и проч. — да, но какие там идеологические мотивы подвинули колониальные державы восстать против замены негусовского режима фашистским!?.. Отсюда и ось, и треугольник, имеющий в основе своей временные выгоды, но полные внутренних противоречий.

Во всяком случае, пропасть между режимами не так уж непроходима, если Англия первою и довольно легко примирилась с режимом советским, а в недавнее время, также первою, делала попытки «культурного сближения» путем обмена советской и английской студенческой молодежи (миссия проф. Перса)... Когда Гитлер в прошлом году еще заявлял: «мы не станем поддерживать более тесную связь с советами, чем это необходимо для государственных и экономических отношений»...; и торгует с Москвою вовсю, причем по ввозу в СССР Германия стоит на первом месте, тогда как по вывозу первое место занимает Англия... Когда Муссолини за два года до заключения соглашения с Японией писал о ней и ее режиме с глубоким презрением... Когда Пилсудский в 33 году чествовал в Варшаве Радека и обменивался с ним дружескими заверениями, а Бек доныне ведет нечистую игру одновременно и демократическими, и фашистскими, и советскими картами... Когда «великая демократия» Северной Америки поставляет в огромном масштабе снабжение и военное сырье и Китаю, и Японии и дает последней огромные кредиты; она питает слабость к режимам Москвы и Барселоны; прекрасно мирилась с полубольшевицким режимом Мексики до экспроприации нефтяных источников, поспособствовала, было, его свержению после экспроприации и примирилась с ним вновь, когда Мексика оставила неприкосновенными серебряные рудники в штате Сен-Луи... Когда «великие демократии» ведут борьбу с Гитлером — за привлечение в свою орбиту стран Балканских и Ближнего Востока, с режимом столь пестрым и столь несозвучным с идеологией той или другой группировки... И т. д., и т. д.:

Как уж тут идеология!

Перед нашими глазами прошла только что трагедия чехословацкого народа. К этому вопросу я еще вернусь. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на два момента ее, характеризующие так называемую общественную совесть — начальный и конечный. Многие судят сурово этот народ за «захватнический акт» в отношении иноплеменных Судет... Но ведь это было делом рук столько же Масарика и Бенеша, сколько версальских мудрецов, создававших искусственно — вовсе не для блага неведомого большинству из них народа, а в собственных интересах — новое государство, которое должно было служить для них противогерманским бастионом в центральной Европе. Создали, поддерживали или укрепляли. К тому же, если принять во внимание общественные настроения 19-го года, то только сумасшедший человек мог предложить тогда сделать подарок из Судетских областей поверженному рейху, признанному всем миром виновником мировой войны — из областей, к тому же, никогда рейху не принадлежавших...

И вот настал час расчетов. Общественное мнение мира резко разошлось. Одни считают «Мюнхен» — спасением, другие — предательством. Война избегнута, хотя и дорогой ценой — это благо для человечества. Но надолго ли — это большой вопрос. Союзники пожертвовали Чехословакией для предотвращения всеобщего и страшного бедствия. Рок, форс мажор — пусть так. Но ведь угроза нависла над ней не со вчерашнего дня, соотношение сил великих держав резко изменилось давно уже, реальные возможности европейских блоков были известны. И если договоры 1924 — 1925 годов оказались при новой обстановке непосильными и невыполнимыми, почему же их не денонсировали давно, а обнадеживали Прагу до последних дней, препятствуя чехословакам сменить власть и режим, перестроить вовремя свою политику так, чтобы непредотвратимое столкновение с Германией приняло менее жестокие формы?

И в этом вопросе идеологические основания служили только орудием борьбы партий между собою и с правительствами. «Великие демократии Запада» поддерживали «демократический оазис центральной Европы» — до известного предела — потому, что он являлся преградой немецкой экспансии в центр. Европе. И когда стали известны мюнхенские решения, наиболее буйный поборник войны с Гитлером, глава французских социалистов Блюм, заявил, что он испытывает чувство стыда, но, вместе с тем, большого облегчения...

Но наиболее ярким примером официального лицемерия держав является отношение их к испанскому вопросу. Одно противоположение «законного (якобы) правительства Барселоны» — «мятежному правительству Бургоса» чего стоит! Оба правительства вышли из революции. Правительство «Народного фронта» появилось в результате выборов 36 года, при помощи агентов Москвы и большевицких трюков, ничтожное меньшинство крайних левых партий (400 тыс. из 9.400 тыс.) захватило 296 мест против 177 и стало «властью». Властью — переродившеюся в анархо-коммунистический бедлам.

Конечно, не все ладно на территории Франко, — гражданская война нигде и никогда не бывает без эксцессов... Но та ужасная, бесчеловечная система террора и насилия, которая царит в красной Испании!... Тот быт — хуже звериного, о котором так прочно и красноречиво молчит левая печать!... Казалось бы, тем высокопоставленным снобам, которые также ведут кампанию против «умеренной политики» Чемберлена в испанском вопросе и, по следам Пассионарии, ездят в Париж для пропаганды в пользу красной Испании, было бы честнее окунуться предварительно в ее быт и жизнь и тогда уже славословить, если... хватает совести.

Сколько бичующих слов произнесено по поводу воздушной бомбардировки войсками Франко незащищенных, но обладающих военными базами красных городов!... Конечно, эти жестокие действия должны быть введены в известные нормы международным соглашением. Но действительно ли «мировая совесть» так решительна в своем осуждении этих деяний? И не включены ли в стратегические планы государств — и фашистских, и демократических — разрушение и отравление так называемых «жизненных центров» неприятеля, в том числе его столиц? И почему же совесть друзей красной Испании молчала, когда в течение многих месяцев красная авиация, когда это было ей технически посильно, бросала десятки тысяч бомб на белую территорию, убивала тысячи людей, расстреливала духовные процессии, бомбардировала Гренаду, Овиедо, Севилью, одну Сарагоссу 519 раз? Когда, оставляя неприятелю города, красные старались разрушать их до основания, убивали одних жителей и насильственно угоняли других, обрекая их на голод и скитания? 16 июля можно было слышать по радио речь генерального комиссара красного испанского флота, который, после резких упреков по адресу Франции по поводу недостаточной поддержки, говорил:

— Когда у нас не станет более оружия и падут наши укрепления, мы оставим позади себя пустыню. Мы уничтожим все достояние нашей страны, чтобы захватчикам досталось одно пепелище...

Во время гражданской войны в России, когда населенные пункты переходили из рук в руки, большевики чинили в них свою кровавую расправу; но и у них рука не подымалась тогда на огульное бессмысленное уничтожение оставляемых белым городов и станиц.

Если Блюм, Бош, Торез, Жуо и иже с ними страстно взывают о помощи Барселоне, рискуя судьбой Франции, — это понятно. У марксистского интернационала своеобразное восприятие родины. Ведь, перед самой мировой войной, Жорес в Тройственном союзе видел только «необходимый противовес франко-русскому шовинизму»... Но какой был расчет немарксистской Франции и Англии способствовать затяжке испанской войны — совершенно непонятно. Какой расчет иметь соседом в Гибралтаре, Марокко, на средиземноморских путях и в Пиренеях красную Испанию! Мало того, красная волна, залив Испанию, неизбежно затопила бы и Португалию, и тогда советские форпосты обосновались бы в ее азиатских и африканских колониях... Конечно, державы, оказывающие помощь национальной Испании, рассчитывают на укрепление особых связей с ней в будущем. Но и в этом далеко еще не выясненном вопросе политика честного и доброжелательного нейтралитета англо-французского блока в отношении Бургоса явилась бы единственным умеряющим и обезвреживающим средством.

3

Итак, невзирая на серьезное значение идеологических распрей, как возбудителей войн и смут, мировая борьба идет все же по пути «земельного передела». Не противоположение демократий диктатурам нарушило европейское равновесие и привело к чрезвычайно напряженному положению во всем мире, а выпадение из нормального международного оборота великой Российской империи, возрождение германской и итальянской вооруженной

силы, при исключительном динамизме обеих наций, и военная неготовность Англии и Франции.

Серьезность этого положения видна из сопоставления вооруженных сил «оси» и «блока» великих держав. Я не касаюсь комбинаций с участием малых держав, ибо характер их совершенно гадательный и, надо думать, после предостерегающего чехословацкого урока, они воздержатся от опасных союзов, постараются сохранить возможно долее нейтралитет, а, если и выступят, то на стороне... заведомо побеждающего.. Точно также мало вероятно вооруженное вмешательство в европейские дела Соединенных Штатов, угрожаемых со стороны Японии.

Сопоставление сил можно сделать лишь приблизительно, ибо в последнее время, в качестве пропаганды, применяется дезинформация: сами правительства зачастую не только не утаивают свои вооружения, но умышленно преувеличивают их — на страх врагам; или, наоборот, гласно, в печати, вскрывают свои недочеты, чтобы побудить свой народ к работе и жертвам. Словом — как, кому и когда выгоднее.

Соединенные силы Германии и Италии представляют в мирное время более 80 регулярных дивизий против 28 дивизий французских плюс то весьма ограниченное число английских войск, которое может быть переброшено в первое критическое время на континент, ибо сухопутные силы Англии в мирное время ничтожны. Огромная диспропорция в воздушном флоте: против 4.000 самолетов англо-французского блока — более 9.000 аппаратов первой линии германо-итальянской «оси» — причем аппаратов лучшей конструкции и лучших боевых качеств. Только морские силы англо-французские значительно превосходят итало-германские. Но постройка судов идет лихорадочным темпом и в Германии, и в Италии, причем флот последней по тоннажу отстает от французского только на 16% и быстро его догоняет; а по числу подводных лодок превосходит: 111 против 86 французских. К тому же, когда загорится весь мир, то могущественному английскому флоту будет предстоять работа на трех океанах и многих морях, и существующая диспропорция уменьшится...

Военный потенциал слагается из множества элементов морального, материального, социального и политического характера. Взвесить его на аптекарских весах нельзя. Нет сомнения, что в экономическом отношении «блок» несравненно богаче «оси»: богаче капиталами (Англия), военным сырьем и морским транспортом. Но при сравнении двух важнейших европейских армий — новой, неизвестного еще достоинства, и с недостаточным запасом обученных людей — германской и прекрасной по организации и обучению французской, нельзя не признать угрожающим положение последней в двух областях: 1) при несомненном техническом превосходстве немцев в военном снаряжении, производство Германии увеличилось с 1929 года на 37%, тогда как во Франции уменьшилось на 25%; в частности, в авиационной промышленности в Германии работает 130 тыс. рабочих 58 час. в неделю, тогда как во Франции 50 тыс. рабочих 37 1/2 час., с меньшей производительностью и с качественным снижением... и 2) *дефицит* рождаемости во Франции и систематический прирост населения в Германии; соотношение такое, что через 50 лет в Германии будет 109 мил. населения, тогда как во Франции — 33 мил., т. е. меньше, чем в Польше. Правда, что, вместе со своими заморскими подданными, Франция насчитывает 110 мил... Но при нынешнем состоянии умов широкое вооружение желтых контингентов является мерой до крайности опасной.

Но еще более знаменательно неравенство в области психологической. Германская пропаганда и печать в один голос укрепляют в народе уверенность в его военной мощи, тогда как французская пресса, из побуждений, конечно, патриотической тревоги, изо дня в день вскрывала военную неготовность Франции... Глубоким пессимизмом звучали слова ген. Дюваля: «так как соотношение контингентов Франции и Германии — 1 против 2-х, а военно-экономического напряжения — 1 против 10-ти, то, если не изменится дипломатия Франции, стратегия ее обречена на оборону»...

Еще более категорично заявление ген. Вейгана после Мюнхена:

— Французская слабость должна была склониться перед германской силой (...)

5

Наиболее жизненным для нас вопросом является отношение держав к России Национальной и России советской.

Та активная роль, которую раньше играла советская власть на авансцене международной политики, после ряда наглых и глупых ее выступлений, после грандиозных кровавых чисток в партии и в аппарате, оказавшихся переполненными «растленными псами», шпионами и агентами «диверсантов», после обезглавления Красной армии и флота, — упала до минимума. События идут мимо нее, хотя во всех мировых смутах видна ее скрытая рука, во все очаги разгорающегося пожара подброшены советские поленца.

В частности, обострение социальных распрей и перманентных рабочих беспорядков во Франции и ее колониях — в последних, как правило, принимающих характер центробежный, — вызывается не только экстремистами б. Народного фронта и не только *тайными* большевицкими агентами, но иногда и *явными*. Так, в свое время, Троцкий под охраной полиции вел из Фонтенбло пропаганду мировой революции по правилам IV-го интернационала, и его дело продолжает и сейчас его организация, издающая «Бюллетень Оппозиции». Так, глава Профинтерна Шверник этим летом, со своей свитой, объезжал официально промышленные центры Франции Париж — Лион — Тулузу — Марсель и др. для обработки их правилами III-го интернационала...

Сам по себе франко-советский союз, являющийся прямой поддержкой советской власти, не может не вызывать в русской национальной эмиграции отрицательного отношения. А те привходящие обстоятельства, которые сопровождают этот альянс, усугубляют душевную горечь в большей еще степени... Я не буду останавливаться на мытарствах русской эмиграции — на борьбе за право труда, бесправных высылках, безнаказанных для советов похищениях. Напомню только об уроне, наносимом России.

Прискорбно было слышать, как восторгался «делом своих рук» Эррио. Как б. министр ин. дел Поль Бонкур отмечал «счастливое событие» французского альянса с советами, которые-де «организуют свою внутреннюю революцию, но одновременно охраняют внешний мир». Как нынешний министр Поль Рено, ратуя за советы, заявляет:

— Лично я согласен быть преданным в тех условиях, как это было в прошлый раз. Потому что, если мы были преданы в Брест-Литовске, то ведь зато русская армия в 1914 году оттянула с западного фронта 12 арм. корпусов...

Что это такое?! Самоотвержение на полях Восточной Пруссии и Волыни и... Брест-Литовск. Русская армия и... большевики. Жертва и... предательство.

С какою страстностью Блюм отстаивал участие в правительственной работе французской коммунистической партии — филиала советской Москвы...

Такое неумеренное советофильство начинает, однако, проходить. Оно поддерживается лишь социалистически-коммунистическим сектором. Народные настроения резко меняются. Но, наряду с этим, имеет место другое явление, чреватое последствиями и для Национальной России, и для Франции...

Мы слышали давно уже откровенные речи Тетенже:

— Мы не имеем право требовать, чтобы немецкий народ был лишен всякого рода экспансии. Раз эта экспансия не направлена в нашу сторону, нам не приходится смотреть на нее отрицательно.

Не раз и Фланден еще более определенно развивал идею мира с Германией... за счет России. В последнее время, в связи с хлынувшей во французскую печать дезинформацией по поводу «Великой Украины», носящей явную марку «Made in Germany», усилились тенденции предоставления Германии «свободных рук на Востоке». Мнения опять резко разделились. Наряду с ясным сознанием, что «гегемония Гитлера в Европе означает смерть Франции», высказываемым одной частью прессы, другая относится с безразличием или со злорадством к судьбам России, полагая, что «гитлеровская экспансия ко Франции не относится», и что «французский солдат должен защищать только французскую империю»... Для подобных умозаключений весьма характерна статья Марсела Деа, в которой он говорит: «Надо, чтобы немцы видели свою главную задачу в экономической и демографической экспансии на Восток и чтобы у них не было надобности терять время на второстепенный для них средиземноморский эпизод». У многих таких приверженцев теории «умывания рук» сквозит надежда, что «Гитлер сломит себе шею на Востоке»...

Итак, долой сентименты! Долой все эти «устаревшие предрассудки», вроде боевого братства, каких-то нравственных обязательств за старое добро! Они, эти «предрассудки», похоронены давно — на полях Восточной Пруссии и Волыни, в русских братских могилах. Только реальные ценности имеют значение на современной политической бирже. Хорошо, будем реалистами. И в качестве таковых оценим две возможности. 1) «Дранг нах Остен» удался. Русский хлеб, уголь и проч. чрезвычайно усилили экономическую и военную мощь Германии. Устроив свои дела на Востоке, не повернет ли Гитлер своих штыков на Запад? И чем это обстоятельство грозит Франции? 2) Гитлер «сломил себе шею на Востоке». Германия бросает самоубийственную политику, враждебную России. Встает Национальная Россия. Неизвестно, с кем тогда пойдет пресловутая и столь непонятная Западу «âme slave»: с поверженным, но образумившимся бывшим врагом, или с теми, кто отвернулся от нее в дни великого ее несчастья...

Подобного рода явления вызывают в русской эмиграции понятное чувство горечи. Они питают пораженческие настроения, они подогревают в части ее прогитлеровские симпатии и нереальные надежды, облегчая немецкой пропаганде лживыми посулами уловлять души заблудившихся русских людей и денежными подачками покупать немногих — потерявших совесть. Невзирая на то, что в конечном счете шансы русского дела и положение эмиграции — о чем я буду говорить дальше — много хуже в Германии и особенно в районах японской оккупации, где русский элемент томится в тяжелом плену.

А между тем, в силу геополитических и экономических условий, как в период, предшествовавший мировой войне, так и ныне, единение Франции с Национальной Россией является проблемой жизненной, естественной и обоюдно-необходимой. Самое буйное воображение не могло бы обнаружить каких-либо захватных стремлений друг против друга. Ни в какой области, ни в одной точке земного шара нет между ними противоречий, которые не могли бы быть легко разрешимы. Обеим сторонам одинаково опасны и пангерманизм, и японская экспансия... Тем не менее, за последние 18 лет французская политика, поставила ставку сначала на Польшу, которая, якобы, должна была заменить ей Россию, потом, под влиянием усиления Германии и польских сюрпризов, связалась с СССР... Без политического предвидения, без оглядки на завтрашний день, она скинула вовсе со счетов Национальную Россию, не позаботившись даже, из чувства простой предосторожности, о некоторой перестраховке за ее счет...

Французское общественное мнение в отношении русского вопроса — в полном разброде. В последнее время, однако, наряду с существовавшим «Обществом друзей советской России», возникло «Общество друзей Национальной России», под председательством сенатора Лемери, состоящее из видных деятелей, но не причастных к нынешней власти. Общество это издает литературу, в которой изображается истинный лик советской власти, проводится резкая грань между СССР и Россией и предостерегается Франция от чрезмерной дружбы с советами, «несущей войну и революцию». В добрый час!

Вот область, в которой нужна большая и упорная *русская* работа. Между тем, наши слишком эмоциональные политики — на одном фланге скользят к пробольшевистской политике б. «Народного фронта», на другом уходят в сторону, решая:

— Докатятся!

Но ведь если бы действительно «докатились», то это было бы торжеством коммунизма.

Реальная политика и национальные интересы России требуют иного подхода: борьбы за русское дело, борьбы с непониманием русской смуты, с ложью большевицкой и пробольшевицкой — опутывающей своими сетями непонимающих и соблазняющей материально слишком хорошо понимающих. Борьбы — возможной во Франции, благодаря действительной свободе слова, и небезнадежной — в атмосфере резко меняющегося настроения народа, столь ярко выраженного в разрыве правящей партии с коммунистами.

6

Что касается Англии, она не имеет никакой политики в Русском вопросе или, если хотите, имеет весьма определенную — *выжидательную*. Отнюдь не связываясь с СССР долгосрочными экономическими обязательствами или формальными политическими блоками, она старается охладить неумеренное сближение своей союзницы Франции с советами, однако, не препятствует ему в принципе. Англия поддерживает корректные отношения с советской властью и внешне не принимает участия в борьбе против нее. Хотя нет никакого сомнения, что втайне Интеллидженс-Сервис участвует во внутри-советской склоке, в целях не интегральной борьбы против советов, а использования ее в английских интересах. Вообще, участие иностранных разведок в информации и дезинформации советского правительства играет большую роль. В последних советских процессах «маршалов» и «21-го», на крови казненных сводили между собой весьма сложные счеты враждебные друг другу разведывательные немецкие органы Гестапо и Вермахта... Точно так же, как японская разведка сыграла большую роль в судьбе Блюхера.

Вообще же, сущность внешней политики Англии, принадлежащей к числу держав «вполне удовлетворенных» и поэтому действительно желающих мира, заключается, с одной стороны, в *выигрыше времени* — в расчете на усиление своей военной мощи и на возможные внутренние пертурбации в стане противников. И с другой стороны — в привлечении в свою орбиту возможно большего числа «попутчиков». В числе их до последнего времени не числился СССР. Но сейчас и ему придается некоторое значение, по крайней мере оппозицией, если не как силе, *содействующей* «блоку», то противодействующей оси»...

Такого рода настроения, к сожалению, обнаружились и у людей, видевших ранее ясные грани между СССР и Россией, между советской властью и русским народом, и знавших цену большевицкому миротворчеству. Так, проф. Бернард Перс, посетивший СССР в 36 году, уверовал в благоприятную эволюцию советского режима, в советский национализм и в отказе советов от разжигания мировой революции... Такую же ошибку делает в своих заявлениях и сэр Уинстон Черчилль, в частности, в Манчестере и в Париже, поддерживая французское советофильство и признавая СССР — фактором мира...

Коммунизм и мир!

Какая-то необъяснимая психологическая аберрация. Советские правители устами Сталина, Димитрова, всех «Известий» и «Правд» прямо, открыто заявляют о разрушительных целях мирового пролетариата — они миротворцы... Советские дипломаты, провокаторы и состоящие на московском жаловании иностранные коммунистические партии, ставшие вдруг из «принципиальных пацифистов» неистовыми милитаристами, — это тоже миротворцы... В международных отношениях исчезло *доверие* к договорам; обязательства не исполняют и долгов не платят и диктатуры, и демократии; ведь вот по военным долгам Америке расплачивается честно одна... Финляндия... Откуда же берется доверие к *советским* фальшивкам, на которых базируются политические и стратегические комбинации?! Ведь всякий, хоть несколько знакомый с психологией советских заправил, — бывших и будущих «растленных псов», должен знать, что у них такие понятия, как честь, совесть, данное слово, всегда были только буржуазными предрассудками. Что СССР, в случае европейского столкновения, или не выступит вовсе, предав своих друзей и союзников, или выступит на той стороне, где это окажется более выгодным для советской власти. И используя при этом вовсю чужие смуты, поражения, истощение — и врагов, и друзей.

Много было споров по поводу поведения СССР в дни чехословацкого кризиса. Спор — вполне метафизический. Пробольшевики говорят, что СССР «выполнил бы свои обязательства»... Откуда такая уверенность? Что советская дипломатия и коммунистические партии Франции и Чехословакии всеми силами толкали их на войну — это правда. Тем большее преступление. Ибо условность всех советских заявлений свидетельствует, что сами большевики воевать не могли и не хотели. Не могли, прежде всего потому, что этому препятствует геополитическое положение СССР. Для удара по Германии существуют три пути: 1) через Балтийские лимитрофы — в тисках между морем, которым не владеет советский флот, и враждебной Польшей. Путь — безумный, а театр — слишком удаленный от центральной Европы; 2) через Польшу, на Львов — что ни при каких условиях не было бы допущено; 3) через Румынию, по Буковине, на что не соглашалась Румыния, да к тому же направление это находится под ударом Польши и лишено соответствующих железнодорожных путей. Даже перелет через эти страны воздушного красного флота мог создать casus belli. Но советы воевать и не хотели: разгром командного состава слишком обессилил Красную армию и флот, а перспектива *общей* мобилизации, т. е. вооружения народа, слишком опасна для режима.

И вот, имея такое чудесное «алиби», зная о недостаточной готовности Франции и ее нежелании воевать, советское

правительство могло себе позволить преступный блеф воинственных заявлений и «благородный» жест по адресу Чехословакии.

Что может дать такой союзник Франции и такой «попутчик» Англии?!

Касаясь настроений английской общественности, я хочу отметить ряд недоуменных частных эпизодов.

После окончания гражданской войны в Англии орудовало сообщество, занимавшееся в широких размерах скупкой за бесценок земель, оставшихся в сов. России и принадлежавших раньше помещикам, ныне эмигрантам. Эмигранты немножко подкормились, дельцы нажились, а держатели бумаг общества, как и надо было ожидать, прогорели. До сих пор идет таким же порядком скупка английскими компаниями нефтеносных русских земель у прежних владельцев, в наивной надежде, что будущая российская власть признает эти сделки. Это — откровенная спекулятивная игра на русском разорении. Но была игра пошире и посложнее... Я разумею памятную всем деятельность компании Скоропадский-Коростовец-Тафнел, собиравшей деньги на «гетманское движение», причем жертвователям были обещаны «особые экономические привилегии» на Украине, когда она будет отторгнута от России. Это уже игра на расчленение России. Сейчас Скоропадский и Коростовец обещают концессии немцам, а последний, вместо английского «Инвестигатора», пишет в немецком «Цейтшрифт фюр Геополитик». Причем, сообразно вкусам своих хлебодателей, проповедует там, что: «Россия — государство континентальное, которое по методам и идеям является противоположностью (другого) государства — колониального». В России, мол, «не было места татарам, украинцам, грузинам, калмыкам», колониальное же государство, «расширяя свое владычество через торговлю и превращая подпавшие под его влияние территории в колонии и доминионы, признает национальные права за их обитателями».

Готовый базис для нового немецкого «Дранга» и интронизации Скоропадского на манер тунисского бея.

Украинская пропаганда в самой Англии не прекратилась. Образчиком ее может служить журнал «Contemporary Russia» («Современная Россия»), в последнем номере которого — несколько статей посвящены апологии самостоятельности Украины и украинцев, переживших якобы «несколько веков угнетения». Есть в ней также пропаганда «Карпатской Украины» и удивительные по невежеству суждения бывшего русского генерала генерального штаба фон Валя о России и ее судьбах. Фон Валь считает российский национализм понятием «нереальным», а Россию — искусственной постройкой, «путем бессердечного угнетения национальных чувств народов». Даже слово русские он заменяет полупрезрительным — московиты и обвиняет этих «московитов» в том, что они украли от Украины само имя — Русь... Московиты одни приняли всецело большевизм и угнетают им другие народности. С падением монархии 144 народа России перестали считать себя россиянами и, «испытав гнет царей и иго коммунизма», никогда не подчинятся вновь России.

Так просвещает англичан российский ренегат. К удивлению своему, я нашел в таком журнале статьи генерала Головина и инженера Макшеева...

Наряду с «Украинской конторой», в Лондоне основан институт «Джорджика» (от слова «Джорджия» — по-английски Грузия), политическими руководителями которого состоят ученые кавказоведы и бывшие возглавители английской оккупации Закавказья в годы гражданской войны на Юге. Эта организация проводит план «помощи СССР», в случае нападения на нее Германии и Японии, обусловленный следующими требованиями: 1) независимость Грузии и Армении; 2) присоединение Азербайджана к Персии на автономных началах и под контролем... Лиги Наций. Итальянская газета «Корриере дипломатика э консуларе», приводя эти данные, заключает: «Таким путем Англия, не компрометируя себя, достигла бы двойного результата — создания постоянного антагонизма между Персией и Турцией, устраняя опасность турецко-афгано-иранского соглашения, и, вместе с тем, гарантии своих нефтяных интересов. Ибо фирма Шелль не только не отказалась от своих концессий на Кавказе, но продолжает приобретать частные промысла, аннулированные советами».

Газета прибавляет, что и «русский военный специалист, ген. Головин, чьи английские симпатии общеизвестны, уже подинмал вопрос о передаче Азербайджана Персии»... Действительно, в своей книжке «К чему идет Великобритания», ген. Головин пишет:

В отталкивании от Москвы окраин... «складывается чрезвычайно благоприятная в стратегическом отношении обстановка для наступления Великобритании не только в Персию, но и в Закавказье. Здесь она легко сможет... образовать малые государства, которые для защиты полученной ими самостоятельности будут заинтересованы оставаться в орбите политики Великобритании...»

Такими независимыми государствами — по Головину — могут быть сделаны Грузия и Азербайджан, с бакинской нефтью, Закаспий и Туркестан...

«Может быть, Великобритания, с целью задобрить шахское правительство, присоединит русский Азербайджан к Персии. Помогая осуществлению чаяния персидских патриотов за счет разваливаемой России, великобританское правительство приобретет в них горячих сторонников»...

Ген. Головин высказывает опасение, что «все вышесказанное может навести русских читателей на печальные мысли, и они могут стать весьма склонными к старому русскому англофобству»... И протестует: Отнюдь! Во-первых, «естественно, что Великобритания принимает все зависящие от нее меры, чтобы ликвидировать угрозу... революции в Индии, поддержанную красными войсками»; во-вторых, «национальный эгоцентризм существует у всех здоровых и сильных народов»; и в-третьих, «подобно тому, как инженеры-гидравлики стремятся использовать стихийную силу воды, организуя ее», так и британские политики используют развал России...

Только и всего. А вообще, «Великобритания, которая в своей дальнейшей борьбе с большевиками будет идти по пути создания на территории СССР новых государственных новообразований, не будет делать из этого какой-либо «Русофобии».

Покорно благодарим!

В этом поучении англичанам и нам все оценено: и грузинский национализм, и английский «здоровый» эгоцентризм, и персидский патриотизм. Только русского нет — ни эгоцентризма, ни патриотизма.

Получается какой-то своеобразный — если не организационно, то психологически — эмигрантский Пораженческий интернационал народностей России. Русский сектор его допускает нашествие на Россию любых ее врагов. Украинский, во всех его разновидностях, заявляет, что «не може бути ниякой згоди с пивничним ворогом-москалем»... и служит попеременно то полякам, то немцам... Грузинский и прочие, объединенные в конкубинате, именуемом «Лига Прометей», заявляют, что они «ведут всеми средствами борьбу против всякой России, какая бы она ни была», и считают своими союзниками «все те силы, которые стремятся к уничтожению московской империи»...

Оторванные от своих народов, закоренелые в шовинизме, они стремятся всеми силами впрячь их в чужое ярмо, вместо сожительства под будущей свободной всероссийской крышей.

Особой точки зрения держатся армяне, в своем оппортунизме исходя исключительно из угрозы физического истребления турками. «Пока Турция не на стороне Германии и Японии, — говорит эмигрантская газета дашнаков, — мы должны продолжать идейную борьбу с советским правительством... Но если Турция очутится на стороне этих держав, в этом случае жизненные интересы армянского народа потребуют от нас отказа от всякой оппозиции советскому правительству»...

Итак, в некоторых кругах Англии идет игра на расчленение России — игра партизанская, по-видимому без правительственной поддержки. Нефть, вообще, вещество легко воспламеняющееся и воспламеняющее мировые пожары. Нефтяные партизаны и «гидравлики» не хотят понять одного: как можно лишить великую империю жизненного источника ее хозяйственного благосостояния, без величайших потрясений, без бесконечных войн, в огне которых могут вгореться и сгореть не только бакинские источники, но и фонтаны Ирана, Ирака и проч.

Все подобные эпизоды не могут не вызвать в русских людях возмущения. Точно так же, как то, например, обстоятельство, что в течение ряда лет «опекуном» русской эмиграции состоял англичанин, майор Джонсон, нам враждебный и имевший тенденцию к репатриации, т. е. к передаче нас в руки ГПУ...

Конечно, Тафтел, «Джорджика», Джонсон — это еще не Англия. Но все же чрезвычайно печально, что, наряду с такого рода «ставками», мы не видим деятельного течения в пользу восстановления Национальной России. В Англии существует «Общество культурной связи между народами Британского содружества и СССР», издающее богато пробольшевицкий орган «Жизнь и работа в СССР», но нет аналогичного общества поддержки Национальной России...

Между тем, для водворения столь желанного Англии мира и равновесия, восстановление России неизмеримо существеннее, чем воронежские поля или мифические украинские или бакинские концессии. И если отбросить созданный Биконсфильдом и возрожденный Ллойд Джорджем миф «похода на Индию», как безрассудный и непосильный для России... Если отбросить стремление к бакинской нефти, как безрассудное и непосильное для Англии... Если восстановить тот раздел сфер влияния в отношении среднеазиатских путей и рынков, который с успехом был проведен Извольским и Грэем в 1907 году... Если, наконец, учесть, что пангерманизм, как и паназиатское движение, одинаково угрожают и России, и Англии, — то сотрудничество Британской империи и Национальной России представляется жизненным и обоюдо-необходимым.

Скажут — «рано об этом говорить»... Нет, не рано: политика «сегодняшнего дня», без предвидения и учета ближайшего будущего, ничего не стоит, а народные настроения, двигающие политику, не создаются вдруг. Скажут — «нет еще Национальной России»... Но потому-то и нужно помочь ей встать.

Вот еще область, в которой для русской национальной эмиграции — непочатый угол большой и плодотворной работы.

7

В отношении гитлеровской Германии эмоциональность политики известных кругов русской эмиграции достигает наибольших пределов, в особенности в эти последние дни.

На русскую эмиграцию Берлин обратил внимание впервые лет пять тому назад. По инициативе германского посла в Париже, к нему на завтрак был приглашен ныне покойный ген. Вас. Иос. Гурко; в беседе их русский вопрос не обсуждался, но генералу предложено было съездить в Берлин и повидаться с мин. ин. дел Нейратом. Встреча состоялась. Нейрат, избегая давать какие-либо обязательства, осведомлялся, главным образом, об ориентации и чаяниях русских людей за рубежом. Очевидно, или взгляды ген. Гурко, или данные им сведения не удовлетворили Нейрата, так как переговоры результатов не имели. Но попытки привлечения на свою сторону как некоторых организаций, так и видных русских эмигрантов не прекращались. Некоторые имели успех, другие, как, например, в вопросе о переносе Карловацкого синода на жительство в Берлин, встретили затруднения. В то же время по странам русского рассеяния стали разъезжать агенты Гестапо — часто из русских же эмигрантов — с небольшими деньгами и большими обещаниями. Они пропагандировали Гитлера, как «спасителя России», завязывали связи, оставляли «резидентов», с заданиями организационными и пропагандными.

В некоторых странах эта работа имела некоторый успех. Так, дальневосточная так называемая «Всероссийская фашистская партия» Родзаевского, в лице «представителя на Европу» Тэдли, через эрфуртский центр «Мировая служба», вошла в близкие отношения с немецкой пропагандой. Взаимоотношения Тэдли с органами рейха определяются ясно из письма его Флейшхауэру (15 июня 1936 г.), в котором Тэдли говорил: «Таким образом, я являюсь Вашим агентом, а косвенно — агентом третьего рейха. Это, однако, не подлежит огласке, почему я и оспариваю этот факт». Увы, по газетным сведениям, Тэдли посажен уже немцами в тюрьму. В Сев. Америк. Штатах завязались тесные отношения между «Немецко-Американским Бундом» и так называемым «Русским Национальным Союзом», причем имели место открытые совместные выступления. В других странах немецкая пропаганда реальных успехов не имела, но смуту в умах произвела несомненно. В особенности после того, как в одной из столиц не по разуму усердный резидент распространил анкетные листы для записи «добровольцев» в состав «русско-немецкого корпуса генерала Х» в целях борьбы против советов. Конечно, из этого блефа ничего не вышло, но имел он характер чистейшей провокации, так как мог подвергнуть жестоким репрессиям слишком доверчивых людей со стороны весьма недоверчивых местных властей...

В самой Германии, в которой, по данным, исходящим из Нансеновского Офиса, 45 тыс. русских эмигрантов, а по немецким сведениям значительно меньше, власти взяли в свои руки все направления их политической жизни: создали орган административной регистрации, наподобие харбинского «Бюро», основали газету на русском языке и поспособствовали образованию политического объединения — в национал-социалистическом духе. Инакомыслящие организации там нетерпимы и прямо невозможны. Даже лояльнейший отдел РОВС-а, подобно тому, как это сделано японцами в Маньчжурии, ныне упразднен немцами и преобразован в самостоятельный «Союз русских воинских организаций». «Самостоятельный», т. е. всецело подчиненный Гестапо.

Оставим в стороне весьма скользкий вопрос — по каким мотивам люди идут в эту кабалу. Займемся вопросом германо-русских отношений по существу — в том виде, как они сложились по сей день.

Оставим прогнозы. Займемся только фактами.

Чрезвычайные вооружения Германии, превосходящие надобности государственной обороны, имеют характер наступательный. Это очевидно. Кроме приобретения колоний и объединения с рейхом земель, заселенных немцами, Германия всеми силами стремится на Восток, к Черному морю — обстоятельство, угрожающее не только Балканским государствам, но и непосредственно России. Этому всемерно противилась императорская политика с начала 90-х годов, т. е. со времени крушения бисмарковской системы. Соответствуют ли эти задачи российским национальным интересам и можно ли в какой-то степени им сочувствовать или способствовать?

Но говорят: «Это дело будущего, а Россия умирает, ее надо спасать сейчас»... Хорошо, обратимся к намеченным методам спасения. Стало уже банальностью повторять определения, прогнозы, национальные задачи, поставленные в «Майн Кампф». Но ведь эта книга до сих пор составляет основу воспитания наци, ведь ее программа фактически проводится в жизнь. Ведь Гитлер вчера еще говорил в ней с величайшим презрением о русском народе. Что же, изменил он свой взгляд сегодня? Ведь он требовал отторжения от России Украины, «казачьих государств», Кавказа и Туркестана, с тем, что «большевизм останется Великороссии». Где, когда и как отказался он от этих своих заявлений? Наоборот, в августе текущего года приглашенному в Берхтесгаден Альфонсу Шатобриану во время долгой и дружественной беседы Гитлер, между прочим, поведал:

— Россия от Иоанна Грозного и Петра Великого вплоть до Ленина и Сталина идет своим неизменным путем. Я скажу более: Россия в организации советов нашла выражение своей истинной природы.

Сообразно с таким определением, намечается и метод не освобождения, а изоляции коренной России. Английский журналист Уорд Прайс, которого наша немцефильская пресса рекомендует, как лицо, «неоднократно и подолгу беседовавшее с Гитлером и лучше кого бы то ни было осведомленное о настроениях правящих кругов Германии», свидетельствует:

— Гитлер предпочитает не нападать непосредственно на СССР, а развивать там самостийные течения.

Известное подтверждение этого взгляда мы видим в ряде статей цитированного мною казенного журнала «Цайтшрифт фюр Геополитик» — в Германии, как и в СССР, вся пресса казенная — где развивается идея «освобождения» Украины — от Галиции до Кавказа — и попутно — преимущества для нее колониального режима... А еще раньше издающаяся в Берлине немецкой пропагандой «русская» эмигрантская газета «Новое слово» обратилась к читателям с таким... новым словом: «Распад Российского государства ничем не остановим, неизбежен, более того — единственный путь возрождения»...

Еще более определенным показателем отношения немцев к России являются практические шаги их в отношении к украинскому движению: пригревание и быв. гетмана, и Полтавца-Остраницы, и организации покойного Коновальца, и даже петлюровских наследников, лишенных польских субсидий и пристраивающихся к Берлину... Особенной поддержкой пользуется организация УНО, бывшего злейшим врагом России Коновальца. Сведения газет, что Коновалец был выслан из Германии, не верны. В течение ряда лет он, при содействии Гестапо, входил в связь с самостийными элементами советской Украины, но, главным образом, руководил ирредентой и террористическими выступлениями в Галиции. После германо-польского примирения, почти официальное пребывание Коновальца в Берлине сочтено было неудобным, и он на время выехал из Германии, сохраняя связь с Гестапо до своей смерти и посещая часто Берлин, где оставалась его семья и личный штаб. В последнее время УНО находилась в распоряжении Розенберга, по директивам которого в Мюнхене, на секретном заседании, с участием японского военного агента, был выработан план мобилизации и сосредоточения украинских

контингентов, в том числе и американских, на случай войны.

В связи с охлаждением польско-германских отношений, возобновилась работа Гестапо — УНО в польской Украине — обстоятельство тем более серьезное для Польши, что после аншлуса и протектората над Чехословакией рейх роковым образом приближается к Галиции и Буковине. Эта же сила, довлеющая над Прагой, произвела насилие над совестью и национальным самосознанием карпатороссов. Не надо забывать, что с 20-го года антирусская советская власть — первая и одна только — пустила в оборот термин «Прикарпатская Украина». С самого начала чехословацкой трагедии, по директиве Берлина, вся немецкая печать усвоила этот термин, и одновременно в Прикарпатскую Русь брошены были немецкие советники и украинские агитаторы из Вены. Помимо бешеной пропаганды в пользу «самостоятельной великой Украины», ведущейся из Бреславльского и Венского центров во всей Европе и в Америке и особенно в Англии, во Франции и в Соед. Штатах, германская официальная пресса дает место обширным украинским воззваниям, а казенные немецкие радиостанции распространяют по свету призывы их в пользу утверждения «Прикарпатской Украины»...

В таком аспекте это — не освобождение, а поход на Россию, на раздел ее, на порабощение нашего Юга силою — толкающей две ветви русского народа не против большевизма, а друг против друга — на междуусобие и братоубийство; чтобы, по завершении этого каинова дела, на развалинах и Великой и Малой России диктовать свою волю. Никогда, конечно, никогда и н и к а к а я Россия авторитарная или демократическая, республиканская или монархическая — не допустит отторжения Украины. Нелепый, безосновательный, питаемый и обостряемый извне спор между Русью Московской и Русью Киевской — есть наш внутренний спор, никого более не касающийся, который должен быть и будет разрешен нами самими.

В такой грозный момент под крылом наци собираются и объединяются две группировки: с одной стороны, крайне враждебные России сепаратистские организации, в том числе — кавказских народностей, под главенством грузинских шовинистов. И, с другой стороны, именующие себя «Национальным фронтом» четыре русских эмигрантских организации. Между той и другой группировкой, казалось бы, непроходимая пропасть. Казалось бы... Но вот орган Рос. Нац. Соц. Движ., одной из составных частей пресловутого «фронта», по требованию своих хозяев, уже перекидывает мостик, заявляя: «мы были бы рады распространить е д и н ы й ф р о н т даже на стоящие на ярко сепаратической точке зрения национальные организации народов России»... При этом Марков Второй — новоявленный национал-социалист, в оправдание столь желанного будущего похода и... колонизации, с верноподданным усердием подносит: «Русский не есть только славянин, но славянин с примесью немца; и только при наличии этого сочетания выявляется вся чистота русского характера»...

Итак, во имя возрождения России, нашествие на нее двунадесяти языков и... принудительная расовая примесь немца. Дальше этого, в холопском усердии, идти некуда.

Но, быть может, другие факторы германской жизни являются более благоприятными в отношении русской проблемы...

Бывшие русские немцы, на которых весьма надеялись наши немцефилы, отбросили протянутую им руку, заявив в своем органе «Дейтше Пост», что они отвергают «конструкцию Российской нации» и считают, что «общероссийская крыша совершенно не подходит для целей освобождения и обновления России»...

Вермахт? Мы знаем, что прежний Рейхсвер находился в дружественных отношениях с Красной армией и содействовал ее материальному восстановлению. Что в нынешней Вермахт не исчезло советофильство, являясь одним из элементов раздора между армией и партией. Что генералы Бломберг, Кейтель, фон-Фрич и многие другие не скрывали своих тенденций к союзу с советской Россией... Достойно внимания, что советская печать, выступая против Гитлера и наци, доброжелательно относится к Вермахту и его руководителям даже теперь, после того, как в последних процессах и казнях обвинение маршалов в продажности немцам играло главную роль.

И тут трагическая двойственность русского восприятия: поскольку руководители германской армии воздерживаются от посягательства на Россию — это явление благоприятное; поскольку же они поддерживают при этом советскую власть — это прямой ущерб русскому делу. Есть, впрочем, и третья возможность — связи руководства Вермахта с н а ц и о н а л ь н ы м и элементами Красной армии... Но такая связь была бы одинаково чужда и враждебна и большевизму Сталина, и национал-социализму Гитлера (...)

11

Мы познакомились достаточно с лицемерием «идеологической борьбы». Теперь для нас не может быть и речи о принципиальной враждебности или принципиальной дружбе к чужим державам. Не может быть и речи о д о л г е в отношении их. После того как весь мир отнесся к великому российскому несчастью, мы не должники, а к р е д и т о р ы. Вопрос только в лояльности и подчинении законам в странах русского рассеяния. А д о л г у нас — один в отношении нашей Родины — России. Моральные же обязательства к чужим странам должны определяться их отношением к Национальной России: к враждебным — враждебные, к равнодушным — равнодушные и к дружеским — дружеские.

Международная обстановка ныне неблагоприятна для русского освободительного движения. И безнадежна в отношении «Крестовых походов». Но в мире все меняется, иногда с быстротою катастрофической. Во время визита Шатобриана в Берхтесгаден, на письменном столе Гитлера лежала выписка из статьи Поля Валери, поучительного содержания:

«...До сих пор вся политика спекулировала на изолированных действиях. Это время приходит к концу. Каждое действие вызывает многочисленные и непредвиденные последствия. Обстоятельства, иногда незаметные или не обратившие на себя внимания, дают себя знать внезапно на любом протяжении времени. В несколько недель весьма отдаленные обстоятельства претворяют друзей во врагов, врагов в союзников, и победу в поражение»...

Прекрасная характеристика политики «сегодняшнего дня» и предостережение для Гитлера, и для многих. Мы видели воочию, как «возвращается ветер на круги своя», и караются грехи прошлого. Как рассчитывается Англия за свой союз и помощь Японии в создании ее флота и в поражении России в 1905 году... Как «Брест-Литовск» в кратчайший срок вызвал развал германской армии и революцию... К каким потрясениям привел уже и приведет еще 1919 год, когда небольшое усилие бывших союзников в пользу Белого движения могло бы избавить мир от красной напасти... Мы увидим еще и последствия «стратагемы» Пилсудского... И уже видим, как исторический бумеранг бьет по польским и советским головам за разжигание украинского сепаратизма.

«В несколько недель весьма отдаленные обстоятельства претворяют друзей во врагов, врагов в союзников, и победу в поражение»... Эта изменчивость политических настроений, комбинаций и режимов в любое время может изменить в корне международную обстановку и создаст, непременно создаст в дни борьбы такое положение, когда для тех, что ныне забыли или поносят Национальную Россию, возрождение ее станет желанным, быть может, единственным для них якорем спасения.

Подвиг и жертвы

Имя боевого генерала первой мировой войны, одного из лидеров белогвардейского движения Антона Ивановича Деникина не нуждается в представлении читателям «Слова». В 3 и 11 номерах нашего журнала за прошлый год публиковались фрагменты из пятитомного основного труда А. И. Деникина «Очерки Русской смуты». К сожалению, менее известны другие работы этого автора, такие как — очерки «Офицеры» (Париж, 1928), двухтомник «Старая Армия» (Париж, 1929, 1931), «Русский вопрос на Дальнем Востоке» (Париж, 1932), «Брест-Литовск» (Париж, 1933), «Международное положение, Россия и эмиграция» (Париж, 1934), «Кто спас советскую власть от гибели» (Париж, 1937).

В 1939 г. А. И. Деникин пишет еще одну книгу «Мировые события и русский вопрос», часть которой мы и печатаем в этом номере «Слова». Канун второй мировой войны — один из самых мрачных периодов всемирной истории. В «атмосфере беспринципности и жадности» на «международной политической бирже» готовился новый мировой передел. Избежать очередной бойни было уже невозможно.

Что же оставалось делать в этих условиях русской эмиграции, сотням тысяч беженцев от революционного террора, разбросанным по многим странам Европы, Америки и Азии? На чьей стороне встать с оружием в руках? Об этом размышляя во Франции 66-летний бывший главнокомандующий Вооруженными силами Юга России.

В первой части своего труда А. И. Деникин дает основанный на глубоком знании иностранных источников и периодики обзор политики различных стран по отношению к России Национальной, которую он отделяет от России советской. Помимо глав о Франции, Англии и Германии, включенных в нашу публикацию, речь идет также о Японии и Польше. Показывая полное равнодушие занятых своими эгоистическими до безрассудства расчетами ведущих стран «демократии» к России, Деникин вместе с тем предостерегает от союза с наци Германии и Японии. Немало русских эмигрантов питало иллюзии относительно этих стран. Об этом свидетельствовало приветственное послание Гитлеру Карловацкого синода, заявления некоторых деятелей о готовности вступить в войска вермахта, которые могут «принести русскому народу избавление от иудейского ига». Сходные надежды имелись и на Дальнем Востоке, где атаман Семенов сравнивался с древнерусскими князьями, шедшими на компромисс с Ордой.

Предостерегая этих эмигрантов от подобной сугубо «эмоциональной» политики, генерал указывает на очевидные факты — отношение Гитлера к славянам в «Майн кампф», политику гестапо и немецкой полиции по отношению к ряду деятелей православной церкви, вообще к христианству, которое подверглось гонению со стороны неоязычников А. Розенберга и К°. Об отношении к России Национальной говорило и то, что и в Германии, и в Японии были расформированы отделения «Русского Общевоинского Союза». А в оккупированной японцами Маньчжурии вообще разгромлены почти все русские школы и треть русских лишены средств к существованию. Как в Берлине, так и в Токио охотно принимали мусульманских и украинских сепаратистов. Объявлялось, в частности, о создании Украинского буфера, куда вошли бы «украинские» города Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и другие.

Подобная русофобия и заставляет А. И. Деникина сделать вывод: «...Если в рядах русской эмиграции найдется еще, без сомнения, достойных людей, готовых бороться и умереть за Россию, то было бы самым трагическим из всех недоразумений, если бы оказалось, что их подвиг и жертва направлены... п р о т и в Р о с с и и».

Особая глава посвящена Польше. Нынешние историки, предъявляющие бесконечные претензии к России и русским, просто не знают или замалчивают о жестоких гонениях на православие в Польше. Так, например, только за один месяц 1938 г. только в части страны было разрушено 114 церквей с кощунственным поруганием святынь и арестами русских священников и прихожан. Слабые голоса протеста на Западе не были услышаны...

Оценивая «двуликого Януса» польской политики, А. И. Деникин напоминает и о предательстве Пилсудским белой армии, о склонности польского правительства к различным тайным соглашениям. Далее сделан провидческий вывод о том, что Польша прямым и скорым путем идет к историческому возмездию — четвертому разделу.

Вторая часть книги генерала посвящена собственно положению русской эмиграции, ослабленной грехом розни, противоречий. Это резко ограничивало политические возможности русских в изгнании, несмотря на то, что в труднейших условиях за два десятилетия русские в странах проживания сумели выделиться на всех поприщах науки, техники, искусств. А. И. Деникин выдвигает в качестве программы двуединую формулу — свержение советской власти и защита России. Правда, генерал, подобно многим (на Западе русским было известно и о коллективизации, и о голоде, и о «воинствующих безбожниках»), писал: «Я не могу поверить, чтобы вооруженный русский народ не восстал против своих поработителей». Он полагал, что «лучшие элементы» Красной армии, государственного аппарата сумеют возглавить борьбу за Россию Национальную. Как, известно, в этом генерал ошибся. Гитлер не пожелал, несмотря на предостережения, вести борьбу только против большевиков, но не против России как таковой, установил режим геноцида в оккупации. Сталин же в своих интересах патриотический подъем поддержал, вдруг вспомнив о «братьях и сестрах», Александре Невском и Суворове, приостановив атеистический каток «воинствующих безбожников».

А. И. Деникин, впрочем, писал и о том, что в случае невозможности вооруженного восстания против Советской власти прямая борьба эмиграции бессильна. В этом случае ей остается следить за тем, чтобы направить свою активность не в пользу, а против внешних захватчиков. Сам Деникин, как известно, отклонил предложение о сотрудничестве с нацистами и неоднократно выступал в поддержку Красной Армии.

Главным же положением книги «Мировые события и русский вопрос» остаются слова о том, что российские «моральные обязательства к чужим странам должны определяться лишь их отношением к Национальной России».

Алексей ТИМОФЕЕВ



Из поколения фронтовиков

В 1947 году на 1-м Всесоюзном совещании молодых писателей многие фронтовые поэты (а там их было большинство) перезнакомились и стали друзьями.

В нашем семинаре основным руководителем был М. Светлов, а помогали ему вести занятия сразу шесть известных поэтов, переводчиков и критиков — С. Шервинский, М. Голодный, М. Зенкевич, П. Шубин, Д. Данин, В. Звягинцева...

А участников семинара было всего — четверо, и все фронтовики — Н. Гребнев, Д. Ковалев, Я. Козловский и я. Такое внимание было уделено нам...

Дмитрий Ковалев мне особо запомнился. Он приехал в Москву с Севера — был там и морским пехотинцем и подводником.

В то время у многих поэтов, прошедших фронт, очень трудным был переход от войны к мирной жизни, они никак не могли отойти от военной темы.

У Д. Ковалева это получилось как-то естественно. Видимо, потому, что с детства он был связан с землей, с сельскими людьми, с их бытом и нравами.

И тогда очень заметно выделились его сердечные стихи о возвращении домой, о встрече с матерью, с земляками. И мне до сих пор памятны многие из них. Они были предметными, достоверными, близкими читателю:

Кузница такая,
Что с шоссе
В щели пламя горна видят все.
Видят в дверь широкую:
Вдвоем
Рубят кузнецы военный лом.
Возле двери
Очередь калек —
Ломанных косилок и телег.
Кто проходит мимо,
Шлет привет.
Не всегда кузнец кивнет в ответ:
Пусть не обижается народ —
Нынче дело мастера не ждет.

Д. Ковалев прекрасно чувствовал родную природу и умел передать в стихах ее краски и оттенки, умел поговорить от души о трудовых людях, о их судьбах, о радостях и бедах...

С годами его поэзия становилась острее, полемичнее, поэт заговорил о главном — о душе человека, о чувстве справедливости, о совестливости. В нем самом жило это чувство, он болезненно переживал всякую фальшь. И как человек прямой, открытый, он и в стихах был таким...

Николай СТАРШИНОВ

Ковалев Д. М. ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. М.: Современник, 1990.

ВАСИЛИЙ САБИНИН

Сталинградская мадонна



Василий Константинович САБИНИН родился в 1941 году. Автор вышедших в издательстве «Молодая гвардия» книг «Первый Черноморский» и «Право на приказ» о событиях гражданской и Великой Отечественной войн. Сейчас готовится к выпуску новый роман В. Сабинина «Рикошет». Публиковался в литературной периодике России, Украины, Белоруссии.

1

Летом 1988 годе, в Москве, на съезде ассоциации молодых историков шли разговоры об уставе, о программе, о том, кого считать молодым, но когда, наконец, разобрались и стали организовываться по секциям, то выяснилось, что в секции военной истории исследованиями периода Великой Отечественной войны будут заниматься три (!) человека. Цифра едва отличная от нуля, если учесть количество делегированных научными организациями всех союзных республик — около 500 человек. Но обеспокоенности по этому поводу не проявил никто, и съезд все больше и больше стал откатываться с рабочих позиций и заканчивался уже как бенефис Ю. Афанасьева, Р. Медведева и А. Мигранянa.

Откуда такое равнодушие к событию высочайшей мировой значимости, какое, к сожалению, продемонстрировали молодые историки? Поразительно, но приходится напоминать, что без знания истории войны многое в нынешнем мире не поддается вразумительному объяснению: ни новые государственные границы, ни новые политические и экономические связи, ни появление новых международных организаций, в частности, и ООН. Да и происшедшее внутри нашей страны без анализа последствий военного перенапряжения никак не обосновать, в именно там лежат корни великих демографических, экологических катастроф России, Украины, Белоруссии, там же — ответ даже на такую малость, как появление у руля государства личности, ставшей символом застоя с «звездопадом» самонаграждений, «мемуарами» и прочей показухой. История войны — это пик сейсмограммы страшного катаклизма, потрясшего страну. Без проецирования на него многие события видятся искаженно. Так случилось, например, с «пактом Молотова — Риббентропа», который нынче рассматривается на уровне территориальной тяжбы. Сиюминутные дивиденды для некоторых оказались важнее поиска истины, стоит только посмотреть на некоторые периодические издания, захлестнутые невиданной волной «историй», где тема войны если и рассматривается, то только как явное приложение к ограниченному ряду откровенно конъюнктурных тем.

Думается, что все-таки наука преодолеет «эстрадный» бум и вспомнит профессиональное предупреждение — заповедь выдающегося государственного деятеля и военного историка Д. А. Милютина (1816—1912), гласящую, что «историю России должно писать кровью наболевшего сердца». Наверное, так все-таки и будет, а пока — картина относительно безрадостная и все чаще и чаще, особенно в периодике, и военной (!) в том числе, в той или иной форме раздаются призывы к отказу от опыта Великой Отечественной, как от «устаревшего», а то и вовсе как «ненужного в период движения в общеевропейский дом»...

2

Но именно кампанию активного разоружения, которую ведет отечественная левая пресса, было бы небесполезно посмотреть в зеркале книгоиздательского военного неутихающего «бума» в Германии. Первое же, несколько беглое знакомство с ее книжным рынком впечатляет.

Какое же обилие названий, масса авторов, большой диапазон тем и цен, но, ознакомившись с изданиями, можно подметить одну закономерность для всех изданий — все они полиграфически выполнены на завидно высоком уровне, даже массовые дешевые издания дадут сто очков вперед считающемуся у нас солидным «Военно-историческому журналу» и большинству продукции наших издательств, выпускающих книги о войне. Ну а что касается книг «Бух унд Вельт», то по полиграфическому качеству у нас их и сравнивать не с чем. Шрифты ясные, схемы простые и четкие, с высокой степенью наглядности, фотографии от первой до последней выдержаны в стиле, тоне, соразмерности. Словом, к таким профессионалам каждый бы побежал издаваться, даже за свой счет и даже в очередь.

Поосмотревшись, в книжном потоке можно выделить три направления. Во-первых, солидные издания солидных авторов или групп составителей: Пауль Карелл, профессор Ханс-Адольф Якобсен, Ханс Доллингер и другие. Их имена известны у нас узкому кругу специалистов, и книги, написанные ими, как правило, у нас не переводились, не издавались и не ввозились. Многие годы история Великой Отечественной войны оставалась исключительной монополией ряда лиц, в угоду которым подгонялась к заранее заданным ответам. Все написанное на Западе раз и навсегда объявлялось «буржуазной и реваншистской фальсификацией», даже то, что нас впрямую касалось и что требовалось как воздух. Насколько бы проще было работать С. С. Смирнову, разыскивая крупицы материалов по обороне Брестской крепости, знай он о существовании «Истории 45-й дивизии», той самой, что почти месяц потеряла у стен Бреста... Но он не знал, не имел права знать и потратил годы на поиски даже там, где хватило бы недели знакомства с «фальсификаторской» книжкой, которая была издана еще в 1955 году.

Вторая группа изданий — мемуары. С ней положение немного иное, и в ней — целая группа известных советскому читателю имен: Типпельскирх, Гальдер, Фриснер, Манштейн. Они переведены и чаще прочих встречаются в отечественных исследованиях, но большая часть мемуаров — это пока для советского читателя и есть та часть айсберга, что под водой. Общий список генеральских мемуаров велик, и даже простое перечисление выглядело бы солидным библиографическим трудом с весьма расплывчатыми границами и своими проблемами, например, такой — надо ли относить к этому ряду воспоминания финского маршала Маннергейма, итальянца Кавальеро и гитлеровского министра вооружений Альберта Шпеера? Из этого раздела изданий, на мой взгляд, советскому читателю необходима, в первую очередь, хорошо аннотированная систематика с последующим переводом объективных и содержащих важные факты и свидетельства работ. Так, в книге «Загубленная пехота» генерала Фреттер-Пико (Франкфурт-на-Майне, 1957) содержатся сведения о фактическом маневре немецких войск под Севастополем, который согласуется с действительностью лучше, чем предлагаемые схемы в наших и зарубежных исследованиях. Схема вполне способна объяснить многие скороговорки наших исследователей по описанию отражения немецкого наступления в июне 1942 года.

И, наконец, ярмарочная пестрота массовых изданий. То, что условно предлагается объединить в третью из рассматриваемых групп. Здесь воспоминания и сборники воспоминаний, биографии, описания отдельных эпизодов боевых действий, короткие справки по всем частям тогдашней военной машины Германии. Все это выходит как отдельными изданиями, так и в периодике, где даже «надпартийные» киты «Шпигель» и «Штерн» не гнушаются давать на своих страницах самые различные факты о минувшей войне.

Степень достоверности и документированности материала — самая различная, не обходится без шелухи, но, в основном, материал по фактам весьма добротный, ну а что касается толкования, то можно отметить, что мода на толкования уходит. Тоже очень важный пример, вполне достойный подражания. Если не уверен в однозначности факта — лучше приводить его без комментариев.

Мы долгое время не хотели усвоить одного обстоятельства, что около 60 процентов всех документов, отражающих состояние той части СССР, которая в 1941—1944 гг. называлась «оккупированными областями», остались и находятся поныне в Германии или перекочевали в западные архивы. Достаточно сказать, что направление государственной отчетности из оккупированных областей в течение трех лет было ориентировано на Германию, куда посылались сведения о ресурсах, о рабочей силе, о заготовках, о сельскохозяйственных работах, о колонизации и бог весть еще о чем, даже о состоянии охотничьих угодий рейхсегермейстеру Шерпингу, который собирал эти отчеты от имени «главного охотника рейха» — Геринга.

Документы оседали в министерствах и ведомствах, в частных и «народных» предприятиях, учебных и научных заведениях, не говоря уже о секретнейших партийных и военных архивах, где в большинстве своем и остались, так как многие из учреждений — собирателей информации не вошли в «Должностной и организационный лист», выпущенный как дополнение к закону о денацификации и демилитаризации от 5 марта 1946 года, по которому производилось изъятие документов и возвращение их законным владельцам. «Холодная война» надолго отбросила решение этого вопроса, и по сей день он находится в том же состоянии, что и в конце войны. Поскольку возвращение подлинных документов затруднено, то правомерно просить правительство Германии обеспечить хотя бы их копирование и выпуск сводных томов. Но это к обзору литературы уже не относится.

Остановимся на том, что именно пишется в книгах, о которых шла речь. Как событие объясняется нации? Трагедия всегда рождает много вопросов, и книги призваны на них отвечать.

3

Есть одна оценка, в которой практически все авторы всех упомянутых выше групп сходятся. От генералов до поставщиков легкого чтения. Его можно сформулировать так: «Война проиграна из-за (дилетантства, злой воли, фатального предназначения, роковых ошибок и пр. — нужное, как говорится, подчеркнуть) Гитлера». И уже потому он — один из самых важных персонажей войны. И литературы о ней. Генералы почти в один голос заявляют если не об оппозиции, то об определенном фрондерстве по отношению к его директивам, с удовольствием муссируют версии о его стратегических ошибках и почти всегда с сожалением пишут: «Вот если бы...»

Количество биографий фюрера все увеличивается, новые издания снабжаются все новыми подробностями, фотографиями, документами, интерес подогревается периодикой и телевидением. Многие в этой фигуре склонны видеть нечто апокалиптическое, сатанинское, некое исключительное начало или патологическую порочность. В доказательство идут гороскопы, анаграммы, магические квадраты и построения и даже рентгеновские снимки фюрера, хранящиеся ныне в Национальном архиве США, в Вашингтоне.

Тезис исключительности, к сожалению, прочно перекочевал в работы советских историков, где Гитлер выступает маньяком человеконенавистничества с одной-единственной идеей: «Дранг нах Остен». Однако, если вглядеться во все без исключения диктатуры, от Рима до новейших времен, то можно увидеть одну закономерность: все они декларировали примат народа или государства и от их имени действовали на обычном уровне мелких человеческих страстей, которые выглядели гипертрофированными, преломляясь через фокус исключительной власти. Наверное, социальная психология уже сейчас может обрисовать портрет «среднего» диктатора или дать некие типичные черты, и Гитлер, равно как и большинство других, не будет выделяться из этого ряда. Любая иерархия имеет высшее звено. Диктатура — это совпадение двух или более иерархий в своих наивысших точках, в одной личности, и дальнейший анализ действий такой личности весьма труден с точки зрения плоскостных иерархий. К такой мысли приходит автор двухтомника о Гитлере Джон Толанд, но книга страдает тем, что Толанд, проникая в мир своего героя, почти не говорит о походе на Восток, исключив из повествования все сражения и подготовку к ним (не будем забывать, что Гитлер был верховным главнокомандующим, и освещение вопроса должно быть соответствующим!), кроме Арденнского (1944—1945 гг.), глава о событиях 1943 года называется «Семейный круг», о Сталинграде и Курске говорится вскользь, и советские армии появляются только в последней главе «Пять минут после полуночи», когда дальнейшее умолчание их роли было уже невозможным. Хотя указанная книга — только перевод на немецкий, но она характерна именно умолчанием роли СССР во второй мировой войне при всей прочей внешней объективности. К сожалению, для западной литературы о войне это — типично.

С темой фюрера так или иначе смыкается тема его взаимоотношений с армией, с генералитетом. Апофеоз темы — события 20 июля 1944 года, когда связь армии и НСДАП, явная и тайная, длившаяся более двух десятилетий, оборвалась окончательно, не оставив ни одной из сторон никаких надежд.

И хотя в мемуарах генералы открещиваются от фюрера, но есть имя, к которому все, кто его упоминает, относятся с почтением, безоговорочно признавая высочайший в военных кругах авторитет этого редко упоминаемого среди сонма германских фельдмаршалов скромного генерал-полковника. Его имя — Ганс фон Сект. Он — основатель запрещенного Версалем рейхсвера и всей германской военной машины, которой после 1933 года воспользовался Гитлер.

Если рассуждать здраво, то НСДАП и ее фюрер — тоже в некотором роде детища Секта. Тот, приступая к формированию «черного» рейхсвера, искал опору в общественном мнении, и более всего в разноголосьи Веймарской республики требовалась нота, которая бы постоянно и во всех случаях поддерживала политику сохранения военной силы. Программа нацистов подошла генералитету с точностью патрона, досланного в патронник и готового к выстрелу.

Тандем начал действовать. Сначала выросла партия (в 1919 г. — 64 члена, к концу 1933 г. — около 4 миллионов), а затем произошло принятие закона о всеобщей воинской повинности (21 мая 1935 г.). Взаимодействие было хорошо рассчитанным, заранее спланированным, и об этом говорит даже такой факт, как принятие устава пехоты только что образованных (формально) сухопутных войск спустя всего 10 (!) дней, 31 мая того же, 1935 года. О высокой степени разработки документа говорит хотя бы то, что все требования к ведению современного боя были учтены настолько, что уставом можно было руководствоваться даже в «большой» войне. Польская, норвежская и французская кампании были выиграны именно с этим уставом и только перед нападением на СССР (16 марта 1941 г.) был принят новый, с поправками. Странно, но ни у одного из наших военачальников в мемуарах не отражен этот красноречивый документ, в котором акцентировалась явная направленность на характер предстоящих операций: глубокие прорывы, длительные марши, бой подвижной группы. Наверное, сыграла свою роль дезинформация, заключавшаяся только в одном слове на обложке устава. Там значилось: «Проект», однако устав действовал именно в таком виде и был повторен в 1942 году с той же подписью Браухича и с тем же злополучным словом — «Проект», хотя давно документ был тем, чем и должен быть — руководством к действию.

Но все это было позже. Вернемся к развитию отношений между армией и нацистами. К 1933 году в них наступил такой период, когда НСДАП уже не могла выполнять роль декорации власти, потому что сама была властью, а после смерти генерала Секта (1936 г.) не было ни одного генерала с авторитетом, который можно было бы противопоставить возрастающему влиянию фюрера. Произошло то, что должно было произойти. Детище оторвалось от пуповины. Робкие попытки генералитета были пресечены дезавуированием Бломберга и рядом отставок: скандальных, почетных и тихих. Армия в борьбе за власть проиграла окончательно и бесповоротно. Оставался

только путь открытого военного путча, и последняя из попыток была предпринята в июле 1944 года и известна в литературе как «операция «Валькирия».

С самого начала Гитлер свел шансы заговорщиков к минимуму. Фюрер своевременно учел возможность заговора и перевел свою ставку в «Вольфшванце» к Растенбургу в Восточной Пруссии. Он переиграл военных и, как пешка, прошедшая в ферзи, давно действовал самостоятельно, отводя способствовавшим его продвижению фигурам явно вспомогательную, а то и просто подчиненную роль.

Генералам это до сих пор не нравится.

4

Есть еще один мотив, пронизывающий все упомянутые группы литературы о войне. Это — всеобщее признание исключительной тяжести для немецкой армии всей Восточной войны, войны с Россией.

Интересная деталь на фоне сегодняшнего всеобщего национального пробуждения. Показательно, что в своем обращении к солдатам Восточного фронта, зачитанном войскам перед началом боевых действий 22 июня 1941 года, Гитлер ни разу не употребил официального названия нашей страны — Союз Советских Социалистических Республик — уж кто-кто, а он, фюрер и канцлер, знал его, но, тем не менее, именовал страну не иначе как «Россия» или «Советская Россия».

Это не случайная оговорка, а часть военно-политической программы. Достаточно взглянуть на карту-приложение к «Генеральному плану «Ост» от 12 июля 1942 года, чтобы понять цели подобных высказываний и их смысл. На карте слова «Россия» нет. Республики Прибалтики и Белоруссия образуют рейхскомиссариат «Остланд», такой же рейхскомиссариат на украинских землях, но без Черниговщины, Харьковщины и Донбасса, именуется «Украина», территории южнее Дона между Каспием и Черным морем именуются «Рейхскомиссариат «Кавказ» без всякого национального деления. Остальные территории — остаются в ведении военных администраций групп армий «Север», «Центр», «Юг».

Чтобы исключить всякую возможность вооруженного сопротивления, секретнейшим, государственной важности, циркуляром от 16 июля 1941 года запрещалось ношение оружия славянами и украинскими казаками. «Украинские казаки» — из подлинной терминологии документа, и как толковалось это понятие — неизвестно.

Так, в первые же минуты войны, произошел некий национальный парадокс, суть которого заключалась в том, что все нации и народности нашей страны в глазах вторгшихся стали русскими.

Фотография «Русские пленные», а речь идет о 345-й Дагестанской дивизии, «Русские за ночь значительно расширили плацдарм» — а это уже о Войске Польском у Магнушева, и примеров можно привести без числа, о каких бы формированиях речь ни шла: татарских, башкирских, казахских — везде и всюду — в военных сводках, мемуарах и исследованиях, до сего времени значится только одно наименование нации — русские.

В свете этих фактов хочу привести еще один. Из недавних исследований. Кандидат исторических наук, старший научный редактор Главной редакции энциклопедий Литовской ССР Альгирдас Матулявичюс походя пишет в статье о «Малой» Литве такую фразу: «...в конце 1944 — начале 1945 г. 16 Литовская дивизия и другие соединения Красной Армии освободили эти земли». Речь идет о Восточной Пруссии. И о том, как просто пришить кафтан к пуговице, если на все смотреть с национальными шорами. То, что поименовано у автора так скромно «другими соединениями Красной Армии», на самом деле является: 15-ю общевойсковыми и 1-й танковой армиями, 5-ю танковыми и механизированными корпусами, Балтийским флотом и 2-мя воздушными армиями с общей численностью, включая и Литовскую дивизию, — 1 670 000 человек. Но штат стрелковой дивизии при этом — 9435 человек (БСЭ, статьи «Восточно-Прусская операция 1945 г.», «Дивизия»).

Язык взаимопонимания — единственный, который не терпит никаких акцентов, но, видно, прав был мудрец и законодатель Великой Литвы Ишментас, сказав: «Дурное семя всходит без посева».

Вернемся к теме войны.

Битвы, развернувшиеся с самого первого дня, начали разворачиваться отнюдь не в полном соответствии сценариям, заранее расписанным в германских штабах. О Бресте уже говорилось, а вот о сражении в Беловежской пуще и на всем остальном пространстве от границы до Минска известно мало. Но не у нас. В Германии первые дни войны в литературе освещены куда как полнее. Так вот, во всех воспоминаниях солдат и офицеров 78, 29, 18 пехотных дивизий, полка «Гросс-Дойчланд» и мехгруппы Томаса о боях в Беловежской пуще пишется с содроганием. «Проклятый Беловежский лес!» — восклицают одни. «Ад!» — еще короче говорят об этих местах другие. «Кровавая обедня 29 июля!» — восклицает офицер 215 полка о бое у белорусской деревушки Попилево, но генералам приходится сдерживать эмоции, и они пространно объясняют причину задержки фельдмаршала Бока под Минском, хотя объяснять ничего не надо, все написано в приказе самого фон Бока от 8 июля: «Окружение завершено». (Окружение, а не уничтожение!) Книжка «Ландсера» № 455, посвященная этим событиям и участию в них мотоциклистов вермахта, называется вполне многозначительно: «Поездка через ад». Таким же адом оказался для мотоциклетной роты и Смоленск, где ей пришлось драться даже не с регулярными частями Красной Армии, а с милиционерами, которым на помощь пришел истребительный рабочий батальон. Что это за формирования — выяснить не удалось, но то, что это были действительно милиционеры и рабочие, сомневаться не приходится: немецкие авторы отличаются высокой точностью в мелких деталях (форма одежды, документы, вооружение и т. д.)

Другое дело — выводы из написанного.

5

«Ад», если верить написанному, подстерегал немцев везде и все время похода на Россию. «Трагедия 23-го корпуса под Москвой», «Последние из опорных пунктов на «Чертовом острове» (о боях у Ильменя в 1942 г. «Ландсер» № 1221), «Белый ад Демянска» — книг и глав в книгах с такими названиями не счесть, и в них описаны действительные эпизоды войны, свидетельствующие о героизме Красной Армии, которые не вошли ни в одну официальную историю войны.

Несколько примеров.

В воспоминаниях о саперах 11-й немецкой армии и их действиях в Крыму есть описание боя в районе деревни Шули (25 км восточнее Севастополя), проходившего 14—15 ноября 1941 года. «Русские контратаковали и, умело применяясь к местности, свели к минимуму возможность применения против них артиллерии. Запоздалые попытки выбить их с высоты 445, господствующей над районом Шули и дорогой к Севастополю, силами 122 пехотного полка успеха не имели. Положение спасли саперы. Саперные роты 122 полка и 2-я саперная рота 150 полка совместно с ротами 1-го и 3-го батальонов в ночной атаке при поддержке артиллерии, вынужденной вести огонь на предельных углах возвышения (около 87 градусов), выбили русских с высоты 445, но дальнейшего успеха не имели, т. к. наткнулись на не обнаруженные ранее огневые позиции противника. Русские показали себя мастерами маскировки».

Упоминаний в наших источниках об этом бое нет. Не помнил о нем конкретно и командир 172 стрелковой дивизии генерал И. А. Ласкин, когда пришлось обратиться к нему за разъяснениями, но подтвердил эти сведения весьма своеобразно: «За те бои в ноябре Севастополь должен Тарану памятник из золота поставить. В рост. Он нам тогда отдышаться дал». (Н. Н. Таран — командир полка, державшего в те дни оборону в районе Шули.)

Памятника майору нет, как нет его всем бойцам и командирам, принимавшим участие в той отчаянной контратаке, предпринятой во спасение всей Приморской армии, Севастополя, все 250 дней обороны которого стали такими же, как эти два. Странные извивы у солдатской судьбы — можно быть неизвестным на Родине и снискать признание у врага.

Кстати, в западногерманских изданиях приводится много тактических схем, и полагаю, что их систематика и соответствующая обработка могли бы уточнить многие наши труды по истории войны, внеся определенную ясность в явно одностороннее изображение хода боевых действий у некоторых авторов.

В отличие от боевых операций, намного реже в описываемой литературе встречаются упоминания о контрпартизанской войне. На оккупированной территории СССР уже в первый год войны немецким командованием насчитывалось 35 партизанских районов. Насколько серьезной была эта сила и как с ней приходилось считаться

самым высшим штабам вермахта, говорит хотя бы одна операция «Свободный стрелок», проведенная силами 45 армейского корпуса севернее Брянска в междуречье Десны и Болвы 21—26 мая 1943 года. Шла подготовка войск к решительному летнему наступлению, к битве под Курском, на которую Гитлер возлагал особые надежды.

Однако надеждам не суждено было сбыться. Противостоящие под Курском армии были уже не те, что в самом начале войны. Историки Курского сражения, как правило, ударяются в сопоставление техники и живой силы сторон к началу сражения и, будто впервые, отмечают превосходство Красной Армии в танках, артиллерийских стволах и авиации. Но следовало бы признать, что на 22 июня 1941 года соотношение было почти таким же! Зато армии были другие. Хождение по кругам «ада» от Беловежской пущи в первые дни войны до Сталинградского чистилища изменило немецкого солдата неузнаваемо. Солдат лета 43-го года жил уже с привычным холодком страха, сомнения, о котором солдат вермахта в июне 41-го и не подозревал. Этому есть свидетель, и свидетель необычный — песня.

В свое время у одного нашего маститого писателя, прошедшего войну спецкором одной из центральных газет, привелось вычитать фразу: «Солдаты горланили на улицах захваченных городов фашистские песни: «Хорст Вессель» и «Лили Марлен». В сноске про Хорста Весселя было написано, что он — фашист, а про Лили Марлен — ничего, но, поскольку она была определена в компанию к фашисту, то и сама, надо полагать, была птицей того же полета. В такой уверенности пришлось пребывать долгое время, пока случайно не наткнулся на текст песни. Подлинный. Прочитал и удивился, еще подумал: «Может, не та»? Но оказалось, что та, на слова Ханса Лейпа с музыкой Норберта Шультце, и самое поразительное, что в ней не было ничего фашистского! Обычная лирическая песенка, сентиментальная, про то, как под фонарем, за воротами, ждет девушка, которую немецкий парень хочет видеть еще и еще. Ее-то и зовут Лили Марлен, и все пять куплетов посвящены ей, и не привожу их только по причине экономии места и потому, что поэтического перевода песни нет, а подстрочник напрочь убивает мелодику и ритм стиха. Более того, слова песни оказались написанными в 1915 году, когда о фашистах в Германии еще никто не слыхал.

Весь «грех» «Лили Марлен» в том, что она стала модной и популярной в роковом 1941 году во время Балканской кампании, но ставить ее за это в один ряд с нацистским гимном по меньшей мере необдуманно. Все равно, к примеру, что обвинять ее русскую ровесницу (по времени популярности) «На закате ходит парень...» в разгуле репрессий 30-х годов или клеймить обычную морковку за то, что ее любил вегетарианец-фюрер.

Истинно народное никогда не служит ни ограниченной идее, ни персонально диктаторам, как бы они того ни хотели и ни жаждали. «Лили Марлен» — песня о любви — взбунтовалась одной из первых. Она родила в немецкой армии — как и всякая популярная песня — массу пародий. И не безобидных. Кое за какие полагался военно-полевой суд. Известны аресты сочинителей и распространителей одной из таких силами ГФП — тайной полевой полиции, в частях около Харькова зимой 1941—42 гг. В пародии пелось, как «на Москву шла дивизия, а обратно — батальон, совсем как Наполеон, совсем как Наполеон» («Шпигель» 9.02.81 г.).

Солдаты умнели быстрее, чем генералы.

6

Прозрение приходило с болью.

О масштабах происходивших в то время перемен на Земле будут помнить еще долго, даже спустя много лет после того, как закончится жизнь тех, кто видел войну воочию. Она оставила на земле воистину незаживающие раны.

Как-то, перелистывая западногерманский горный журнал, натолкнулся на заметку о том, что интенсивные бомбардировки Рура англичанами и американцами на протяжении почти всей войны тяжелыми и сверхтяжелыми авиабомбами (3 тонны и выше) вызвали процесс перераспределения грунтовых вод в районе, и очень много шахт потребовалось реконструировать в части водоотлива и гидрозащиты, а кое-какие выработки пришлось забросить.

Оказалось, что факт совсем не единичный.

Пыль и копоть войны изменили конфигурацию ледников и снежников Кавказа. Металл сражений изменил магнитные склонения в районах Севастополя, Новороссийска и в районах некоторых островов Тихого океана.

Повторился и «рурский» случай. В Севастополе, где армия Манштейна в 1942 году сосредоточила до 1000 орудий на километр фронта, в том числе и монстры — орудия сверхтяжелых калибров до 800 мм, призванные разрушать укрепления береговых батарей. Но многие снаряды попадали просто в землю, прошивая в ней многочисленные «колодцы» глубиной до 40 м, оканчивающиеся камуфлетными кавернами от мощных взрывов. И так было почти по всему внешнему обводу города, а это значит, что водоупорные слои, поддерживающие воду довольно близко к поверхности (до войны средняя глубина колодцев составляла 6—7 метров), были пробиты и вода ушла на новые, соответственно более низкие, горизонты. Колодцев в Севастополе теперь нет.

Специально привожу эти примеры, чтобы показать разрушительное действие войны в масштабе, где отдельная человеческая жизнь, отдельная личность обращаются в бесконечно малые.

Неправедность содеянного ускоряет и усугубляет осознание малости и беззащитности, бренности и обреченности человеческой жизни. Те немногие из солдат 6-й немецкой армии Паулюса, испытавшие на себе все, но выжившие, все как один вспоминают один и только один эпизод из начала своего отрезвления, тяжелого пробуждения от нацистской бесовщины. Это было в тот час, когда их уводили колоннами на левый берег Волги мимо стены руин, где какой-то неизвестный художник из страха, ради покаяния, по наитию изобразил знаменитую «Сталинградскую мадонну».

Богоматерь с младенцем, потом, в плену, копировалась по памяти и дорожили ей не менее чем рафаэлевской, а, может быть, даже и больше, потому что к босым и обмороженным степными морозами стопам ее было принесено столько людских грехов, сколько не отпускалось ни в одном храме со дня его основания.

Среди солдат под Курском, неизвестно как просочившись, ходили легенды о «Сталинградской мадонне», и тайная полевая полиция уже ничего не могла поделать. «Мадонна» — это уже не «Лили Марлен».

Так Курская битва была проиграна германским солдатом задолго до ее начала, в Беловежской пуще, под Москвой, у Ильменя, у маленького городка Задонска и на кавказских перевалах.

7

«Ландсер» переводится с немецкого двояко — «земляк» или «солдат». Этакое доверительное обращение в разговоре «не по службе, а по душе». Издательство с таким названием занимается выпуском книг на военные темы и адресует их солдатам, молодежи, ветеранам войны. Книжки тоже называются «ландсерами»: есть «Большой ландсер», «Малый ландсер» и сборник «Риттеркрейцтрагер» («Кавалеры Рыцарского креста»). Всего издательством выпущено около 5000 названий книг, посвященных второй мировой войне. Только одно издательство, а ведь есть еще такое же мюнхенское со своими сборниками «Солдатские истории», западноберлинские и даже венские — Австрия в ряду поставщиков такой литературы занимает далеко не последнее место в странах, где говорят на немецком. Но мы пока говорим только о «Ландсера».

Издательство и его книги взяли на себя роль некоего посредника между армией и обществом, между армией и историей. Его книжки могут рассказать о боевом эпизоде, дать солдату адрес девушки, «которую можно сделать счастливой», заговорить от пьянства и наркотиков, посоветовать новую электробритву и разыграть спортивную лотерею, а заодно рассказать о новых типах вооружений и боевой техники и союзников, и потенциальных противников. Словом, «Ландсер» знает все. Даже рубрика такая есть: «Читатель спрашивает — «Ландсер» отвечает».

На первый взгляд вся эта окрошка бессистемна, но это не так. Несмотря на свою кажущуюся разноплановость и всеядность, только одно это издательство выпустило в свет:

— послужные списки всех генералов вермахта,

— описания боевой деятельности всех дивизий в войне,

— биографические сведения о кавалерах Рыцарского креста,

— справочные таблицы по типам вооружения времен войны.

Одних перечисленных пунктов хватит, чтобы заставить задуматься наши издательства, которые умудрились выпустить двухтомник «Герои Совет-

ского Союза» более чем через 40 (!) лет после Победы, а если сюда прибавить до сих пор ненапечатанные «книги памяти» в городах-героях — обещаемые из года в год гигантские фолианты, из которых нигде не опубликовано ни одного листка. Гигантомания в таком деле — первый шаг к забвению. Боюсь, что это утверждение применимо и к так называемой Всесоюзной книге памяти, упомянутой в Указе Президента СССР, потому что не указано главное — кто и какими силами, на какие средства и кто ответствен? А без такой детализации Указ — только фраза. Казаннал фраза.

Казенщина маскируется под государственность, из праздников обязательно сотворяет юбилеи, из человеческих памятников — дутые и помпезные мемориалы. Верные признаки казенщины — показная «массовость» и стремление к гигантизму, даже если речь идет просто о детской игре.

Горько признавать, но приходится, что целая цепь актов неуважения к собственной армии — от аутодафе военной формы до закона о демобилизации студентов — породили еще и казенщиной в числе прочих негативов. Позволю себе только напомнить, что студенты Лермонтов и Толстой — именно те самые, Михаил Юрьевич и Лев Николаевич — ушли в армию из университетов, соответственно Московского и Казанского, и этот шаг никак не помешал им «активно участвовать в перестройке общества», а еще один, «особо одаренный» по нынешней терминологии, правда, уже не студент, Александр Пушкин, сбегает к действующей армии и пишет «Путешествие в Арзрум» — жемчужину русской военной корреспонденции.

Ну а если свои — не пример и не указ, то давайте учиться у того же «Ландсера», у системы оборонного, военного, патриотического — название значения не имеет — воспитания Запада. Никто не сможет возражать и игнорировать факт наличия таковой в том «доме», куда нас зовут учиться. Там и демократия имеется, и рынок вожделенный с валютой, но и армия в почете.

8

На возможные возражения о том, что, дескать, направленность литературы о войне и ее общественная весомость в Германии не так уж активно проповедуют противостояние и в ней акцентирована больше познавательная сторона, можно ответить примерами хорошей наглядности. Скажем, нашумевший в свое время перелет Руста.

Не могу представить на месте Руста его ровесника из Швеции, Дании, Франции или Бельгии, не говоря уже о Швейцарии. В тех странах нет «Ландсера» и «Солдатских историй», где популярно излагается, как надо преодолевать полосы оборонительных рубежей: противотанковые, противопехотные, а, если поискать — помните рубрику «Читатель спрашивает — «Ландсер» отвечает», — то и полосы противовоздушной обороны.

Я не обвиняю раштатское издательство в непосредственной подготовке перелета, это дело специалистов куда более высокого класса, явно непосильное для воздушного хулигана-одиночки без данных радиометрической и специальной разведки.

Руст менее всего походил на самоубийцу, хотя его поступок — лететь на легком, ничем не защищенном самолетике в систему нарастающих по глубине сил ПВО, можно заведомо расценивать как покушение на собственную жизнь. Разумеется, если нет гарантий. Его самолет не выделялся ни скоростью, ни высотностью, ни особой защищенностью, следовательно, гарантии лежали вне тактической плоскости, а в какой-то иной. Можно, конечно, предполагать полное отсутствие гарантий, но для человека, у которого на момент перелета были застрахованы автомобиль, самолет, квартира и прочие маломальские ценности, у такого не поднимется рука, чтобы исключить себя самого из списка ценностей.

В этой истории много темных мест, но дальнейшее известно. «Аэрокуренок», как его ласково окрестил кто-то из «прогрессистов», ознаменовал собой новый этап дружных нападок на армию.

Кампания, развернутая на Съездах народных депутатов, заставляет вспомнить горькое армейское присловье, гласящее: «В случае полной неясности ситуации для начальства — виноватого назначат». Кажется, и вправду «назначили».

Подобной ситуации невозможно представить себе ни в одной стране. Ни в прошлом, ни в настоящем. Даже Нюрнбергский трибунал счел возможным привлечь фельдмаршала Паулюса — одного из авторов «Барбароссы» — только в качестве свидетеля и практически вывел солдат и офицеров вермахта из состава заведомо преступных институтов и организаций «Третьего рейха». Показательнейший факт справедливого разделения ответственности между политиками и солдатами, которых толкнули на преступление, апеллируя к созданному — теми же политиками! — «общественному» мнению.

Парадокс в том, что в Германии методично, целенаправленно и на государственном уровне проходит процесс поднятия авторитета армии, престижа военной службы в этой армии, которая открыто объявила себя преемницей вермахта, хранительницей его традиций, не закрывающей глаза даже на сокрушительное поражение и извлекающей из этого поражения весь опыт. Весь до последней крупицы. В том числе и наш, который нам предлагает «забыть» или сдать в архивы «за ненадобностью».

Тем же, кто в очередном увлечении теряет способность здраво рассуждать, могу привести слова одного из величайших пацифистов мира, Хуана Баутисто Альберди: «Солдат — в своей наиболее благородной и великодушной роли — есть хранитель мира, ибо его задача — поддерживать порядок, что является синонимом мира, а не беспорядок, что является синонимом войны» («Преступления войны». М., 1960 г.).

Не знаю, поймут ли они меня, но хочу предупредить, что в том «доме», куда они нас зовут, это давно поняли.

●

Уроки Смутного времени

Самые непростые вопросы встают в наши дни перед каждым, кто осознает себя русским. Найдутся ли у России силы еще раз найти выход из тяжелейшего кризиса? Как определиться в лихорадочной путанице лозунгов, партий и самозваных вождей?

Для того, кто измеряет отечественную историю не только последним семидесятилетием, естественно обратиться к урокам былых национальных катастроф. Так, в начале XVII века Российское государство в результате разброда в верхах и низах общества, польской и шведской интервенции оказалось в «великом разорении». Спас тогда Россию мощнейший патриотический подъем во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. Об истоках кризиса, важнейших вехах борьбы за национальную независимость говорит в популярном очерке военный историк А. В. Шишов. Во введении автор пишет о том, что к образу этих народных героев неоднократно обращались русские историки и писатели, труды которых позднее либо не издавались вообще, либо переиздавались крайне ограниченными тиражами.

Рекомендуя для полезного чтения эту книгу (исчезла она с прилавков в кратчайшие сроки), хотелось бы сказать о следующем. Вспоминая о патриотизме россиян, необходимо осмыслить и то, чем патриотизм того времени укреплялся и направлялся. Ведь определяющий рубеж в победе над смутой — это избрание на царство законного «природного русского» государя Михаила Федоровича Романова. В грамотах, разосланных по городам с приглашением прислать выборных в Москву, признавалось, что «без государя государство ничем не строится и воровскими заводами на многие части разделяется и воровство многое множится...»

Столь же велика была и роль православия. В каждый освобожденный город торжественно вносилась воинская святыня народного ополчения — икона Казанской Божией Матери. Печально в связи с этим вспоминать, что построенный на средства князя Дмитрия Михайловича Пожарского в 1637 году на Красной площади Казанский собор, главный памятник войны 1612 года, был снесен в начале 30-х годов нашего века. Неслучайно, должно быть и то, что в ноябре 1990 г. в осенний праздник Казанской иконы Божией Матери Патриархом Московским и всея Руси Алексием было торжественно освящено место воссоздания храма.

В. ВОЛКОВ

Шишов А. В. МИНИН И ПОЖАРСКИЙ. — М.: Воениздат, 1990.

Великий терпеливец



Мы сжигаем все, чему поклонялись, поклоняемся всему, что сжигали, и есть в этом что-то безумное, противоестественное. Воздаем должное эмигрантам, покинувшим родину в 20-е годы, и — слава Богу! — тем самым объединяем людей русского общества. Однако разве не следовало бы низко склонить голову перед теми, кто не покинул родину и полной чашей испил предназначенные страдания? Ведь они знали (знали!), что их ждет при новой власти, но не уехали, заповедав своим детям: когда плохо родине, ты должен разделить ее страдания.

Так поступили Шереметевы — представители одного из самых славных родов в истории России. Вот имена лишь нескольких героев этой фамилии: фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, получивший от Петра I титул графа, а от Пушкина эпитет «благородный»; его дочь прекрасная Наталья Борисовна, которая провела десять лет в Тобольской ссылке; внук фельдмаршала Николай Петрович, создатель Останкинского театра крепостных, бросивший вызов дворцам и женившийся на крепостной актрисе Ковалевой-Жемчуговой; их сын Дмитрий Николаевич, тративший миллионы на Странноприимный дом и благотворительность; наконец, Сергей Дмитриевич Шереметев, доживший до революции, предчувствовавший ее и не пожелавший уехать из России или благословить на это кого-либо из своих детей... Он потерял все, что нажили его предки за триста лет, однако ни злобы, ни мести в душе не носил.

Наш разговор сегодня о последних графах Шереметевых, которые уже при советской власти отдали все силы сохранению и развитию культуры, стали ее ревнителями и носителями вечной нравственности. Это отец и сын — Павел Сергеевич и Василий Павлович Шереметевы.

Знавшие их отмечают, что в характере этих аристократов было что-то от Дон Кихота, от князя Мышкина. Донкихотское начало, мечта о прекрасном обществе, стремление к красоте, которая должна спасти мир, желание самому внести в этот мир хоть какую-нибудь, минимальную гармонию, непрактичность и даже пренебрежение к практицизму века лежало в основе этих удивительных характеров.

Интересно, что Павел Сергеевич Шереметев похож на Достоевского: то же тонкое, одухотворенное лицо, та же прозрачная кожа, самоуглубленный взгляд (таков он на портрете Е. В. Оболенской).

Известно, что в герое романа «Идиот» нашли отражение автобиографические черты Достоевского. Но вместе с тем писатель неслучайно дал своему единственно положительному, прекрасному герою титул князя. Отчего? Дворяне, графы, князья, лучшие их представители были живыми носителями истории, они несли в себе духовную мощь рода, вековое наследие, постоянно чувствуя на себе тяжелую его власть.

Шереметевым выпало проявить свой характер при советской власти. И оба они — Павел Сергеевич и Василий Павлович — пронесли свой крест с великим достоинством. Никогда не жаловались, не суетились, молча сносили гонения на родных, близких, на фамилии, которые когда-то были гордостью России, а теперь стали проклятием. Мужественно перенесли разорение накопленного в веках их пращурами, гибель великолепных своих домов, растаскивание ценнейших архивных материалов, уничтожение фамильных икон, аресты, обыски, ссылки, наконец, собственное нищенское существование.

В 1917 году Шереметевы покинули Фонтанный дом в Петербурге, оставили Останкино, Кусково, Вороново, Странноприимный дом и стали съезжаться ближе к своему родовому гнезду — к дому на Воздвиженке, в Шереметевский переулок (ныне улица Грановского).

Замечательный деятель русской культуры, глава рода, С. Д. Шереметев, чтобы «сохранить историю», предложил новой власти незамедлительно собрать архивы наиболее родовитых фамилий. И в течение некоторого времени в его доме на Воздвиженке располагалось Собрание частных архивов (это помогло сберечь тысячи важных документов). Но, тем не менее, Шереметевых сначала заставили освободить один этаж дома, а потом выселили совсем (в боковой части дома осталась лишь семья Б. В. Шереметева). Павел Сергеевич, однако, крепился; чтобы сохранить оставшиеся архивы, он перевез их в Остафьево, к матери своей Екатерине Павловне Вяземской. Там в 1919 году удалось открыть Музей усадебного быта, в котором П. С. Шереметев стал главным хранителем.

Остафьево было родовым имением Вяземских, в середине прошлого века оно должно было уже пойти с молотка, но молодой граф Сергей Шереметев увидел Катеньку Вяземскую, полюбил ее, женился и, заплатив за имение 60 тысяч (войдя в долг к царю), выкупил, чем и сохранил его для истории.

Остафьево — драгоценная жемчужина Подмосковья. Здесь Карамзин писал «Историю Государства Российского», здесь бывали Жуковский, Боратынский, Грибоедов, Мицкевич; здесь подолгу живал Пушкин. Здесь в 1899 году С. Д. Шереметев открыл общедоступный музей, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину, здесь хранились письма, автографы стихов поэта, его вещи: пистолет, жилет, простреленный пулей Дантеса, стол, за которым он работал. Здесь хранились собранные Шереметевыми и Вяземскими невиданные коллекции русских и заморских диковин. И здесь — худо ли, бедно ли — с 1919 до 1929 года существовал музей усадебного быта.

Но вдруг в начале 1930 года приходит распоряжение Наркомпроса: ввиду нерентабельности музей закрыть, а все экспонаты передать в другие музеи. И распоряжение это надо выполнить в течение четырех дней.

Выражение глубокого и горького раздумья не сходило с лица Павла Сергеевича (это видно на фотографии). В те дни он работал круглые сутки: разбирал бумаги, складывал папки, описывал ценности. Жертвенность, готовность отдать себя делу, самоотверженность его проявились в полной мере. А в результате — тяжелая болезнь. В голове его, в сознании не укладывалось то, что происходило в Остафьево, а происходило страшное — например, массовое сожжение икон.

Однажды, в 1918 году Павлу Сергеевичу уже пришлось стать свидетелем вандализма: он видел разграбленную патриаршую ризницу, останки кремлевских захоронений, выброшенные из гробниц княжеские кости. Он ходил к Калинину, Луначарскому, добивался разрешения восстановить поруганные святыни, доказывал, что нельзя отправлять на переплавку уникальную церковную утварь.

На этот раз работники наробраза тоже спешили, — ведь принято решение немедля открыть в остафьевском доме школу-интернат, а «чтобы не было религиозного дурмана», закрыть остафьевскую церковь, а иконы уничтожить. Более ста древних икон (!) в течение нескольких часов были сожжены.

Остафьевский дом закрыли, все накопленное разослали по семнадцати музеям. Вскоре дивный парк представлял уже «мерзость и запустение», а пруды позеленели.

Вот как описала актриса Сафонова разорение остафь-



Павел Сергеевич Шереметев.

евского дома: «Остафьево мне довелось посетить дважды: первый раз, тогда, когда там был музеи, где впервые я ощутила особенно острую, живую атмосферу, окружавшую Пушкина, Вяземского, Карамзина и многих великих людей минувшей эпохи... Вторично я попала в Остафьево, не зная о его ликвидации. Я была буквально потрясена увиденным. Через открытое окно первого этажа видна была опустевшая, запыленная комната с дубовыми панелями, посреди которой стоял запылеяный бильярд. Подумалось, не тот ли это, на котором любил катать шары Пушкин. Все это, в противовес первому посещению, оставило в душе глубокую боль непоправимости случившегося и какой-то огромной утраты...»

Что было делать? Руинам шереметевского дома предстояло найти новое пристанище. Павел Сергеевич поселился я Новодевичьем монастыре. Здесь лежали те, кто составил славу России, их запущенные могилы нуждались в добром глазе, здесь жило прошлое. Ему дали светлую комнату под солнечными часами.

Отец говорил сыну своему Василию: «Плевать на прошлое — все равно, что плевать в колодец, из которого мы пьем воду».

Однако скоро выяснилось, что мечта о тихой жизни в монвстыре — иллюзия. Смоленский собор был закрыт, повсюду — в кельях, в трапезной, в палатах царевны Софьи, Ирины Годуновой — расселились рабочие, студенты, служащие, ученики, и число их все множилось. В трапезной — работницы фабрики имени Свердлова, в церкви Успения Богородицы — ученики фармацевтического техникума, и сам монастырь напоминал огромный, шумный муравейник. Одна из учениц техникума, ныне пенсионерка Ольга Палладиевна Горлушкина вспоминает о своих соседях — Шереметевых:

— Они были очень хорошие, простые, — Павел Сергеевич и Прасковья Васильевна, и няня их хорошая была. У меня, бывало, не хватало денег, так они всегда мне давали, хотя сами и питались и одевались кое-как. Павел Сергеевич каждое утро уходил куда-то, а вечером возвращался. Он был задумчивый, не очень разговорчивый, даже замкнутый немного. А няня у них и Прасковья Васильевна всякому доброе слово, бывало, найдут...

На одной из фотографий запечатлена семья: Прасковья Васильевна (урожденная Оболенская) — в вязаном берете, ситцевом платье, вигоневой кофте, рядом мальчик с одухотворенным лицом — Василик, его отец — в заплатанных штанах, войлочной шляпе. Летом Павел Сергеевич ходил и сандалиях, а осенью в кирзовых сапогах и порой имел такой вид, что у него требовали документы, а возле церкви могли принять за нищего.

«Великий терпеливец» — называли его сестры. Не столь расстраивали Павла Сергеевича бедность и теснота, отсутствие грамотности, сколько пренебрежение к прошлому. Студенты маршировали в синих блузах и декламировали странные слова: «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу истории загоним. Левой! Левой! Левой!» У них был непонятный Павлу Сергеевичу социальный восторг и упоение разрушением старого мира. Окруженные святынями, они не замечали их, они перечеркнули прошлое и терпели настоящее ради неведомого будущего.

Монастырский муравейник быстро разрастался, приезжали новые люди (шла коллективизация, и народ из деревень валил в город). Как-то Шереметев услышал разговор о том, что «какой-то граф» занимает большую светлую комнату, тогда как рабочие, их дети ютятся в тесноте. Павел Сергеевич немедленно решил отдать им свою комнату, а сам с семьей переехал в угловую Напрудную башню. Это была комната со взметенным на восемь метров потолком.



Василий Павлович Шереметев.

Каждый день ранним утром П. С. Шереметев отправлялся по делам: в музеи, управления, брал работу, делал описи, писал акварели, изготовлял паспарту, занимался историческими исследованиями, встречаясь с самыми разными людьми — Вернадским, Бонч-Бруевичем, Кориным, Грабарем, Цявловским. . Его щепетильность в музейных делах, порядочность были безграничны. Как-то на этой почве он поссорился с Луначарским (тот посягнул на какой-то остафьевский экспонат).

Многие москвичи бывали в «Шереметевской башне», и все вспоминают, какой там зимой был лютый холод, а осенью гулял ветер, даже залетали птицы; печка слабо нагревала лишь маленькое пространство в центре «башни», железная труба дымила. Но Шереметевы жили «вышней» жизнью, не замечая быта. Зато на стене висела, прикрытая сверху шелковым сюзане, картина Рембрандта «Христос, Мария и Марфа».

«Василик, — говорил отец, — это главная наша святыня, она досталась нам от фельдмаршала. Береги ее и тогда, когда не станет меня.» Иногда они подносили картину к окну и смотрели. Полотно — метр на полтора. Слева — окно и идущий через него свет озаряет Христа, за столом — Мария, а Марфа занята хозяйственными делами... От картины этой, казалось, шла некая тайная сила, и Павел Сергеевич находил в ней утешение.

Мария — вестница вечного духа, отбросив все, внимает Христу, а Марфа — в хозяйственных заботах. Дух и материя, — Мария и Марфа, — в этом для Шереметевых заключался весь смысл, вся суть жизни. Нельзя поддаваться отчаянию, нельзя бояться новой злой силы, черной злой энергии, которая черна потому, что не освещена светом Христа, нельзя отчаиваться!

«Сила, противопоставленная силе, — говорил отец сыну, — никогда не производит ничего, кроме разрушения и варварства. Результат дают только мирные, добрые дела, и управлять страной надо единственно с помощью добрых дел». И еще он говорил: «Запомни, ты — граф, и не какой-нибудь, а Шереметев!»

В числе добрых знакомых Шереметева был художник Павел Корин. Их сближало и место жительства (Корин получил мастерскую неподалеку от Новодевичьего монастыря), и общий интерес к искусству, к древнерусской живописи, к Палеху (Корин там родился, а отец Павла Сергеевича хлопотал о возрождении промысла в Холуе, что неподалеку от Палеха; в доме Вяземских хранилась палехская икона XVI века, подаренная синодом). И он опекал Василика, наблюдал его первые художественные опыты, делал замечания о его рисунках, живописи.

Перед войной юноша закончил первый курс художественно-графического факультета.

Василий с детства жил в мире рассказов о своих предках, верой и правдой служивших Отечеству — либо на военном, либо на государственном поприще. Читал все тома Барсукова «Род Шереметевых», зная историю России не из советских учебников, а из подлинных документов и семейных рассказов: Петр Борисович Шереметев воевал с турками, Борис Петрович — со шведами, Михаил Борисович погиб в плену... Шереметевы имели более всех шапок в Боярской думе.

Мог ли наследник таких пращуров Василий Шереметев остаться в тылу, когда пришел 1941 год? Разумеется, он сразу же добровольцем попросился на фронт. Уже 3 июля 1941 года принимал присягу и сразу отправился на Юго-Западный фронт с третьим стрелковым полком. Всю войну он воевал рядовым пехотинцем, был в окружении. Перед расставанием мать и отец его благословили, не надеясь на

то, что увидят еще сына живым, невредимым. Но судьба повернула все по-своему: сын остался жив, в отец и мать, один за другим, скончались от истощения в первые годы войны. Коля и Лиза Оболенские, почти дети, отвезли на саночках гроб Павла Сергеевича на Царицынское кладбище.

Демобилизованный из армии, Василий вернулся — и сразу на поклон к могилам родительским. Мать лежала рядом с сестрами, могила же отца была безымянная. Но Василий Павлович не стал писать на кресте имя Павла Сергеевича. Боялся ли он надругательства над могилой? Или такова была воля отца, пожелавшего раствориться в природе? Или не давали покоя рассказы о разворованных могилах Новоспасского монвстыря — их родовой усыпальницы?

Василий Павлович память отца чтил не так «материальным образом», как сохраняя верность духу его, мечтаниям, а также отцовским и дедовым заветам.

— Не жить себялюбивой жизнью, — завещал его дед Сергей Дмитриевич. — Оставаясь частью народа, не выделяя себя ничем, уважать русского кормильца — дорогое крестьянство, беречь родовые святыни — знамя Полтавской битвы, хартину Рембрандта, архив. Шереметевы потеряли все, что имели, но у нас осталась главная ценность — православная душа. Пусть мы нищие, но мы — богаты и духовным богатством можем обогащать других людей.

Успевшему кончить до войны один курс, — что было делать молодому солдату Василию Шереметеву? Добрые люди из музея Новодевичьего монастыря (Л. С. Фетковскаи), а также Оболенские сохранили то, что оставалось у Шереметевых, — Василий стал владельцем Рембрандта, старых фолиантов, архива, памятных для семьи вещей. Надо было работать, учиться, а ни денег, ни практической жилки не было. На помощь опять пришли Павел Корин и Игорь Грабарь. Корин купил принадлежавшую Шереметевым флорентийскую мозаику «Храм Весты», а деньги стал отдавать небольшими суммами, чтобы студенту в течение нескольких лет было чем питаться, на что учиться.

В ставшую знаменитой башню стекались люди, говорили об искусстве, листали старинные книги, смотрели картины. Кто только не бывал там: художники, музейщики, историки, писатели, архитекторы и, конечно, коллекционеры. Иногда к столу приносили водку, но чаще — просто кипяток и черный хлеб. Известный коллекционер Ф. Е. Вишневский, который извлекал у московских старушек полотна Левицкого, Рокотова, Тропинина, бывал чаще других. Покупал кое-какие картины, рисунки, иногда ссужал студента деньгами, надеясь потом получить долг «натурой». Доверчивостью и покорностью Василия Павловича легко было пользоваться, и много вещей «уплыли» из его дома просто так, «на дурничку».

Как-то с ним произошла история, похожая на ту, что была уже с его отцом, когда тот узнал о сожжении ста икон. Василий обнаружил в монастырской уборной проступающую сквозь темную краску стен голубизну, поколупал верхний слой — и обнаружил... фигуру Богородицы! Стены уборной были сколочены из икон!..

В другой раз он, оказавшись в музее Саввино-Сторожевского монастыря, в витрине увидел женские туфли XVI века и имя той, которой они принадлежали. Каково же ему стало, когда он прочел, что туфли принадлежали его пращурке, которая была тут похоронена! Значит, над могилой совершено надругание...

И все же самое удивительное — это то, с каким терпением и даже с улыбкой переносил всяческие тяготы Василий Павлович. Вот несколько эпизодов, рассказанных очевидцами.

В 50-е годы студент Суриковского института отправился навестить заболевшую преподавательницу. От башни Новодевичьего монастыря, где жил, пешком пошел к Речному вокзалу. Пешком — потому что не было денег на трамвай или на метро. Преподавательница, знавшая о полуголодном существовании студентов, угостила его котлетами, но он отказывается, объясняя, что теперь пост, и нельзя нарушать. Она хочет дать ему деньги на обратную дорогу, но Василий — ни в коем разе! «Как, неужели опять пешком?» — «А что? Потихоньку потрюхаю», — с мягкой улыбкой беспечно отвечает он, отправляясь в путь.

Как-то в Троице-Сергиевой лавре Шереметев встал на колени возле мощей Сергия Радонежского (в честь которого дано было имя его деду), приложился к мощам, сказав: «Преподобный Сергий все-таки мой родственник».

Входя в Останкинский музей вместе с директором, он пропускал его вперед. Тот уступал дорогу — и Василий Павлович с улыбкой удовлетворенно произносил: «Я все же в некотором роде владелец...» Только улыбка, ни капли серьезности не было в этих словах.

С художниками он говорил о живописи, с музыкантами — о музыке, а слесари, столяры, рабочие принимали его за своего.

Подлинная природа истинного вристократа — народность. Военную форму солдата Шереметев носил с той же элегантностью, что и пиджак, и фрак, и косоворотку. Таков он на фотографии военных лет — милый, открытый, улыбающийся молодой солдат.

Игорь Грабарь считал Шереметева исключительно талантливым к живописи. Павел Корин взял его в свою группу, когда работал над мозаиками станций метро «Комсомольская» и «Киевская».

Однако, общество в целом жестоко обошлось с художником Шереметевым — лишь две его картины при жизни были куплены. Он не суетился, не ловчил, не приспосабливался, не умел «пробивать» заказы. Если бы не Корин — не получил бы и того.

«Живопись Василия Павловича в ранние годы традиционна, полна юношеской чистоты, реальности личной жизни. Картины музыкальны, в них вся чистота его души, — говорит художник П. Ф. Губарев, — и очень сильна у него чисто живописная сторона. Осенью, зимой, весной, утром и вечером — пейзажи пронизаны светом, музыкой. Но чем далее развивается творчество художника, тем более сложной для восприятия становится его живопись. В картинах появляется нечто тревожное, некий общественный холод — холод окружающей жизни.»

«Ему было очень трудно помогать, — вспоминает М. Заславская. — Сам же он, как только получал деньги, всех угощал по-графски... А глаза у него были такие прозрачные, светлые, чистые, такая в них была душевная чистота, что иные не выдерживали его взгляда.»

Сколько зла сделали ему люди! Но Василий Шереметев прощал их, сострадая каждому. Ни рабского страха перед власть имущими, ни рабства перед социальными предрассудками — равенство со всем и каждым. Когда жена его Ирина Владимировна стала хлопотать о квартире (в башне Новодевичьего монастыря были нечеловеческие условия, а он прожил там 30 лет) и напомнила, что Шереметевы немало сделали для родины и справедливо было бы создать Василию Павловичу хорошие жилищные условия, то ей отвечали: «Граф Шереметев? Подумаешь, ну так и показывайте его в клетке! Посадите и показывайте!» Это — в 50-е годы, а в 30-е годы милиционер, взяв паспорт, удивился: «Шереметев? Тот самый?... И жив еще?»

Быть чистым трудно, принципиальность рождает неудобства, страдания, но вера в свою правоту укрепляет дух, а мысль о грядущем, о божественной сущности жизни помогает нести этот крест.

Как-то Василию Павловичу предложили оформить спектакль по пьесе Мдивани. Ознакомившись с пьесой, Шереметев сказал: «Не могу переступить ее сиюминутной политичности», — и отказался от выгодного заработка.

Знаменательна в этом смысле история с картиной Рембрандта «Христос, Мария и Марфа». Василий Павлович жил с убеждением, что все, что они имеют, должно принадлежать народу, и никогда не продавал, а лишь дарил музеям предметы истории и культуры, хранившиеся у него (многие из них находятся в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).

К его отцу, Павлу Сергеевичу, не раз являлись люди, знавшие, что у него хранится Рембрандт. Просили продать картину. Иностранцы оценивали ее в 100 000 инвалютных рублей (!). Заходили они и к Василию Павловичу с тем же предложением, но он твердо отвечал: «Рембрандт не продается!» Не раз хотел купить Рембрандта и директор музея изобразительных искусств. А Шереметев будто чего-то ждал. Но вот наступил 1956 год, когда мир отмечал 350-ю годовщину со дня рождения Рембрандта — в Москве открывалась его выставка. Тут-то Василий Павлович и принес в музей картину «Христос, Мария и Марфа». На обороте ее стояли маленькие буквы: «Из частной коллекции. Дар В. П. Шереметева». Дар, пронесенный сквозь страдания, войны и искушения!

Не обошлось тут и без печального казуса. Работники музея, чтобы как-то отблагодарить бедствующего дарителя, вручили ему бесплатную путевку в дом творчества художников — на целых два месяца! Бывший владелец Рембрандта отправился туда, но... соседом его оказался человек, который (как говорили в XVIII веке) поклонялся Ивашке Хмельницкому, и, не прожив и двух недель, Василий Шереметев покинул дом творчества.

В наш прагматичный век найдутся люди, которые скажут: ну и что? чего добился Шереметев? Нищенствовал, жену и дочь не обеспечил, неизлечимо заболел от лицезрения окружающей жизни, молча сносил все, не боролся, не протестовал. В этих вопросах может и есть здравый смысл, но — нет веры в каждого, отдельного человека. Именно на единичном, на личном деле все и основано. Шереметев непрактичен, жизнь его трагична, но он был тверд, когда шел на фронт, когда берег и дарил Рембрандта, когда ежедневно, терпеливо собирал архив своего рода и потом сдал его в ЦГАДА (в Центральном государственном архиве древних вктов архив Шереметевых занимает целую стену). Он спешил, будто предчувствуя трагедию, которая с ним случится. И успел! Сдал весь архив.

Последние годы своей жизни Василий Павлович Шереметев провел в больнице. Так же точно закончили свою жизнь и князь Мышкин, и Дон Кихот.

...В августе 1989 года друзья и родные проводили Василия Павловича в последний путь. В гробу как-то обострились его фамильные черты: нос с горбинкой, выражение благородства и отрешенности...

Панихида состоялась в церкви Новодевичьего монастыря, того самого, в башне которого над прудом более тридцати лет жил Василий Павлович, последний граф Шереметев. Здесь сошлись времена и история оказалась добрее. Вокруг стояли те, кто работал теперь в Останкинском дворце, кто владел теперь Рембрандтом (правда, сотрудники музея сомневаются в его подлинности), Кипренским, кто возрождал Остафьевский музей (он как раз открывался в то время). Рядом стояли товарищи по искусству, просто знакомые, с кем когда-то был знаком этот эмоциональный человек, не перенесший исторических нагрузок XX века.

Незабываемы лица Голицыных, Оболенских, Бобринских... Величественны следы векового отбора, сколько благородства и горечи в них! Они здесь, они никуда не уезжали, их родители не покинули родину, разделив судьбу своего народа...

АДЕЛЬ АЛЕКСЕЕВА

Жизнь и трагедия поэта

Книга, на обложке которой стоит имя Николая Гумилева, обречена на успех. Романтическая и трагическая судьба поэта, его приверженность чести, благородство, мужество, безвинная гибель в «жерновах» новой власти и последующее, почти полувековое изъятие из русской литературы сделали сегодня его стихи более популярными, чем было то при жизни поэта. Появились десятки публикаций в периодической печати, опубликованы проза, статьи, письма, дневники, воспоминания о нем, издано несколько сборников стихов. Словом, поэт вернулся к читателю. Да так, как случается только с избранными — и творчеством, каждой написанной строкой, и жизнью, день за днем, час за часом... И все же, в ряду этих публикаций книга «Николай Гумилев. Избранное», вышедшая в свет в издательстве «Просвещение» в серии «Библиотека словесника», — издание особое, отличающиеся от других подобных прежде всего добросовестностью, тем уважением к Поэту, к Читателю, к Литература, от которых мы отвыкли.

Любой читатель — и знаток творчества Гумилева, и встретившийся с его поэзией впервые — найдет в этой книге немало интересного. В нее вошли стихи разных лет, представлены все известные сборники, поэмы, из прозы — «Африканский дневник», «Из записок кавалериста», литературно-критические статьи из книги «Письма о русской поэзии», личные письма Гумилева... И все это сопровождается подробнейшим комментарием, в котором заинтересованный читатель найдет и сведения о том, когда был издан тот или иной сборник и кому посвящен, как встретили его литературные круги и читатели того времени, в чем его достоинства и недостатки, отличие от других книг поэта и т. д. В общем, ту литературоведческую «кухню», которая, как правило, до массового читателя не доходит.

Составитель «Избранного» Иван Панкеев постарался не только полнокровно представить творчество Николая Гумилева, серьезного большого поэта и мыслителя, оказавшего немалое влияние на дальнейшее развитие русской литературы, но и рассказать о жизненном пути поэта, поразмышлять о судьбе русского интеллигента в переломные, трагические для Отечества времена.

Е. К.

Гумилев Н. С. ИЗБРАННОЕ. М.: Просвещение, 1990. — («Библиотека словесника»).

Как известно, живая традиция церковного искусства в России XX столетия была надолго и трагически прервана, и только в восьмидесятые годы у Русской Православной Церкви появилась реальная возможность возрождения духовной жизни в ее прежней силе.
1000-летие Крещения Руси напомнило современной России о ее святом прошлом, о вере в Бога, о самом таинстве крещения и нравственном спасении через него.
Из глухого запустения встают сегодня монастыри, вновь открываются православные храмы. Но еще тысячи и тысячи их ждут своих зодчих, реставраторов, иконописцев. Икона возвращается в национальную жизнь народа, вместе с ее возвращением оживает душа России, словно пробуждаясь от десятилетий тяжелого сна. На особую высоту в этих условиях поднимается роль иконописания и церковной живописи, ибо с иконопочитанием по-прежнему тесно связан исконный характер народа, его религиозное сознание. Икона была и остается сокровенным выражением Православия как такового. И в то же время — она украшение русских церквей и произведение высочайшего искусства. На наших глазах воскресает она в живых «современных» красках, давая новую ветвь на древних, более чем тысячелетних корнях, таинственно соединяя нас с той покровительствующей Небесной Россией, с которой и сегодня жизненно связана наша судьба и наше будущее...
Еще рано, конечно, говорить об иконописных школах, об утвердившихся направлениях. Речь пока идет о небольших группах и отдельных мастерах, осваивающих шаг за шагом письмо православной иконы, веками накопленный опыт, утерянный за годы полного забвения.
Иллюстрацией именно этих первых шагов в современном иконописании и должен явиться альбом «Современная православная икона», выпускаемый в этом году издательством «Современник». В него вошли, по преимуществу, произведения иконописцев, связанных общей работой по восстановлению Свято-Данилова монастыря в Москве в 1983—1984 годах. Это, прежде всего, творчество насельника Псково-Печерского Успенского монастыря архимандрита Зинона, а также — московских иконописцев, у каждого из которых свой духовный путь, определяющий его творческую самобытность в иконописании.
Предоставляя возможность широкого знакомства с мастерством современных иконописцев, журнал знакомит сегодня своих читателей с альбомом, который создавался в доказательство той силы и огромного потенциала духовности и таланта русского народа, которые поныне скрыты в его творческих возможностях и являют основу всей его жизни.

СЕРГЕЙ ТИМЧЕНКО

Соборное творчество

Архимандрит Зинон











На молитвенную память

Если вы спросите в Псково-Печерском монастыре, как найти иконописца Зинона, привратник укажет вам дорогу на Святую горку.

Тропинка на горку начинается с деревянной крутой лестницы сразу за братским корпусом и трапезной паломников. Дальше — поднимается вверх по бетонному водосточному желобу и тянется под низкими ветвями кленов вдоль крыши братского корпуса и стены, вертикально обрубающей склон холма.

На тропинке часто можно видеть бодро спускающегося монаха в развевающейся от колен свободной черной рясе или мирянина, приехавшего в обитель к отцу Зинону за советом.

Келья отца Зинона под звонницей. На двери записка с убедительной просьбой не беспокоить. Это для тех, кто приезжает из праздного любопытства или из личной корысти...

Отца Зинона я застал сидящим в деревянном кресле за чтением. На невысокой подставке — раскрытый фолиант на греческом — книга по Литургии...

В келье прохладно и сумрачно. В единственное небольшое окошко заглядывало и словно терялось, сдавленное толщей двухметровых стен и сводов, хрупко-голубое небо. В глубине кельи — полки с книгами, у смежной стены — потемневшая деревянная скамейка, застеленная рогожей, на полу — красный ковер и палас, кое-где видны следы воска от свечи: электрическим освещением отец Зинон не пользуется.

Наш разговор начался в его мастерской, в просторном деревянном доме, стоящем на вершине Святой горы среди зарослей сирени — недалеко от Святого дуба. Отсюда на уровне глаз открывается вид на сине-золотые купола Успенского храма, вдали просвечивает сквозь густую зелень огромный золотой купол Михайловского собора.

Я попросил отца Зинона рассказать о себе.

Он пожал плечами:

— Я и говорить-то не очень могу... За иконописца его иконы лучше всяких слов говорят. Но если надо, то чего уж!

Он тихо засмеялся, покачал головой: мол, странно все же устроена жизнь. Потом лицо его стало глубоко задумчивым, строгим, он уже будто и не видел ничего вокруг, весь ушел в себя, выдавая свою замечательную способность сосредоточиваться и подходить серьезно к любому делу.

— Родился в пятьдесят третьем году в Первомайске, — начал он. — Есть такой южно-русский городок, раньше Ольвиополь назывался. Когда-то там греческие поселения были, это в Николаевской области — не бывали там?.. После восьмого класса пошел в Одесское художественное училище. На втором курсе стал писать иконы. Поначалу, конечно, копировал только... Потом армия. Был художником — кем же еще... После службы, в сентябре семьдесят шестого года, приехал в Псково-Печерский монастырь. Тогда же в сентябре принял постриг с именем Зинона. Был такой святой мученик в IV веке. В том же году был рукоположен сначала в иеродиакона, потом в иеромонаха.

Голос отца Зинона тих, но, как в течении глубокой реки, ощутима в нем скрытая сила. И уже вскоре, когда понадобилась какая-то книга и он крикнул: «Георгий!», позвав послушника, сила эта проявилась в крепких, словно кованых, звуках...

О себе как иконописце и о своем творчестве отец Зинон говорит традиционно: «Иконописание — это соборное творчество, как и все церковное искусство, поэтому иконописец лишь соавтор отцам Церкви — они-то и есть первые иконописцы. Что касается меня, то обо мне и не узнал бы никто, если бы не 1000-летие Крещения Руси».

Наверное, все же узнали бы... И отец Зинон, конечно же, понимал, что не стал бы он известен всему миру, не будь так талантлив и не создай он десятки и сотни чудеснейших икон.

Сегодня иконописцы Америки и Европы считают за честь попасть к нему на учение или консультацию. Ему пишут из Франции, Германии, Канады.

Имя отца Зинона стало символом современного иконописания, безусловной приметой возрождения всего церковного искусства, начало которому положили 80-е годы. Множество икон Зинона и есть уже само это возрождение и одновременно — главное монашеское послушание иконописца, его молитва и путь личного восхождения по духовной лестнице православного христианина.

Настоящая обитель отца Зинона — Псково-Печерский монастырь, однако иконописная биография отмечена трудами и в Троице-Сергиевой Лавре, и в Свято-Даниловом монастыре. В последнем во время реставрационных работ в 1983—1984 годах под его началом приступили к иконописанию многие московские художники. Некоторые из них теперь самостоятельные мастера, идущие своим путем духовного совершенствования, имеющие собственный творческий почерк.

Иконы для храмов и монастырей, для монашеских келий и для мирян отец Зинон пишет не за деньги, а на молитвенную память, в дар и во славу Божию. Радость, которую испытывают верующие, обращаясь к Богу через его иконы, и есть та плата, единственно необходимая в его жизни. Смысл же ее и высокие цели определены самой православной верой.

Ныне, когда государство передает Церкви монастыри и храмы, и народ вновь обращается к вере своих отцов, у иконописца Зинона огромные творческие планы. Это и поиск единственно возможного сегодня пути в иконописании, и раскрытие неисчислимых тайн и секретов его мастерства. «Поелику совершенно утрачены живые духовные традиции, — говорит Зинон, — а об уровне нашей собственной духовности и говорить не приходится, то и обращаться к образцам, какие дал, например, XV век, — не имеет смысла. Идти надо к истокам нашей духовности через освоение Византийской иконы. Каждый иконописец сегодня должен пройти тот же путь, которым прошли русские иконописцы после принятия на Руси христианства. А для них — образцами служили греческие иконы».

Еще убедительнее звучит эта мысль, воплощенная в иконах самого Зинона, в красках и образах, одухотворенных его личными переживаниями, монашеским постом и молитвой. Слово, обесцененное средствами массовой информации, массовой культуры, утеряло свою силу серьезно влиять на сознание и проникать в души людей, считает иконописец; только образ сегодня еще способен убедить человека, быть средством духовного единения.

Однако пример самого отца Зинона-священника опровергает в известной мере его высказывание как живописца.

Послушайте его во время литургии в Михайловском соборе, во время службы в Успенском храме!

Как взволнованно-пламенен его голос во время братской молитвы, вдохновенно лицо!..

Со всей России и Украины, — где бы ни знали о нем, — отовсюду едут к нему: как к иконописцу — на учебу, как к священнику — для облегчения души, для исповеди и причастия. И для всех истино страждущих открыто его сердце и доступен его талант.

●

Учитель и ученик

Игорь Кислицын — человек церковного мира, и мир внешний интересен ему постольку, поскольку все мы связаны этим миром и не в силах отказаться от него.

Его ревностное отношение к духовной жизни нередко выражается в резкой оценке всего противного Православию, его идеалам, требующим силу духа, жертвенного отречения от всего временного и мирского...

Как настоящий талантливый художник, он не равнодушен к людям, к тому, что происходит вокруг. Возможно, поэтому самому ему не хватает умиротворенности и душевного покоя.

— На каждого верующего приходится сейчас столько зла, что мы изнемогаем, становимся раздражительны, ссоримся между собой... — говорит он.

В своем творчестве Игорь Кислицын пытается поднять светскую живопись на духовную высоту церковной жизни. Видимо, в этом есть известная обреченность, тем не менее...

Он не может представить своей жизни вне Церкви. Там он иконописец. Там художник. Все там...

Это духовное «там» воплощается для него в молитве и в храме. Но оно имеет и другую ипостась, имя которой — Россия. Это особая земля, под особым покровом, и он говорит о ней как о русской иконе, освященной светом страданий русского народа — страданий, которых не переступить антихристу.

И в этих словах — он весь, по существу.

Родился Игорь Кислицын в 1948 году в Москве. Детство прошло в Лебяжьем переулке — в самом центре столицы, недалеко от Кремля, со стороны Александровского сада. Крестили его в храме Ильи Обыденного.

С двадцати лет он начал всерьез размышлять о Церкви, бывать в храме, читать книги по Православию.

Одновременно формировалась и творческая судьба. Окончил московское художественное училище, много рисовал, принимал участие в выставках в стране и за рубежом, вошел в круг художников, которых признал мир (Анатолий Зверев, Александр Харитонов, Дмитрий Плавинский).

В конце семидесятых, получив благословение Святейшего Патриархв Московского и всея Руси Пимена, Игорь Кислицын занялся иконописанием.

Потом работа в Свято-Даниловом монастыре, где он помогал отцу Зинону и одновременно учился у него, когда писали иконы для иконостаса Покровской церкви.

— Я многим обязан отцу Зинону, — говорит Игорь Кислицын. — Да и не я один, наверное. Не будь Зинона, не было бы и нас как иконописцев. Не было бы вообще ничего из того, что написано нами.

Разумеется, что-то все же и было бы, но — другое, возможно, менее духовное, менее православное...

В комнате московской коммуналки, где сейчас живет Игорь Кислицын, жил в тридцатых годах до своего ареста Варлам Шаламов — писатель трагической судьбы, прошедший лагеря и тюрьмы. Сегодня — на стенах комнаты висят иконы Спасителя и православных святых. Перед большой иконой преподобного Серафима Саровского горит лампада.

— Я уверен, что Россия поднимется, — убежденно говорит Кислицын. — И вместе с ней весь мир поднимется и воспрянет духовно. По крайней мере, такая возможность дается нам именно сейчас.

●

Жизненный выбор

В Патриаршей мастерской, что расположена в Алексеевском храме в Москве, Александр Чашкин один из лучших иконописцев. Многие иконы его продаются за границу, но он и не думает ни о какой собственной мастерской. Он не любит рассуждать ни о преслоаутой творческой свободе, ни «о правах», хотя в иконописном цеху строгий режим закрытого предприятия: работа «от звонка до звонка», с восьми до семнадцати на рабочем месте, за скромную плату, две-три иконы в месяц. Не в богатстве и не во внешней свободе для Чашкина счвстье и смысл жизни...

Родился Александр в семье известного ученого-коневода Ивана Чашкина. До пятнадцати лет жил в Киргизии на Иссык-Куле, потом семья переехала, и новой родиной стала рязанская земля, есенинские места. В судьбу его вошла Россия с привольной и мягкой красотой полей, лесов и лесных озер.

Свой жизненный выбор Александр сделал после службы в армии. Он серьезно занялся живописью. прошел четырехгодичные курсы при Суриковском институте, несколько лет посещал частную студию Василия Ситникова — знаменитого в 70-х годах «маэстро». Писал в ту пору пейзажи, портреты.

Кроме таланта художника был у него и незаурядный голос. Пытался найти себя в классическом пении, но на оперного певца «не потянул». Увлеченность пением привела его в церковный хор и стала одной из причин его приобщения к Православию.

В восемьдесят четвертом году случай привел Александра в Свято-Данилов монастырь. Знакомая пригласила посмотреть на «современного Андрея Рублева», как назвала она отца Зинона.

Работал отец Зинон быстро, «только кисточки свистели». Заметив любопытствующих, поинтересовался: «А вы зачем пришли?» — «А можно к вам приходить помогать?» — в свою очередь спросил Александр. — «Приходите».

Около полугода после этого он растирал краски, левкасил, готовил доски под иконы, не переставая, наблюдал за отцом Зиноном и учился у него, стоя иногда рядом или за спиной и повторяя за ним каждое движение кисти.

В конце концов получил у Зинона благословение: «Это — твое дело!»

Когда отец Зинон уехал в Печоры, перестал приходить в Данилов монастырь и Александр. Однако иконописания не оставил. Уже подспудно чувствовал — это на всю жизнь.

На сегодняшний день Чашкин — признанный художник и иконописец, которого ждут во многих храмах России и зарубежья. Но и теперь, обладая прекрасным письмом и огромной работоспособностью, он не перестанет восхищаться творчеством отца Зинона: «Вот где настоящая мощь и сила духа!»

И слова эти лучше других говорят о творческом идеале самого Александра...

Одна из значительных работ Александра Чашкина — роспись Никольского храма в селе Кочаки близ Ясной Поляны.

Упоминания об этой церкви встречаются в ряде произведений Льва Толстого. На кладбище рядом с нею похоронены отец и мать, жена и другие близкие родственники писателя.

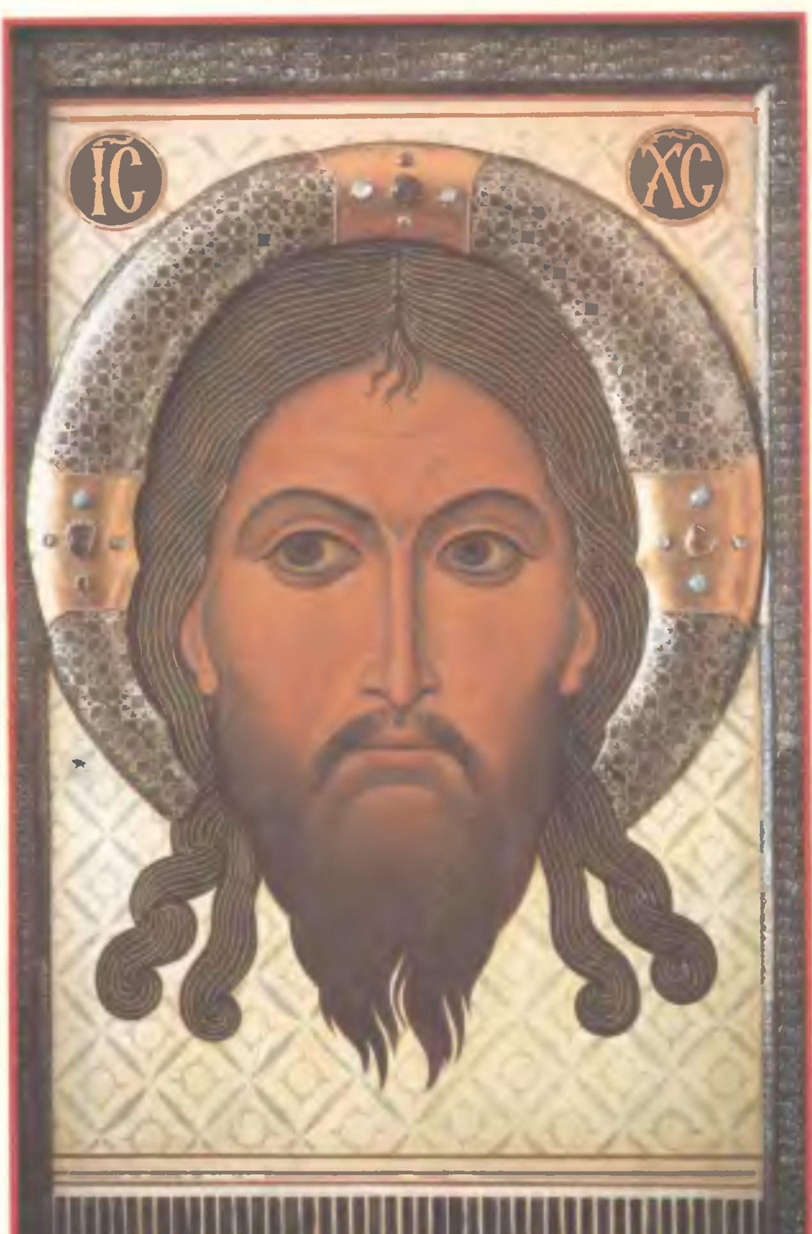
Неоднократные попытки художников расписать церковь оканчивались неудачей, так как требования заказчика были очень высоки. И лишь Александру Чашкину совместно с Юрием Черкасовым, Владимиром Литвиновым и Михаилом Типяковым удалось строго выдержать роспись храма в стиле стенной церковной живописи XVI столетия.

●

АРХИМАНДРИТ ЗИНОН



Рождество Христово 1990, Псково-Печерский Успенский монастырь



Спвс Нерукотворный 1988, Троиций кафедральный собор, г. Псков



Преображение Господне 1990, Псково-Печерсиий Успенский монастырь

Иконостас Серафимовского придела Троицкого кафедрального собора, г. Псков



Крещение Руси 1988, Московская Патриархия



Пресвятой Богородицы 1985,

Успенский монастырь

ИГОРЬ КИСЛИЦЫН



Святой
благоверный князь
Игорь Черниговский
1990



Не рыдай Мене Мати
1990



Святой пророк Илия



Святой Архангел
Михаил-воевода

Александр Чашкин. Вознесение Господне. Стенная роспись Никольской церкви в селе Кочаки, что близ Ясной Поляны

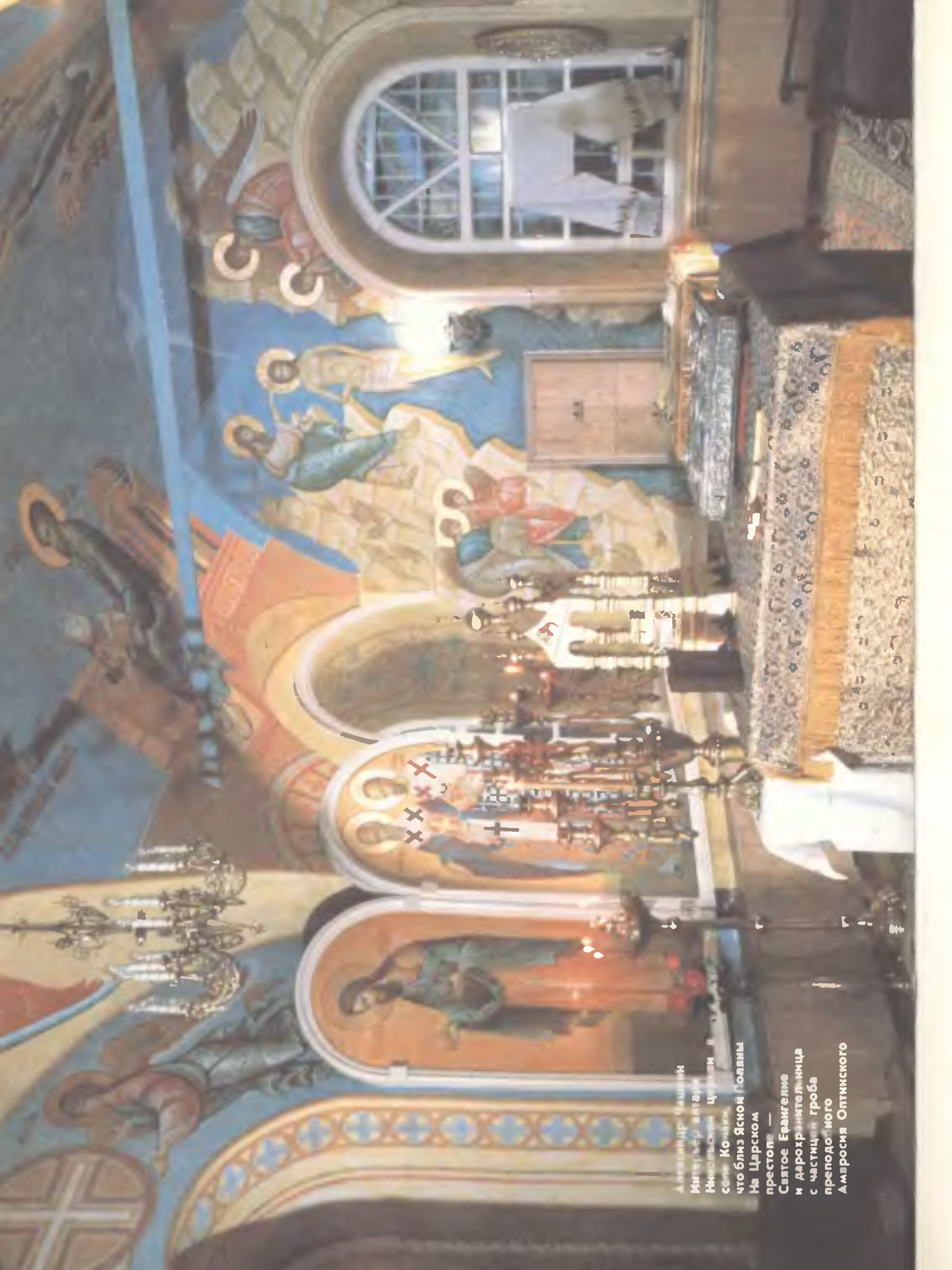
АЛЕКСАНДР ЧАШКИН



Ярославская икона Божией Матери 1990



Спас в силах 1990



что близ Ясной Поляны
На Царском
престоле —
Святое Евангелие
и дарохранительница
преподобного
Амвросия Оптинского

ЗАКОНЪ БОЖІЙ

Православные праздники
Дни светлой памяти

ИЮНЬ

1 июня — День памяти благоверного князя Димитрия Донского
2 июня — День памяти святителя Алексия Московского; благоверного князя Довмонта Псковского
3 июня — День памяти благоверного князя Константина и чад его Михаила и Феодора Муромских
5 июня — День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой
10 июня — День памяти святителя Игнатия Ростовского
16 июня — День памяти благоверного царевича Димитрия Угличского
21 июня — День памяти великомученика Феодора Стратилата
26 июня — День памяти преподобных Андроника и Саввы Московских
27 июня — День памяти благоверного князя Мстислава Новгородского
28 июня — День памяти святителя Ионы Московского

Раздел первый

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

Иисус Христос, посылая учеников Своих на проповедь, сказал: «итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа», и добавил: «уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Матф. 28, 19—20), этим Господь ясно указал на то, что им установлены и другие таинства.

Таинством называется такое священное действие, через которое тайно, невидимым образом подается человеку благодать Святаго Духа, или спасительная сила Божия.

Св. Православная Церковь содержит семь таинств: крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство и елеосвящение.

Продолжение. Начало в №№ 1, 2, 3, 4/1991.

Таинство крещения есть такое священное действие, в котором верующий во Христа, через троекратное погружение тела в воду, с призыванием имени Пресвятой Троицы — Отца и Сына и Святаго Духа, омывается от первородного греха, а также и от всех грехов, совершенных им самим до крещения, возрождается благодатию Духа Святаго в новую духовную жизнь (духовно рождается) и делается членом Церкви, т. е. благодатного Царства Христова.

Таинство крещения установил Сам Господь наш Иисус Христос. Он освятил крещение Своим собственным примером, крестившись у Иоанна. Потом, по воскресении Своем, Он дал апостолам повеление: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Матф. 28, 19).

Крещение необходимо каждому, кто желает быть членом Церкви Христовой. «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие», сказал Сам Господь (Иоан. 3, 5).

Для принятия крещения необходимы вера и покаяние.

Православная Церковь крестит младенцев по вере их родителей и восприемника. Для этого и бывают при крещении восприемники, чтобы поручиться перед Церковью за веру крещаемого. Когда он подрастет, они обязаны научить его вере и позаботиться о том, чтобы их крестник стал истинным христианином. Это священный долг восприемников, и они тяжко грешат, если пренебрегают этим долгом.

Так как крещение есть духовное рождение, а родится человек однажды, то и таинство крещения над человеком совершается однажды. «Один Господь, одна вера, одно крещение» (Ефес. 4,4).

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ КРЕСТНОГО ОТЦА

«Ты спрашиваешь меня: идти ли тебе в крестные отцы, или, говоря по церковному, в восприемники к бедному чиновнику, состоящему под твоим начальством? Что ж — иди. Но ты говоришь, что со дня на день ждешь другого назначения куда-нибудь за тридевять земель, и потому, может быть, никогда уже не увидишь твоего крестника. Ну, так и не ходи. Но не согрешу ли я, пишешь ты, перед Богом, отказавшись от этого? Не думаю. По-моему, ты вдвое больше согрешишь, когда сделаешься только формальным крестным отцом и потом забудешь о своем крестнике, как о прошлогоднем снеге. Судя по некоторым выражениям в твоем письме, я вижу, что ты плохо понимаешь значение и обязанности восприемника, и потому дружеским долгом почитаю вразумить тебя насчет этого.

По принятому порядку, у нас все обязанности крестных отцов состоят в том, чтобы купить крест для новорожденного, расплатиться с священником и причтом церковным, сделать подарок бабке, а то и родительнице, выпить шампанского за здоровье ее крестника, затем — раскланяться до неизвестного свидания, предоставив новорожденному восхищаться впоследствии тем, что вот, дескать, крестным отцом у меня был такой-то. Дело, как сам видишь, чрезвычайно легкое и самое пустое. А между тем, не таково, мой друг, назначение и обязанности восприемника по смыслу и намерению церкви православной. Ты в самые важные для новорожденного минуты, в минуты духовного его возрождения, в таинстве крещения, сделался его духовным отцом — духовным, понимаешь? — Ну, так и будь же им. Ты говорил за него, немого и безгласного, — смотри же, чтоб и крестник твой не заговорил когда-нибудь так, что ты пожелал бы ему лучше онеметь. Ты за него отрицался диавола и всех аггел его, и всей гордыни его, и от всего служения его: гляди же, чтобы поручительство твое не постыдило тебя самого.

Ты изъявил за него полную готовность сочетаться Христу, исповедовал, вместо него, перед лицем неба и земли символ веры православной, — бодрствуй же над твоим сыном духовным, чтобы он вместо Христа не сочетался с велиаром, вместо догматов веры не возлюбил суемудрия человеческого.

Крест Христов, который ты принес для твоего крестника и который из рук твоих взял и возложил на него иерей Божий, стал между тобою и твоим крестным сыном, — Боже сохрани, если кто-нибудь из вас уронит, опрокинет его! Прочитай-ка раз приветствие то церкви, да и скажи потом: есть ли что выше, священнее, даже страшнее тех обязанностей, какие возлагает на себя всякий отец крестный? Легко ли в самом деле достигнуть того, чтобы крестник твой так же чист и паче снега убелен по душе предстал и на страшный суд, каким ты принял его из купели? Легко ли вести других по неровному и каменистому пути жизни, когда сам беспрестанно падаешь? А вести надо, потому что сам за то взялся. Ты — поручитель, стало быть, отвечаешь своим собственным достоянием, в случае несостоятельности того, за кого ты поручился.

«Помилуй, скажешь ты, — да это такие обязанности, каких едва ли возможно исполнить и самому отцу родному!» — Разумеется, невозможно; вот потому-то церковь и дает тебя ему в помощь. Теперь у новокрещенного уже не один отец, а два, не одна мать, а две: один другому они должны помогать в трудном воспитании ребенка. Да мало этого — ты, как восприемник, как отец духовный, по намерению церкви, старше родителей плотских и обязан наблюдать даже за ними самими. Согласись, сколько у нас есть родителей, которые нимало не заботятся о религиозном и нравственном воспитании детей своих! Сколько отцов, которые надзор за детьми считают чуждым для себя делом! Сколько матерей, которые сдают своих малюток на руки нянек и кормилиц собственно для того, чтобы самим беспрепятственно пользоваться всеми удовольствиями света — выезжать в собрания, танцевать и давать балы и вечера. Вот тут-то и открывается поприще для деятельности богобоязненного и понимающего высокие свои обязанности восприемника или отца крестного. Вот тут-то и должен возвышать он голос, чтобы внушить отцу пренебрегаемый им долг учить и наставлять своего малютку, чтобы удержать мать, скучающую детским криком и проворно удаляющуюся в отмут светских развлечений, где шуму и гаму в тысячу раз больше, где страсти и страстишки теребят грудь ее далеко назойливее и неотаязчивей, чем нежные ручки ее малютки.

«Что ты, Бог с тобой! крикнешь ты на меня. Да разве это можно?»

— Не знаю, можно ли; но знаю, что должно. Ведь я не свое тебе говорю, а только то, что внушает и мне, и тебе, и пятому и десятому церковь святая. Если ее требования неправы и неприложимы к жизни, то и мои речи таковы же.

«Так после этого, скажешь ты, никто и в крестные отцы не пойдет!» Жаль и грустно, если так! Это значило бы показать, что между нами нет ни одного человека, который был бы настолько духовно состоятелен, чтоб отвечать за своего приемыша от купели. Сам ты знаешь, каково положение того общества, в котором нет деятельных производителей и людей достаточных, и которое по этой причине не имеет никакого кредита у других общества. Такое общество — банкрот или, по крайней мере, недалеко от банкротства. А наше православное общество, именуемое церковью, благодаря Бога, еще не дошло до такой жалкой степени религиозной и нравственной несостоятельности. Пусть каждый только разогреет свое сердце до самоотверженной любви Моисея и Павла; пусть хорошенько вникнет в достоинство того призвания, которое дает ему право быть земным ангелом-хранителем единого от малых сих; да пусть подумает о том, что ожидает у небесного Мздовоздателя того, кто сотворит и научит, — тогда он с радостью станет в ряды пособников и споспешников царствия Божия на земле, тогда найдутся отцы крестные и будут действительно крестными, ибо

вместе со своим сыном духовным понесут тяжкий крест жизни. Любви всеобъемлющей, всепроникающей любви в нас мало — вот в чем горе наше, беда наша великая!

А между тем, скажу тебе и то еще, что и для самого восприемника дело и делание его не останется без великой пользы. Чтобы дать урок, надо подготовиться к нему; чтобы вести кого-нибудь, надо самому идти: выводи же теперь из этого заключение. Положим, что ты глубоко сознал необходимость религиозного воспитания для твоего духовного приемыша; а между тем и сам не больно искусен в этой науке: вот ты и начнешь сам проходить ее с азов, как подобает наставнику, имеющему дело с ребенком. В церковь ты не слишком учащаешь, а тут нет-нет да и пойдешь с своим питомцем. Ты охотник поболтать и пересказать соблазнительные пересуды, а тут положишь на уста свой палец молчания, потому что сынок или дочка твои крестные вертятся около тебя. Ты иногда не знаешь, куда время девать, — а тут к крестнику пойдешь и проведешь с ним час-другой в детской, благочестивой беседе. И ему приятно, и тебе полезно. Далее, — припомни и то, что воспитание детей есть забота великая, тягота не малая; что истинные и добрые отец и мать ночей не досыпают, куска не доедают за думами и хлопотами о будущей судьбе своего дитяти; а ты призываешься церковью и взятою на себя обязанностью в помощники к ним, берешь на себя часть их забот и попечений; что же ты исполняешь в этом случае, как не закон высокой христианской любви? Сказано: друг друга тяготы носите, да тако исполните закон Христов; следовательно в твоем восприемничестве дается тебе превосходный и притом приятный способ исполнить то, что должно составлять постоянное стремление христианина, — исполнить закон Христова. Пойми-ка это хорошенько, и тогда твои обязанности, как крестного отца, предстанут пред тобою совсем в ином свете, и ты ухватишься за них, как за одно из средств к твоему собственному спасению.

«Понятно, пишешь ты между прочим, для чего он приглашает меня в крестные». Не нужно много сметки, чтобы понять это. Приглашатель твой, как ты сам говоришь, человек бедный, обремененный семейством, жаждущий твоей начальнической протекции и потому желающий покумиться с тобой. Ну, что ж, с его стороны это очень естественно. Он ищет в тебе покровителя и себе и детям своим и будущему крестнику твоему; он ласкает себя надеждою, что какова ни есть пора-мера, ты в случае смерти его или каких-либо несчастий заступишь малютке отца его родного. И благ ты человек, если исполнишь робкие желания бедняка! Истинный ты брат и друг его, если возьмешь на себя часть тяжести того креста, который несет он один-одинешенек. Истинным отцом ты будешь крестника твоего, когда у страдальческого одра умирающего его родителя отрешь слезы малютки и скажешь ему: «Не плачь, дитя мое, я твой отец!» Ну-ка, друг ты мой любезный, укажи мне положение благороднее, бескорыстнее, выше, святее этого! А ведь оно уступлено тебе за то, что ты воспринял малютку от купели крещения; а ведь этот плачущий ребенок, эта скорбящая, теряющая в муже своем единственную свою опору, мать скорее утешатся от твоих слов, ибо они знают, что ты не чужой им, что ты говорил за крестника твоего, когда он был нем, действовал за него, когда он только лежал на руках твоих... Что это, в самом деле, за премудрое, что за объединяющее распоряжение церкви святой, учредившей восприемников и восприемниц! Как далеко раскидывает она этим нити любви и единения во Христе! Будь детелями при таинстве крещения одни плотские родители,— обособление каждого семейства, замкнутость его в тесном кругу плотского родства неизбежно; а тут новые связи на всю жизнь, на все непредвиденные случаи бытия человеческого...

Не знаю — решил ли я данный мне вопрос: идти ли тебе в восприемники теперь туда, к кому тебя приглашают; но я уверен, что если приведет тебя Бог пойти куда-нибудь, то ты пойдешь, уже не очертя голову, а подумавши хорошенько, и будешь для своего крестника истинным отцом».

Раздел второй

Конспект

ИГУМЕНА ФИЛАРЕТА

ГЛАВА IX.

Как совершается спасение человека в Церкви. Значение для нас таинства крещения. Вопрос о взаимоотношении между свободной волей человека и действием благодати Божией (Пелагий и Августин). Синергизм.

Господь Иисус Христос о всякой истинно-доброй христианской деятельности человека сказал: «без Мене не можете творити ничесоже» (без Меня не можете делать ничего). Поэтому — когда речь идет о спасении человека, христианин должен помнить, что начало спасающей нас истинно христианской жизни — идет только от Христа Спасителя, и дается нам — в таинстве крещения.

В своей беседе с членом синедриона Никодимом на вопрос, появившийся в душе Никодима — как войти в Царствие Божие, Спаситель ответил: «если кто не родится свыше, не может видеть Царствия Божия». Далее он сказал еще яснее: «если кто не родится от воды и Духа (т. е. не примет крещения) — не может войти в Царствие Божие..» (Иоанн III, 3—4). Итак, крещение является как бы тою дверью, через которую человек только и может войти в церковь спасаемых. Ибо спасен будет лишь тот, кто будет иметь веру и крестится (Марк. XVI, 16).

Однако нужно помнить то, что крещением омывается в человеке — порча первородного греха, и вина за все проступки и грехопадения, совершенные до крещения. Но зародыши греха — греховные привычки и влечение к греху — остаются в человеке, и преодолеваются усилиями самого человека, путем подвига всей его жизни — ибо, как мы уже знаем, Царствие Божие приобретается усилием, и лишь употребляющие усилия достигают его. И другие таинства церковные — покаяние, причащение, елеосвящение и различные молитвы и богослужения — являются моментами и способами освящения христианина. В них христианин, по мере своей веры и нужды, получает божественную благодать, содействующую его спасению. Без этой благодати, по учению апостольскому, мы не только не можем творить добро — но не можем даже и пожелать его (Фил. II, 13).

Но если в деле нашего спасения такое огромное значение имеет помощь Божией благодати — то что же значат здесь наши личные усилия? Быть может, все дело спасения совершается за нас Богом, а нам остается только «сидеть сложа руки» и ждать милости Божией? В истории церкви этот вопрос был остро и решительно поставлен уже в V веке. Ученый и строгий монах Пелагий стал учить о том, что человек спасается сам — своими силами, без Божией благодати. Развивая свою мысль, он в конце концов дошел до того, что, в сущности, стал отрицать самую необходимость для людей искупления и спасения во Христе. Против него выступил знаменитый учитель церкви, блаженный Августин, который с особенной силой доказывал необходимость для спасения благодати Господней. Однако, возражая Пелагию, Августин сам впал а противоположную крайность. По его учению выходило то, что в деле спасения все для человека делает Божия благодать, а человек лишь должен с благодарностью принимать это спасение.

Истина, как всегда, находится между этими двумя крайностями. Ее аыразил подвижник того же V века, преподобный Иоанн Кассиан, учение которого называется синергизм (т. е. содействие). По его учению, человек спасается только во Христе, и благодать Божия в этом спасении — главная действующая сила. Однако, кроме действия благодати Божией для спасения нужны и личные усилия самого человека. Одних личных усилий человека недостаточно для спасения — но они необходимы, ибо без них и благодать Божия не станет совершать дело его спасения. Таким образом, спасение человека совершается одновременно чрез действие спасающей Божией благодати — и чрез личные усилия самого человека. По смелому выражению некоторых отцов Церкви. Бог сотворил человека без участия самого человека — а спасти его без его согласия и желания не может, ибо Сам сотворил его самовластным. Человек свободен выбрать добро или зло, спасение или погибель — и Бог не стесняет его свободы, хотя и призывает его постоянно ко спасению.

ГЛАВА Х.
Забота христианина о душе. Развитие ума. Значение светского научного образования. Необходимость образования духовного.

Психология признает в душе человека три основных силы или способности: ум, чувство (сердце) и волю. Умом человек познает окружающий мир и его жизнь, а также все сознательные переживания своей собственной души. Чувством — сердцем — человек отзывается на воздействия и впечатления из внешнего мира и на свои переживания. Одни из них приятны для него, нравятся ему; другие — неприятны и ему не нраяятся. При этом «приятное» и «неприятное» у многих людей не совпадают. То, что нравится одному человеку, — не всегда нравится другому, и наоборот (отсюда поговорка: «о акусах не спорят»). Наконец — воля человека есть та сила его души, чрез которую он сам вступает в мир и действует в нем. Нравственный характер человека в особенности сильно зависит от характера и направления его воли.

Возвращаясь к вопросу о развитии в человеке его духоаной личности, мы должны отметить то, что в работе над собой, над своим «я», человек должен надлежащим образом, по-христиански развивать упомянутые способности своей души — ум, сердце и волю.

Ум человека развивается прежде всего и больше всего — чрез изучение наук, чрез образование. И не нужно думать того, что христианство считает так назыв. «светские» науки, или образование — ненужным (тем более — аредным). Против этого ошибочного взгляда говорит вся история Церкви древних веков. Достаточно взять хотя бы трех великих вселенских учителей и святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Они были образованнейшими людьми своего времени, прекрасно изучившими чисто светскую науку тогдашнего времени. А ведь эта наука носила определенно языческую окраску. Но они сумели усвоить нужное и полезное в этой науке, а ненужное и неполезное — отбросили. Тем более, мы должны ценить научное светское образование теперь — когда из науки исчезли былые языческие примеси и она стремится к изложению чистой истины. Правда, и теперь многие ученые ошибочно полагают, что наука противоречит религии, и к научным истинам прибавляют свои антирелигиозные взгляды. Но чистая наука в этом не виновата. И христианство всегда приветствует и благословляет серьезное светское образование, в котором формируются и укрепляются мыслительные силы и способности человека.

Само собой разумеется, что христианин, принимая образование светское, еще большее значение придает образованию (и воспитанию) религиозному. Нужно помнить, что христианство вовсе не есть только и исключительно — сфера религиозных переживаний и чувств. Нет, христианство есть совершенно законченный цикл, система соответствующих знаний, самых разносторонних даных, относящихся к области не только религиозной, но и научной. И прежде всего, как нам, христианам, не знать жизни своего Спасителя и Его чудес и учения? Как, далее, не знать истории нашей святой церкви и ее богослужения, которое нужно знать и понимать, а для этого — изучать?

В особенности, значение христианства как всесторонней законченной научной системы является в курсах христианского нравоучения (6 класса средн. школы) и вероучения (курс 7 класса). Здесь христианство предстает пред нами как богатейшая философская система, охватывающая и объясняющая человеку и весь мир, и его самого и указывающая истинный смысл и цель его земной жизни.

Продолжение в следующем номере.

Тексты публикуются по изданиям: раздел первый — **Закон Божий.** Составил Серафим Слободской. Джорджанвиль. 1967; **ТРОИЦКИЙ ЛИСТОК.** Издание Свято-Троице-Сергиевой Лавры, 1990; раздел второй — **Игумен Филарет. Конспект по Закону Божию.** Харбин, 1936.

Публикацию подготовил писатель Евгений Чернов.



Не творите мучеников

В январе 1918 года был опубликован декрет Совета Народных Комиссаров об отделении Церкви от государства и школ от Церкви, по поводу которого Священный Собор Русской Православной Церкви, два месяца назад восстановивший на Руси Патриаршество, горестно заметил: «Доселе Русь была святой, а теперь хотят сделать ее поганой».

Что же комиссары предложили народу, провозгласив «свободу совести»?

«Никакие церковные и религиозные общества не имеют права обладать собственностью, прав юридического лица они не имеют.»

Церковь перестала быть хозяином не только своих школ, земель, типографий, но и богослужебных книг, святых икон и святых престолов. Монахов можно гнать из келий, ведь это теперь государственная собственность, молящихся — из храмов, увечных — из богаделен. Государство разрешало себе «конфисковать» (грабить) веками накапливаемое народом церковное достояние.

Отныне во всех школах запрещено молиться и преподавать Закон Божий, отныне подлежат закрытию все духовные семинарии и академии, отныне настала пора небывалых гонений на сто миллионов православных верующих.

Священнослужители и миряне по мере снл пытались противостоять воинствующему безбожию, становясь безвинными жертвами, повторившими Крестный путь своего Спасителя.

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их», — поучает св. Апостол Павел (Евр. 13, 7).

Одним из этих наставников из сонма Новомучеников Российских был митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин.

Родился митрополит Вениамин (в миру Василий Павлович Казанский) в 1874 году в семье священника и, получив высшее духовное образование, в течение многих лет вел преподавательскую работу. В январе 1910 года он был хиротонисан в епископа Гдовского, викария Санкт-Петербургской епархии, а в марте 1917 года избран правящим архиереем Петроградской епархии.

Петрограду полюбился владыка, который постоянно посещал бедные кварталы, порою до поздней ночи выслушивая и утешая несших ему свое горе простолюдинов. По мнению большинства петербуржцев, Вениамин всегда был искренне аполитичен, все время посвящая церковным службам и заступничеству за прихожан перед властью.

«Ни блеском церковного красноречия, — вспоминает митрополит Мануил,— ни остротой богословского дара не отличался приснопамятный Вениамин... но это не помешало ему оставить по себе память одного из любимых и популярнейших архипастырей. Одна его чисто русская внешность располагала к себе. Простое открытое лицо, круглое, с румянцем на щеках и длинной русой бородкой. Был он прост, доступен и приветлив. Говорят, что в ранние годы мечтал об исповедничестве. Временами в обществе он был молчалив и с ним трудно было поддерживать беседу».

Но кротость владыки не означала, что в его лице власти получили молчаливого пособника в развернувшейся кампании по уничтожению православия. В 1918 году, когда Петроград посетил Патриарх Тихон, на Николаевском вокзале с крестным ходом его встретил митрополит Вениамин, выразивший радость всех жителей города по случаю прибытия Главы Русской Церкви и закончивший свое приветствие уверением, что и сам он, и духовенство, и все искренно верующие готовы за Веру и Церковь понести любые жертвы и даже умереть.

— Умереть нынче не мудрено, — улыбнулся в ответ Патриарх. — Нынче труднее научиться как жить.

Заверение митрополита Вениамина о готовности умереть оказалось пророческим — четыре года спустя ему суждено было принять мученическую кончину, и он достойно встретил смерть.

В 1921 году в Поволжье, пострадавшем от засухи, начался голод. Стремительно охватывал он одну губернию за другой и вскоре воцарился на большей части России. Десятки миллионов людей к началу 1922 года ожидали голодной смерти, более миллиона уже погибли.

Правительство мало уделяло внимания борьбе с голодом, занимаясь «более важными» делами — войной со своим народом, покупкой дворцов для своих полпредов, пропагандой мирового коммунизма. Но вдруг тяжелобольной Ленин 19 марта 1922 года вспомнил о голоде: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления...» Подробно начертав план кампании, Ленин предложил стране новый виток террора: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».

По неполным данным, в течение 1922 года удалось уничтожить 8100 духовных лиц, кроме того тысячи людей погибли, защищая иконостасы и священные сосуды от комиссий по изъятию церковных ценностей.

Одной из первой жертв новой кампании террора стал митрополит Вениамин.

25 мая 1922 года протоиерей Петроградской епархии Введенский, пользуясь тем, что Патриарх Тихон находится под арестом, заявил митрополиту Вениамину, что отныне вся полнота церковной власти в России принадлежит созданному им в содружестве с другими «обновленцами» Высшему Церковному Управлению. Митрополит понял, что перед ним стоит священник, возжелавший похитить церковную власть, и отверг кощунственные притязания Введенского, отлучив его от общения со Святой Церковью, «доколе не понесет покаяния перед своим епископом».

Петроградские газеты, на своих страницах бессовестно лгавшие, что Церковь не желает помочь голодающим и пора с ней разделаться по советским законам, запестрели новыми угрозами: «Митрополит Вениамин осмелился отлучить от Церкви священника Введенского. Меч пролетариата тяжело обрушится на голову митрополита».

29 мая 1922 года в помещении епархиальной канцелярии митрополит был арестован. При обыске к нему подошел под благословение протоиерей Александр Введенский.

— Отец Александр, — спокойно промолвил владыка, отказав в благословении, — мы же с вами не в Гефсиманском саду.

10 июня 1922 года в Петрограде начался судебный процесс над петроградским духовенством, оказавшим сопротивление изъятию церковных ценностей. По делу было привлечено восемьдесят шесть человек. Им были предъявлены обвинения «об участии в организации, действующей в контрреволюционных целях, путем возбуждения населения к массовым волнениям в явный ущерб диктатуре рабочего класса и пролетарской революции» (ст. 62 нового уголовного кодекса) и «использование религиозных предрассудков масс с целью свержения рабоче-крестьянской власти» (ст. 119).

Вход в судилище в зал бывшего Дворянского собрания был строго по билетам, которые выдавались верным красноармейцам. Тысячи же горожан запрудили Михайловскую и Итальянскую улицы, в благоговейном молчании ожидая «правосудия».

На процессе неистовствовал обвинитель Красиков, закаленный в боях с православной верой «почетный красноармеец». Третий день судилища он целиком посвятил допросу Вениамина, пытаясь доказать необходимость расстрела «гражданина Казанского». Но усилия оказались тщетными — зал, в котором сидела подобранная обвинителем публика, симпатизировал митрополиту. Но ни отсутствие фактов, ни реакция публики Красикова не интересовали, ему достаточно было упиваться собственными словами, ведь именно благодаря громким полуграмотным демагогическим фразам он уверенно выдвигался в высший эшелон власти:

— Дело идет о церковной организации, о церковной периферии и примыкающим к ним кругам, которые используют эту имеющуюся еще в наличности религиозность русского крестьянина, русского рабочего, русского обывателя с целью классовой, с целью ниспровержения рабоче-крестьянского правительства и вообще строя, который сейчас стремится создать трудящийся класс населения...

— Когда мы разрушили старое государство, когда разрушили старую классовую самодержавно-монархическую и капиталистическую систему и разрушили весь аппарат этой системы, т. е. чиновнический, бюрократический, военный аппарат, то мы, конечно, должны были разрушить и часть этого аппарата — церковного...

— Кто мешал Вениамину, имея доступ в Смольный, имея перо и чернила,

сказать Советской власти или написать в Совнарком: граждане коммунисты, а вы знаете, что я собственно говоря имею право выгнать там всю эту белогвардейщину...

— В русской церкви не было ни одного момента живого, каким иногда некоторые церкви еще отличались в некоторые периоды своей исторической жизни...

— А когда, наслушавшись этих детских сказок, лупят здесь Введенского камнем по голове, то говорят: «Ведь это частица толпы, она, конечно, невежественна, но на это не стоит обращать внимания». Восемнадцать зубов выбили!..

Разохотился Красиков на слова, сыплет ими уже совсем без разумения, но уже готов судить митрополита Петроградского за камень, брошенный в Введенского старой женщиной, которая поджидала новоявленного Иуду при выходе из суда. Все чаще срываются с языка обвинителя грозные слова: «черносотенство», «масса понимает», «Советская власть сметет митрополита», «пособники мрака», «пролетарская совесть»... Приговор предрешен, хоть в виновность митрополита не поверили даже закаленные в крови гражданской войны красноармейцы. И даже речь защитника Вениамина, бывшего присяжного поверенного Я. С. Гуровича не изменит заранее спланированного сценария (Гурович сначала не посмел стать защитником митрополита Вениамина, ссылаясь на то, что предстоящий процесс для защиты чрезвычайно сложен, могут быть промахи и ошибки, и он, еврей, станет мишенью для лиц, антисемитски настроенных. Сомнения Гуровича разрешил сам митрополит, обратившийся из тюрьмы к нему с просьбой взять защиту в свои руки, ибо он, Вениамин, ему безусловно доверяет):

— Русское духовенство плоть от плоти и кость от костей русского народа. Обвинитель Красиков ни одним звуком не обмолвился об огромной заслуге духовенства в деле народного образования, что духовенство самоотверженно служило делу образования. В дни процесса Бейлиса именно духовенство было против процесса. Эксперты священник Глаголев и профессора Духовной Академии решительно отвергли употребление евреями христианской крови. Я, еврей, счастлив и горд засвидетельствовать, что еврейство всего мира питает уважение к русскому духовенству и всегда будет благодарно последнему за позицию, занятую русским духовенством в дни Бейлиса...

Одна из местных газет выразилась о митрополите (по-видимому, желая его уязвить), что он производит впечатление «обыкновенного сельского попика». В этих словах есть правда. Митрополит совсем не великолепный «князь церкви», каким его усиленно желает изобразить обвинение. Он смиренный, простой, кроткий пастырь верующих душ, но именно в этой его простоте и смиренности — его огромная моральная сила, его неотразимое обаяние. Перед нравственной красотой этой ясной души не могут не преклоняться даже его враги. Допрос его трибуналом у всех в памяти. Ни для кого не секрет, что, в сущности, в тяжелые часы этого допроса дальнейшая участь митрополита зависела от него самого. Стоило ему чуть-чуть поддаться соблазну, признать хоть немного из того, что так жаждало установить обвинение, и митрополит был бы спасен. Он не пошел на это. Спокойно, без вызова, без рисовки, он отказался от такого спасения. Многие ли из здесь присутствующих способны на такой подвиг? Вы можете уничтожить митрополита, но не в ваших силах отказать ему в мужестве и высоком благородстве мысли и поступков...

Гурович понимал тщетность своих попыток спасти безвинных обвиняемых:

— Все такие «данные», представленные обвинителями, свидетельствуют, в сущности, лишь об одном: что обвинение, как таковое, не имеет под собой никакой почвы. Это ясно для всех. Но весь ужас положения заключается в том, что этому сознанию далеко не соответствует уверенность в оправдании, как должно было бы быть. Наоборот: все более и более нарастает неодолимое предчувствие, что несмотря на фактический крах обвинения некоторые подсудимые, и в том числе митрополит, — погибнут. Во мраке, окутывающем закулисную сторону дела, явственно виднеется разверстая пропасть, к которой «кем-то» неумолимо подталкиваются подсудимые...

Гурович, конечно же, не знал о тайном распоряжении Ленина, что чем больше «удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше», и в заключение своей речи обратился к революционному трибуналу, наивно полагая, что от этих исполнителей зависит приговор:

— Чем кончится это дело? Что скажет когда-нибудь о нем беспристрастная история? История скажет, что весной 1922 года в Петрограде было произведено изъятие церковных ценностей, что, согласно донесениям ответственных представителей советской администрации, оно прошло, в общем, «блестяще» и без сколько-нибудь серьезных столкновений с верующими массами.

Что скажет далее историк, установив этот неоспоримый факт? Скажет ли он, что несмотря на это и к негодованию всего цивилизованного мира советская власть нашла необходимым расстрелять Вениамина, митрополита Петроградского, и некоторых других лиц? Это зависит от вашего приговора.

Вы скажете мне, что для вас безразличны и мнения современников и вердикт истории? Сказать это не трудно — но создать в себе действительное равнодушие в этом отношении невозможно. И я хочу уповать на эту невозможность... Я не прошу и не «умоляю» вас ни о чем. Я знаю, что всякие просьбы, мольбы, слезы не имеют для вас значения, — знаю, что для вас в этом процессе на первом плане вопрос политический и что принцип беспристрастия объявлен неприемлемым к вашим приговорам. Выгода или невыгода для советской власти — вот какая альтернатива должна определять ваши приговоры! Если ради вящего торжества советской власти нужно «устранить» подсудимого — он погиб, даже независимо от объективной оценки предъявленного к нему обвинения. Да, я знаю, таков лозунг. Но решитесь ли вы провести его в жизнь в этом огромном по значению деле? Решитесь ли вы признать этим самым пред лицом всего мира, что этот «судебный процесс» является лишь каким-то кошмарным лицедейством? Мы увидим...

Патриарх Тихон и митрополит Вениамин (в центре) среди священников и верующих

Вы должны стремиться соблюсти в этом процессе выгоду для советской власти? Во всяком случае — смотрите не ошибитесь... Если митрополит погибнет за свою веру, за свою безграничную преданность верующим массам — он станет опаснее для советской власти, чем теперь... Непреложный закон исторический предостерегает вас, что на крови мучеников растет, крепнет и возвеличивается вера... Остановитесь на этом, подумайте и... НЕ ТВОРИТЕ МУЧЕНИКОВ!

На следующий день объявили приговор: десятерых к расстрелу, еще около шестидесяти человек к тюремному заключению. ВЦИК помиловал шестерых приговоренных к расстрелу. Четверых же Новомучеников Русской Православной Церкви — митрополита Вениамина, архимандрита Сергия, профессоров Ю. Л. Новицкого и И. М. Ковшарова — в ночь с 30 на 31 июля 1922 года (с 12 на 13 августа по н. ст.) тайком увезли в окрестности Петрограда и казнили.

Подробности убийства стали известны протопресвитеру Польскому:

«Новицкий плакал. Его угнетала мысль о том, что он оставляет круглой сиротой свою единственную пятнадцатилетнюю дочь. Он просил передать ей на память прядь своих волос и серебряные часы.

Отец Сергий громко молился: „Прости им, Боже — не ведают бо, что творят".

Ковшаров издевался над палачами.

Митрополит шел на смерть спокойно, тихо шепча молитву и крестясь...

Население долго не хотело верить смерти митрополита. По этому поводу создавались разные легенды. Утверждали, между прочим, что большевики где-то тайно заточили митрополита. Возникновению этих слухов способствовало, между прочим, отсутствие официального сообщения о том, что приговор приведен в исполнение. Впрочем, в этих легендах (говорят, и поныне держащихся) есть некая частица истины, как почти во всех народных преданиях: физически митрополит Вениамин убит — в этом, к несчастью, нет сомнения, — но в сердце народном его светлый образ навсегда останется живым».

Михаил ВОСТРЫШЕВ

Митрополит ВЕНИАМИН

Пишу, что на душе...



Письма протеста

В Совет Народных Комиссаров в Петрограде

В газетах «Дело Народа» за 31 декабря минувшего 1917 года и в других был напечатан рассмотренный Советом Народных Комиссаров проект декрета по вопросам отделения Церкви от государства. Осуществление этого проекта угрожает большим горем и страданиями православному русскому народу. Вполне естественно, как только православные жители города Петрограда узнали об этом, стали сильно волноваться. Волнения могут принять силу стихийных движений. Вера, горячее настроение искреннего сердца, затронутые в своих святых переживаниях, не могут замкнуться только во внутреннем страдании. Оно рвется наружу, и может вылиться в бурных движениях и привести к очень тяжелым последствиям. Никакая власть не сможет удержать его. Я конечно уверен, что всякая власть в России печется только о благе русского народа и не желает ничего делать такого, что бы вело к горю

В публикации использованы и впервые напечатаны в СССР документы ЦГАОР, архива КГБ и изданий Русского Зарубежья.

и бедам громадную часть его. Считаю своим нравственным долгом сказать людям, стоящим в настоящее время у власти, предупредить их, чтобы они не приводили в исполнение предполагаемого проекта декрета об отобрании церковного достояния. Православный русский народ никогда не допускал подобных посягательств на его святые храмы. И ко многим другим страданиям не нужно прибавлять новых. Думаю, что этот мой голос будет услышан и православные останутся со всеми их правами чадами Церкви Христовой.

ВЕНИАМИН
Митрополит Петроградский
и Гдовский

6 января 1918 г.

В Совет Комиссаров
Союза Коммун
Северной области

По долгу Архипастырского служения моего, в сознании ответственности перед Богом и верующим народом, во имя блага миллионов верующих и для успокоения десятков тысяч взволнованных и смущенных людей почитаю совершенно необходимым, чтобы представители власти дали ясный ответ о причинах мероприятий, нарушающих правильное течение жизни церковной, несмотря на установленную законом государственным свободу веры. Такими мероприятиями являются особенно участившиеся за последние дни аресты священно- и церковно-служителей, заключения их в тюрьмы без объяснения причин и поводов ареста, без предъявления обвинений и даже без возможности знать, где находятся заключенные или живы ли они.

Совесть верующего народа смущена и неустанно требует ответа, а Я, Митрополит Петроградский, изволением Божием и народным избранием поставленный на высоту Архипастырского служения, слышу немолчный голос своей паствы и тысячи обращенных ко мне запросов: в чем же повинны лишенные свободы пастыри? Если виновны — почему подверглись каре со стороны гражданской власти, а церковная власть молчит? Если невинны — почему церковная власть не возвысит своего голоса в защиту невинных?

Церковь Православная и ее пастыри в соответствии с основами христианского учения и заветами церковными совершают свое служение независимо от того или иного государственного строя, формы правления и вида гражданской власти, признавая всякую власть посланною от Бога, дарованной народу по суду правды Божественной. Но в исповедании Христовой истины Церковь оставалась и остается незыблемо твердою, перенося все мучения и гонения там, где требования власти вынуждают отречься от Христианской веры. В защите веры Православная Церковь следует духу Христова учения и завету святоотеческенному, — признавая, что «не мечами и стрелами», не посредством военных отрядов, а убеждением и советом возвращается истина» (Аф. Алекс. История ариан, гл. 33).

В устроении земной жизни верующих Церковь стоит на основах истинного братолюбия, признающего равенство всех перед Богом и требующего служения ближнему до полного самопожертвования.

Слыша проповедь пастырскую в соответствии с указанными началами, паства ныне смущена и встревожена и требует ответа: виновны ли пастыри и, если виновны, то в чем? Если же невиновны, то не является ли преследование пастырей уже прямым гонением на Церковь Христову и веру Христианскую? И тогда Церковь оказывается в худшем правовом положении, чем она была во времена открытых гонений от Римских Цезарей.

Общины верующих, оставшиеся без пастырей, без удовлетворения своих религиозных нужд, требуют не оставлять их сирыми и духовно голодными, и тем не менее Власть Церковная не может удовлетворять этому народному требованию, ибо не знает, преступны ли в чем-либо насильственно удаленные пастыри и подлежат ли они замене другими лицами, или же они взяты от своего делания просто как пастыри и служители Христа, и тогда никакая замена новыми лицами невозможна и недопустима. Ответ на это Гражданская Власть теперь же должна дать церковному народу во имя обеспеченного законом права народного веровать и молиться по велению своей совести.

Моля Бога о даровании мира и тишины земле нашей, по долгу Архипастырского моего непоколебимо указываю на долг власти гражданской во имя блага народного дать вверенной мне Богом пастве возможность с душевным спокойствием и беспрепятственно молиться со своими пастырями в своих храмах.

ВЕНИАМИН,
Митрополит Петроградский

Сдано 9 сентября (27 августа) 1918 г.
под расписку в Смольном,
комн. № 33, Вх. № 1327.

В Петроградский Губисполком

В заявлении от 5 марта 1922 года за № 372, препровожденном на имя Петроградской губернской комиссии помощи голодающим, мною было указано, что передача церковных ценностей на помощь голодающим может состояться только при наличии следующих трех условий:

1) что все другие средства помощи голодающим исчерпаны,

2) что пожертвованные ценности действительно пойдут на голодающих и

3) что на пожертвование означенных ценностей будет дано разрешение Святейшего Патриарха.

Со всей определенностью указано на необходимость выполнения поименованных условий в форме, не составляющей никакого сомнения для верующего народа в достаточности необходимых гарантий, я в то же время вопрос о форме выполнения этих условий оставил открытым, так как полагал, что до выяснения приемлемости самих условий всякие рассуждения о форме являются преждевременными и нецелесообразными.

В день подачи мною указанного заявления я был вызван в Смольный в заседание комиссии по изъятию церковных ценностей. Оглашенный лично мною на означенном заседании текст поданного мною заявления не вызвал никаких возражений по существу. Это обстоятельство в связи с последовавшими по содержанию обращения заявлениями представителей власти о недопустимости насильственного отобрания ценностей, о реализации жертвуемых ценностей самими верующими под контролем гражданской власти, о предоставлении Церкви права благотворительности (через открытие, например, питательных пунктов при храмах, о непосредственных закупках хлеба с иностранных пароходов и прочее) не оставили во мне никакого сомнения в том, что выраженная в моем заявлении искренняя готовность Церкви придти на помощь голодающим на условиях, ею указанных, принята и оценена представителями власти по достоинству. Я тем с большим удовлетворением принял все вышепоименованные заявления представителей власти, что они самым убедительным образом рассеивали предубеждения многих верующих людей, склонных видеть и утверждать, что предпринятый по изъятию ценностей шаг преследует цель, ничего общего с помощью голодающим не имеющую. Однако, к глубокому моему огорчению, появившиеся вскоре в газетах отчеты о заседании в Смольном, неправильно осветившие ход происходившей там беседы, поколебали мое первоначальное впечатление, а затем сообщения командированных мною на особое заседание комиссии в Губфинотделе моих представителей решительно меня убедили в полном несоответствии заявлений, сделанных в моем присутствии на заседании в Смольном, с вопросами, поставленными на обсуждение комиссии в Губфинотделе. На заседании в Смольном мне было предложено назначить два своих представителя в комиссии для разработки деталей предъявленных мною условий. В действительности же мои представители оказались в составе комиссий по принудительному изъятию церковных ценностей. Таким образом создалось положение, при котором мои представители в комиссии должны, в сущности, способствовать гражданской власти безболезненному осуществлению неправоверного по каноническим правилам посягательства на церковное достояние, являющееся, по нашей вере, достоянием Божиим. Ввиду создавшегося положения и в предупреждение дальнейших недоразумений и неправильных истолкований моих словесных и письменных обращений, считаю своим долгом сделать следующее пояснение к моему письменному заявлению от 5 марта сего года № 372:

1) вновь подтверждаю полную готовность вверенной мне Церкви Петроградской со всем усердием придти на помощь голодающим, если только ей будет предоставлена возможность свою благотворительную деятельность совершать в качестве самостоятельной организации,

2) если при развитии своей благотворительной деятельности Церковь исчерпает все имеющиеся в ее распоряжении на голодающих средства, а именно: сборы среди верующих денег, церковных ценностей, не имеющих богослужебного характера, продовольствия, вещей, займа, а нужды голодающих, умирающих от голода братьев наших, означенными источниками покрыты не будут, тогда я признаю за собой и моральное и каноническое право обратиться к верующим с призывом пожертвовать на спасение погибающих и остальное церковное достояние, вплоть до священных сосудов, и исходатайствовать на такое пожертвование благословение Святейшего Патриарха,

3) только при указанной в параграфах 1 и 2 самостоятельной организации благотворительной деятельности Церкви и возможное каноническое разрешение вопроса дает возможность обращения церковных священных ценностей на помощь голодающим. Немедленное же изъятие священных предметов без предшествующего ему использования Церковью всех других доступных ей средств благотворения является делом неканоничным и тяжким грехом против Святой Церкви, призвать на которое паству значило бы обречь себя на осуждение Святой Церкви и верующего народа,

4) настаивая на предоставлении Церкви права самостоятельной организации помощи голодающим, я исходил из предположения, что нужды голодающих столь велики, что Церковь вынуждена будет при развитии своей благотворительной деятельности отдать на голодающих и самые священные предметы, использовать которые по канонам и святоотеческим примерам только и может непосредственно сама Церковь. Если же предоставление Церкви самостоятельности в деле помощи голодающим будет признано почему-либо нежелательным, то тогда Церковь, отказываясь, в силу канонической для себя невозможности, от передачи священных предметов, все же примет самое широкое участие в помощи голодающим, да только путем сборов денег, продовольствия, вещей и церковных ценностей, не имеющих богослужебного характера, и передаст гражданской власти все собранные суммы и предметы для израсходования их на голодающих и без требования даже какого-либо контроля со стороны Церкви.

Там, где свободе архипастыря и верующего народа не положено предела, мы можем пойти даже дальше, чем это принято в обычных формах общественной жизни. Где же она встречается с ясными и твердыми указаниями канонов, там для нее нет выбора в способе исполнения своего долга и я, и верующий народ, послушный Святой Церкви, должны исполнить этот долг вопреки всяким требованиям, тем более, что самое дело помощи голодающим от этого нисколько не пострадает, а лишь изменится форма вспомоществования церковными ценностями, которые будут использованы для голодающих, но только не через чуждых Церкви лиц, а через освященные руки пастырей и архипастырей Церкви,

5) если бы указанное в сем положение мое о предоставлении Церкви права самостоятельной организации помощи голодающим гражданскими властями было принято, то мною немедленно был бы представлен проект церковной организации помощи голодающим на рассмотрение и утверждение его гражданской властью. Если же такого согласия не последует и равным образом Церкви не будет предоставлено право благотворения и в ограниченной форме, то тогда мои представители из комиссии будут мною немедленно отозваны, так как работать они мною уполномочены только в комиссии помощи голодающим, а не в комиссии по изъятию церковных ценностей, участие в которой равносильно содействию отобранию церковного достояния, определяемому Церковью как акт святотатственный.

Если бы слово мое о предоставлении Церкви права самостоятельной помощи голодающим на изъясненных в сем основаниях услышано не было и представители власти, в нарушение канона Святой Церкви, поступили бы без согласия ее архипастыря к изъятию ее ценностей, то я вынужден буду обратиться к верующему народу с указанием, что таковой акт мною осуждается как кощунственно-святотатственный, за участие в котором миряне, по канонам Церкви, подлежат отлучению от Церкви, а священнослужители извержением из сана.

ВЕНИАМИН,
Митрополит Петроградский

12 марта 1922 г.

Последнее слово

на суде
4 июля 1922 года

Второй раз в своей жизни мне приходится предстать пред народным судом. В первый раз я был на суде народном пять лет тому назад, когда в 1917 году происходили выборы митрополита петроградского. Тогдашнее временное правительство и высшее духовенство меня не хотели — их кандидатом был преосвященный Андрей Ухтомский. Но приходские собрания и рабочие на заводах назвали мое имя. И вот в зале «Общества религиозно-нравственного просвещения», где присутствовало около 1 500 человек, я был, вопреки своему собственному желанию, избран подавляющим большинством голосов в митрополиты петроградские. Почему это произошло? Конечно, не потому, что я имел какие-либо большие достоинства по сравнению с другими высокими иерархами, тоже кандидатами на этот высокий пост, а только потому, что меня хорошо знал простой петроградский народ, так как я в течение 23 лет перед этим учил и проповедовал в церквах на окраинах Петрограда.

И вот, пять лет я в сане митрополита работал для народа и на глазах народа и, служа ему, нес в народные массы только успокоение и мир, а не ссору и вражду. Я был всегда лоялен по отношению к гражданской власти и никогда не занимался никакой политикой. И советская власть, по-видимому, это вполне понимала, так как я никогда не получал запрещения ни в совершении богослужения, ни в праве объезда епархии. И в последний год, когда начался тяжелый вопрос об изъятии ценностей, было то же самое: власть вступала со мной в переговоры, принимала мои послания и отвечала на них, а 10 апреля на страницах своей печати поместила мое воззвание к верующим.

Так продолжалось дело до 28 мая, когда вдруг неожиданно я оказался в глазах власти врагом народа и опасным контрреволюционером. Я, конечно, отвергаю все предъявленные ко мне обвинения, еще раз торжественно заявляю (ведь, быть может, я говорю последний раз в своей жизни), что политика была мне совершенно чужда, я старался по мере сил быть только пастырем душ человеческих. И теперь, стоя перед судом, я спокойно дожидаюсь его

приговора, каков бы он ни был, хорошо помня слова апостола: «Берегитесь, чтобы вам не пострадать, как злодеям, а если кто из вас пострадает, как христианин, то благодарите за это Бога» (I Петра IV; 15—16).

Предсмертное письмо

к одному из благочинных
Петроградской епархии,
написанное митрополитом в тюрьме
за несколько дней до расстрела

В детстве и отрочестве я зачитывался Житиями Святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те и не придется переживать, что они переживали. Времена переменились, открывается возможность терпеть ради Христа от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий, избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступить этот рубикон, границу, и всецело предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда человек избыточествует утешением, не чувствует самых тяжких страданий, полный среди страданий внутреннего покоя, он и других влечет на страдания, чтобы они переняли то состояние, в каком находится счастливый страдалец. Об этом я ранее говорил другим, но мои страдания не достигали полной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все: тюрьму, суд, общественное заплевание, обречение и требование смерти, якобы народные аплодисменты, людскую неблагодарность, продажность, непостоянство и тому подобное, беспокойство и ответственность за судьбу других людей и даже за самою Церковь.

Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше, больше ее иметь надо нам, пастырям. Забыть свои самонадеянность, ум, ученость и силы и дать место благодати Божией.

Странны рассуждения некоторых, может быть и выдающихся пастырей, разумению Платонова, — надо хранить живые силы, то есть их ради поступаться всем. Тогда Христос на что? Не Платоновы, Чепурины, Вениамины и тому подобные спасают Церковь, а Христос. Та точка, на которую они пытаются встать, — погибель для Церкви. Надо себя не жалеть для Церкви, а не Церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда. Люди и ради политических убеждений жертвуют всем. Посмотрите, как держат себя эс-эры и т. п. Нам ли, христианам, да еще иереям, не проявлять подобного мужества даже до смерти, если есть сколько-нибудь веры во Христа, в жизнь будущего века!

Трудно давать советы другим. Благочинным нужно меньше решать, да еще такие кардинальные вопросы. Они не могут отвечать за других. Нужно заключиться в пределы своей малой приходской церкви и быть в духовном единении с благодатным епископом. Нового поставления епископов таковыми признать не могу. Вам ваша пастырская совесть подскажет, что нужно делать. Конечно вам оставаться в настоящее время должностным официальным лицом благочинным едва ли возможно. Вы должны быть таковым руководителем без официального положения.

Благословение духовенству!

Пишу, что на душе. Мысль моя несколько связана переживанием многих тревожных дней. Поэтому не могу распространяться относительно духовных дел.

●

Под андреевским флагом

История XVIII столетия знает двух флотоводцев мировой величины — это русский Федор Ушаков и англичанин Горацио Нельсон. Однако, как это, увы, нередко у нас бывает, об иноземном герое (вплоть до его драматических взаимоотношений с леди Гамильтон) мы наслышаны гораздо больше...

«Что делать, — говорил на представлении своей книги об адмирале Ушакове В. Ганичев, — если мы вообще оставили в тени целую эпопею российской истории, борьбу России по «прорубанию южного окна» в Европу...» Где уж тут было вспомнить о прогремевшем победами у Тендры, Калиакрии, Корфу, одном из главных создателей Черноморского флота Ф. Ф. Ушакове, бесспорно, самой яркой звезде отечественного флота. Тем более, что Федор Федорович никогда не состоял в каких-либо модных тайных обществах, никогда не был носителем «прогрессивных» идей (это не касается его профессии, где он, напротив, подобно Суворову на суше, поднял военно-морское искусство на высшую тогда ступень). Более того, при предыдущих упоминаниях об адмирале в послереволюционное время умалчивалось о незыблемых основах его мировоззрения — монархизме и православной вере. Не упоминалось об огромном влиянии, оказанном на юного Ушакова его дядей, впоследствии настоятеле одного из монастырей, о том, что адмирал был широко известен своим благочестием и благотворительностью на нужды церкви и «нищей братии», на что и ушли все его денежные средства.

В основанной на редких архивных документах книге В. Ганичева рассказано о перипетиях дипломатической борьбы того времени, о главных сражениях Ф. Ушакова, есть в книге и главы «Его капитаны», «Его моряки», «Его корабли». Раскрываются и причины неприязни к Ушакову Нальсона, что было вызвано как приоритетом русского адмирала в применении наиболее эффективных приемов морского боя, так и тем, что Ушаков никогда не нарушал данного им слова и не запятнал своего имени избиением беззащитного противника.

Наконец-то книга об Ушакове вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Справедливость восстановлена. Объявлено и о создании Ушаковского общества, одной из задач которого является подготовка к 250-летию со дня рождения флотоводца.

А. ТИМОФЕЕВ

Ганичев В. Н. УШАКОВ. — М.: Мол. гвардия, 1990.

М. А. БУЛГАКОВ



Дело было в Грибоедове

К десяти часам вечера в так называемом доме Грибоедова, а верхнем этаже, в кабинете товарища Михаила Александровича Берлиоза собралось человек одиннадцать народу. Народ этот отличался необыкновенной разношерстностью. Так, один был в хорошем, из парижской материи, костюме и крепкой обуви, тоже французского производства. Это был председатель секции драматургов — Бескудников. Другой, в белой рубахе без галстука и в белых летних штанах с пятном от яичного желтка на левом колене. Помощник председателя той же секции Понырев. Обувь на Поныреве была рваная. Батальный беллетрист Почкин, Александр Павлович, почему-то имел при себе цейсовский бинокль в футляре и одет был а защитном. Некогда богатая купеческая дочь Доротея Савишна Непременова подписывалась псевдонимом «Боцман-Жорж» и писала военно-морские пьесы, из которых ее последняя «Австралия горит» с большим успехом шла в одном из театров за Москва-рекой. У Боцмана-Жоржа голова была в кудряшках. На Боцман-Жорже была засаленная шелковая кофточка старинного фасона и кривая юбка. Боцман-Жоржу было 66 лет.

Секция скетчей и шуток была представлена небритым человеком, облеченным в пиджак поверх майки и в ночных туфлях.

Поэтов представлял молодой человек с жестоким лицом. На нем солдатская куртка и фрачные брюки. Туфли белые.

Были и другие.

Вся компания очень томилась, курила, хотела пить. В открытые окна не проникала ни одна струя воздуха. Москва как наполнилась зноем за день, так он и застыл, и было понятно, что ночь не принесет отдохновения.

— Однако, вождь-то наш запаздывает, — вольно пошутил поэт с жестоким лицом — Житомирский.

Тут в разговор вступила Секлетия Савишна и заметила густым баритоном:

— Хлопец на Клязьме закупался.

— Позвольте, какая же Клязьма? — холодно заметил Бескудников и вынул из кармана плоские заграничные часы. И часы эти показали...

. . . .

Тогда стали звонить на Клязьму, и прокляли жизнь. Десять минут не соединялось с Клязьмой. Потом на Клязьме женский голос арал какую-то чушь а телефон. Потом вообще не с той дачей соединили. Наконец соединились с той, с какой было нужно, и кто-то далекий сказал, что товарища Цыганского вообще не было на Клязьме. В четверть двенадцатого произошел бунт в кабинете товарища Цыганского, и поэт Житомирский заметил, что товарищ Цыганский мог бы позвонить, если обстоятельства не позволяют ему прибыть на заседание.

Но товарищ Цыганский никому и никуда не мог позвонить. Цыганский лежал на трех цинковых столах под режущим светом прожектороа. На первом столе — окровавленное туловище, на втором — голова с выбитыми передними зубами и выдавленным глазом, на третьем — отрезанная ступня, из которой торчали острые кости, а на четвертом — груда тряпья и документы, на которых засохла кровь. Возле первого стола стояли профессор судебной медицины, прозектор в коже и в резине и четыре человека в военной форме с малиновыми нашивками, которых к зданию морга, в десять минут покрыв весь город, примчала открытая машина с сияющей борзой на радиаторе. Один из них был с четырьмя ромбами на воротнике.

Стоящие возле столов обсуждали предложение прозектора — струнами пришить голову к туловищу, на глаз надеть черную повязку, лицо загримировать, чтобы те, которые придут поклониться праху погибшего командора Миолита, не содрогались бы, глядя на изуродованное лицо.

Да, он не мог позвонить, товарищ Цыганский. И в половину двенадцатого собравшиеся на заседание разошлись. Оно не состоялось совершенно так, как и сказал иезнакомец на Патриарших Прудах, ибо заседание величайшей важности, посвященное вопросам мировой литературы, не могло состояться без председателя товарища Цыганского. А председательствовать тот человек, у которого документы залиты кровью, а голова лежит отдельно, — не может. И все разошлись кто куда.

А Бескудников и Боцман-Жорж решили спуститься вниз, а ресторан, чтобы закусить на сон грядущий.

Писательский ресторан помещался в этом же доме Грибоедова (дом назван был Грибоедовским, так как по преданию он принадлежал некогда тетке Грибоедова. Впрочем, кажется, никакой тетки у Грибоедова не было) в подвале и состоял летом из двух отделений — зимнего и летней веранды, над которою был устроен навес.

Ресторан был любим бесчисленными московскими писателями до крайности, и не одними, впрочем, писателями, а также и артистами, а также и лицами, профессии которых были неопределимы, даже и при длительном знакомстве.

Продолжение. Начало в № 4/1991.

В ресторане можно было получить все те блага, кои в повседневной своей жизни на квартирах люди искусства были в значительной степени лишены. Здесь можно было съесть порцию икорки, положенной на лед, потребовать себе плотный бифштекс по-деревенски, закусить ветчинкой, сардинами, выпить водочки, закрыть ужин кружкой великолепного ледяного пива. И все это вежливо, на хорошую ногу, при расторопных официантах. Ах, хорошо пиво в июльский зной!

Как-то расправлялись крылья под тихий говорок официанта, рекомендующего прекрасный рыбец, начинало казаться, что это все так, ничего, что это как-нибудь уладится.

Мудреного нет, что к полуночи ресторан был полон и Бескудникоа, и Боцман-Жорж, и многие еще, кто пришел поздновато, места на веранде, а саду уже не нашли, и им пришлось сидеть в зимнем помещении в духоте, где на столах горели лампы под разноцветными зонтами.

К полуночи ресторан загудел. Поплыл табачный дым, загремела посуда. А ровно в полночь в зимнем помещении, в подвале, в котором потолки были расписаны ассирийскими лошадьми с завитыми гривами, вкрадчиво и сладко ударил рояль, и в две минуты нельзя было узнать ресторана. Лица дрогнули и засветились, заулыбались лошади, кто-то спел «Аллилуйя», где-то с музыкальным звоном разлетелся бокал, и тут же а подвале и на веранде заплясали. Играл опытный человек. Рояль разражался громом, затем стихал, потом с тонких клавиш начинали сыпаться отчаянные, как бы предсмертные петушиные крики. Плясал солидный беллетрист Дорофеин, плясали какие-то бледные женщины, все одеяние которых состояло из тоненького куска дешевого шелка, который можно было смять в кулак и положить в карман, плясала Боцман-Жорж с поэтом Гречкиным Петром, плясал какой-то приезжий из Ростова Каротояк, самородок Иоанн Кронштадтский — поэт, плясали молодые люди неизвестных профессий, с холодными глазами.

Последним заплясал какой-то с бородой, с пером зеленого лука в этой бороде, обняв тощую девочку лет шестиадцати с порочиым лицом. В волнах грома слышно было, как кто-то кричал командным голосом, как в рупор, «пожарские, раз!»

И в полночь было видение. Пройдя через подвал, вышел на веранду под тент красавец во фраке, остановился и властным взглядом оглядел свое царство. Он был хорош, бриллиантовые перстни сверкали на его руках, от длинных ресниц ложилась тень у горделивого носа, острая холеная борода чуть прикрывала белый галстук.

И утверждал новеллист Козовертов, известный лгун, что будто бы этот красавец некогда носил не фрак, а белую рубаху и кожаные штаны, за поясом которых торчали пистолеты, и воронова крыла голова его была повязана алой повязкой, и плавал он в Караибском море, командуя бригом, который ходил под гробовым флагом — черным с белой адамовой головой.

Ах, лжет Козовертов, и нет никаких Караибских морей, не слышен плеск за кормой, и не плывут отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними английский корвет, тяжко бухая над волной из пушек. Нет, нет, ничего этого нет! И плавится лед в стеклянной вазочке, и душно, и странный страх вползает а душу.

Но никто, никто из плясавших еще не знал, что ожидает их!

В десять минут первого фокстрот грохнул и прекратился, как будто кто-то нож всадил в сердце пианиста, и тотчас фамилия «Берлиоз» запорхала по ресторану. Вскакивали, вскрикивали, кто-то воскликнул: «Не может быть!» Не обошлось и без некоторой ерунды, объясняемой исключительно смятением. Так, кто-то предложил спеть Вечную память, правда, вовремя остановили. Кто-то воскликнул, что нужно куда-то ехать. Кто-то предложил послать коллективную телеграмму. Тут же змейкой порхнула сплетня и как венчиком обвила покойного. Первое — неудачная любовь. Акушерка Кандалаки. Аборт. Самоубийство (автор — Боцман-Жорж).

Второе — шепоток: впал а уклон.....

Иванушка в лечебнице

.... и внезапными вспышками буйства, конечио, не было. В здании было триста совершенно изолированных одиночных палат, причем каждая имела отдельную ванну и уборную. Этого, действительно, нигде в мире не было, и приезжавших в Союз знатных иностранцев специально возили в Барскую рощу показывать им все эти чудеса. И те, осмотревши лечебницу, писали восторженные статьи, где говорили, что они никак не ожидали от большевиков подобных прелестей, и заключали статьи несколько неожиданными и имеющими лишь отдаленное отношение к психиатрии выводами о том, что не мешало бы вступить с большевиками в торговые отношения.

Иванушка открыл глаза, присел на постели, потер лоб, огляделся, стараясь понять, почему он находится в этой светлой комнате. Он вспомнил вчерашнее прибытие, от этого перешел к картине ужасной смерти Берлиоза, причем она вовсе не вызвала в нем прежнего потрясения. Он потер лоб еще раз, печально вздохнул, спустил босые ноги с кровати и увидел, что а столик, стоящий у постели, вделана кнопка звонка. Вовсе не потому, что он в чем-нибудь нуждался, а просто по привычке без надобности трогать различные предметы, Иванушка взял и позвонил.

Дверь в его комнату открылась и вошла толстая женщина в белом халате.

— Вы звонили? — спросила она с приятным изумлением. — Это хорошо. Проснулись? Ну, как вы себя чувствуете?

— Засадили, стало быть, меня? — без всякого раздражения спросил Иванушка. На это женщина ничего не ответила, а спросила:

— Ну, что ж, ванну будете брать?

Тут она взялась за шнур, какая-то занавеска поехала в сторону, и в комнату хлынул дневной свет. Иванушка увидел, что та часть комнаты, где было окно, отделена легкой белой решеткой в расстоянии метра от окна.

Иванушка посмотрел с какою-то тихой и печальной иронией на решетку, но ничего не заметил и подчинился распоряжениям толстой женщины. Он решил поменьше разговаривать с нею. Но все-таки, когда побывал в ванне, где было все, что нужно культурному человеку, кроме зеркала, не удержался и заметил:

— Ишь, как в гостинице.

Женщина горделиво ответила:

— Еще бы. В Европе нигде нет такой лечебницы. Иностранцы каждый день приезжают смотреть.

Иванушка посмотрел на нее сурово исподлобья и сказал:

— До чего вы все иностранцев любите! А они разные бывают. — Но от дальнейших разговоров уклонился. Ему принесли чай, а после чаю повели по беззвучному коридору мимо бесчисленных белых дверей на осмотр. Действительно, было как в первоклассной гостинице — тихо, и казалось, что никого и нет в здании. Одна встреча, апрочем, произошла. Из одной из дверей две женщины вывели мужчину, одетого, подобно Иванушке, а белье и белый халатик. Этот мужчина, столкнувшись с Иванушкой, засверкал глазами, указал перстом на Иванушку и возбужденно вскричвл:

— Стоп! Деникинский офицер!

Он стал шарить на пояске халатика, нашел игрушечный револьвер, скомандовал сам себе:

— По белобандиту, огонь!

И выстрелил несколько раз губами: «Пиф! Паф! Пиф!»

После чего прибавил:

— Так ему и надо!

Одна из сопровождающих прибавила:

— И правильно! Пойдемте, Тихон Сергеевич!

Стрелявшему опять приладили револьверик на поясок и с необыкновенной быстротой его удалили куда-то.

Но Иванушка расстроился.

— На каком основании он назвал меня белобандитом?

— Да разве можно обращать внимание, что вы, — успокоила его толстая женщина, — это больной. Он и меня раз застрелил! Пожалуйте в кабинет.

В кабинете, где были сотни всяких блестящих приборов, каких-то раскидных механических стульев, Ивана приняли два врача и подвергли подробнейшему сперва расспросу, а затем осмотру. Вопросы они задавали неприятные: не болел ли Иван сифилисом, не занимался ли онанизмом, бывали ли у него голоаные боли, спрашивали, отчего умерли его родители, пил ли его отец. О Понтии Пилате никаких разговоров не было.

Иван положил так: не сопротивляться этим даум и, чтобы ие ронять собственного достоинства, ни о чем не расспрашивать, так как явно совершенно, что толку никакого ие добьешься.

Подчинился и осмотру. Врачи заглядывали Ивану в глаза и заставляли следить за пальцем доктора. Велели стоять на одной ноге, закрыа глаза, молотками стукали по локтям и коленям, через длинные трубки выслушивали грудь. Надевали какие-то браслеты на руки и из резиновых груш куда-то накачивали воздух. Посадили иа холодную клеенку и кололи а спину, а затем какими-то хитрыми приемами выточили из руки Ивана целую пробирку прелестной, как масляная краска, крови и куда-то ее унесли.

Иванушка, полуголый, сидел с обиженным видом, опустив руки, и молчал. «Вся эта буза...», как подумал он, была не нужна, всё это глупо, но он решил дождаться чего-то, что непременно в конце концов произойдет, когда можно будет разъяснить томившие его вопросы. Этого времени он дождался. Примерно в два часа дня, когда Иван, напившись бульону, полеживал у себя на кровати, двери его комнаты раскрылись необыкновенно широко и вошла целая толпа людей в белом, а в числе их толстая. Впереди всех шел высокий бритый, похожий на артиста, лет сорока с лишним. За ним пришли помоложе. Тут откинули откидные стулья, уселись, после того как бритому подкатили кресло на колесиках.

Иван испуганно сел на постели.

— Доктор Стравинский, — приветливо сказал бритый и протянул Ивану руку.

— Вот, профессор, — негромко сказал один из молодых и подал бритому лист, уже кругом исписанный. Бритый Стравинский обрадованно и быстро пробежал первую страницу, а молодой заговорил с ним на неизвестном языке, ио Иван яано расслышал слово «фурибунда».

Он сильио дрогнул, но удержался и ничего не сказал.

Профессор Стравинский был знаменитостью, но кроме того, по-видимому, большим и симпатичным оригиналом. Вежлив он был беспредельно и, сколько можно понять, за правило взял соглашаться со всеми людьми в мире и все одобрять. Ординатор бормотал и пальцем по листу водил, а Стравинский на все кивал головой с веселыми глазами и говорил: «Слаяно, славно, так». И еще что-то ему говорили и опять он бормотал: «Славно!»

Отбормотавшись, он обратился к Ивану с вопросом:

— Вы — поэт?

— Поэт, — буркнул Иван. — Мне нужно с вами поговорить.

— К вашим услугам, с удовольствием, — ответил Стравинский.

— Каким образом, — спросил Иаан, — человек мог с Понтием Пилатом разговаривать?

— Современный?

— Ну да, вчера я его видел.

— Пилат... Пилат... Пилат — это при Христе? — спросил ординатора Стравинский.

— Да.

— Сам говорил, что с иим разговаривал? — спросил Стравинский.

— Да.

— Надо полагать, — улыбаясь сказал Стравинскии, — что он выдумал это.

— Так, — отозвался Иванушка, — а каким образом он заранее все знает?

— А что именно он знал заранее? — ласково спросил Стравинский.

— Вот что: вообразите, Мишу Берлиоза зарезало трамваем. Голову отрезало, а он заранее говорит, что голову отрежет. Это номер первый. Номер второй: это что такое «фурибунда»? А? — спросил Иван, прищурившись.

— Фурибунда значит — яростная, — очень внимательно слушая Ивана, объяснил Стравинский.

— Это про меня. Так. Ну так вот, он мне вчера говорит, когда будете а сумасшедшем доме, спросите, что такое фурибунда? А? Это что значит?

— Это вот что значит. Я полагаю, что он заметил в вас какие-либо признаки ярости. Он не врач, этот предсказатель?

— Никакой у меня ярости не было тогда, а арач, уж он такой врач! Не поздоровится от этого врача! — выразительно говорил Иван. — Да! — воскликнул он: — а постное масло-то? Говорит: вы не будете на заседании, потому что Аннушка уже разлила масло! Мы удивились. — А потом: готово дело! — действительно, Миша поскользнулся на этом самом Аннушкином масле! Откуда же он Аннушку знает?

Ординаторы, на откидных стульях сидя, глаз не спускали с Иванушки.

— Понимаю, понимаю, — сказал Стравинский, — но почему вас удивляет, что он Аннушку знает?

— Не может он знать никакой Аннушки! — возбужденно воскликнул Иван, — я и говорю, его надо немедленно арестовать!

— Возможно, — сказал Стравинский, — и, если в этом есть надобность, власти его арестуют. Зачем вам беспокоить себя? Арестуют и слаано!

«Все у него славно, славно!» — раздраженно подумал Иван, а вслух сказал:

— Я обязан его поймать, я был свидетелем! А вместо него меня засадили, да еще двое ваших бузотеров спину колят! Сумасшествие и буза дикая!

При слове «бузотеры» врачи чуть-чуть улыбнулись, а Стравинский заговорил очень серьезно.

— Я все понял, что вы сказали и позвольте дать вам совет: отдохните здесь, не волнуйтесь, не думайте об этом, как его фамилия?...

— Не знаю я, вот в чем горе!

— Ну, вот. Тем более. Об этом неизвестном не думайте, и вас уверяю честным словом, что вы таким образом скорее поймаете его.

— Ах, меня, значит, задержат здесь?

— Нет-с, — ответил Стравинский, — я вас не держу. Я не имею права задерживать нормального человека а лечебнице. Тем более, что у меня и мест не хватает. И я вас сию же секунду выпущу, если только вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, поймите, а только скажете. Итак, вы — нормальны?

Наступила полнейшая тишина, и толстая благоговейно глядела на профессора, а Иван подумал: «Однако, этот действительно умен!»

Он подумал и ответил решительно:

— Я — нормален.

— Вот и славно. Ну, если вы нормальны, так будем же рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день, — тут Стравинский вооружился исписанным листом. — В поисках неизвестного человека вы вчера произвели следующие действия, — Стравинский начал загибать пальцы на левой руке. — Прикололи себе иконку на грудь английской булавкой. Бросали камнями в стекла. Было? Было. Били дворника, виноват, швейцара. Явились в ресторан в одном белье. Побили там одного гражданина. Попав сюда, вы звонили в Кремль и просили дать стрельцов, которых в Москве, как всем известно, нет! Затем бросились головой в окно и ударили санитара. Спрашиваются две вещи. Первое: возможно ли при этих условиях кого-нибудь поймать? Вы человек иормальный и сами ответите — никоим образом! И второе: где очутится человек, произведший все эти действия? Ответ, опять-таки, может быть только одии: он иеизбежио окажется именно здесь! — и тут Стравинский широко об-



вел рукой комнату. — Далее-с. Вы желаете уйти? Пожалуйста. Я немедленно вас выпущу. Но только скажите мне: куда вы отправитесь?

— В ГПУ!

— Немедленно?

— Немедленно.

— Так-таки прямо из лечебницы?

— Так-таки прямо!

— Славно! И скажите, что вы скажете служащим ГПУ, самое важное, в первую голову, так сказать?

— Про Понтия Пилата! — веско сказал Иван. — Это самое важное.

— Ну и славно, — окончательно покоренный Иванушкой, воскликнул профессор и, обратившись к ординатору, приказал: — благоволите немедленно Попова выписать в город. Эту комнату не занимать, белье постельное не менять, через два часа он будет здесь. Ну, всего доброго, желаю вам успеха в ваших поисках.

Он поднялся, а за ним поднялись ординаторы.

— На каком основании я опять буду здесь?

— На том основании, — немедленно усевшись опять, объяснил Стравинский, — что, как только вы, явившись в ковбойке и кальсонах в ГПУ, расскажете хоть одно слово про Понтия Пилата, который жил две тысячи лет назад, как механически, через час, в чужом пальто, будете привезены туда, откуда вы уехали, к профессору Стравинскому — то есть ко мне и в эту же самую комнату!

— Кальсоны? — спросил смятенно Иванушка.

— Да, да, кальсоны и Понтий Пилат! Белье казенное. Мы его снимем. Да-с. А домой вы не собирались заехать. Да-с. Стало быть, в кальсонах. Я вам своих брюк дать не могу. На мне одна пара. А далее — Пилат. И дело готово!

— Так что же делать? — спросил потрясенный Иван.

— Славно! Это резонный вопрос. Вы, действительно, нормальны. Делать надлежит следующее. Использовать выгоды того, что вы попали ко мне и прежде всего разъяснить Понтия Пилата. В ГПУ вас и слушать не станут, примут за сумасшедшего. Во-вторых, на бумаге изложить все, что вы считаете обвинительным для этого таинственного неизвестного.

— Понял, — твердо сказал Иван, — прошу бумагу, карандаш и Евангелие.

— Вот и славно! — заметил покладистый профессор, — Агафья Ивановна, выдайте, пожалуйста, товарищу Попову Евангелие.

— Евангелия у нас нет в библиотеке, — сконфуженно ответила толстая женщина.

— Пошлите купить у букиниста, — распорядился профессор, а затем обратился к Ивану: — не напрягайте мозг, много не читайте и не пишите. Погода жаркая, сидите побольше в тепловатой ванне. Если станет скучно, попросите ординатора!

Стравинский пожал руку Ивану и [началось] белое шествие...

К вечеру пришла черная туча в Бор, роща зашумела, похолодало. Потом — удары грома и начался ливень. У Ивана за решеткой открыли окно, и он долго дышал озоном.

Иванушка не совсем точно последовал указаниям профессора и долго ломал голову над тем, как составить заявление по поводу необыкновенного консультанта.

Несколько исписанных листов валялись перед Иваном, клочья таких же листов под столом показывали, что дело не клеилось. Задача Ивана была очень трудна. Лишь только он попытался перенести на бумагу события вчерашнего вечера, решительно все запуталось. Загадочные фразы о намерении жить в квартире Берлиоза не вязались с рассказом о постном масле, о мании фурибунде, да и вообще все это оказалось ужасно бледным и бездоказательным. Никакая болтовня об Аннушке и ее полкиловой банке в сущности нисколько еще не служила к обвинению неизвестного.

Кот, садящийся самостоятельно в трамвай, о чем тоже упоминал в бумаге Иван, вдруг показался даже самому ему невероятным. И единственно, что было серьезно, что сразу указывало на то, что неизвестный странный, даже страннейший и вызывающий чудовищные подозрения человек, это знакомство его с Понтием Пилатом. А в том, что знакомство это было, Иван теперь не сомневался.

Но Пилат уже тем более ни с чем не вязался. Постное масло, удивительный кот, Аннушка, квартира, телеграмма дяде — смешно, право, было все это ставить рядом с Понтием Пилатом.

Иван начал тревожиться, вздыхать, потирать лоб руками. Порою он устремлял взор вдаль. Над рощей грохотало как из орудий, молнии вспарывали потрясенное небо, в лес низвергался океан воды. Когда струи били в подоконник, водяная пыль даже сквозь решетку долетала до Ивана. Он глубоко вдыхал свежесть, но облегчения не получил.

Растрепанная библия с золотым крестом на переплете лежала перед Иваном. Когда кончилась гроза и за окном настала тишина, Иван решил, что для успеха дела необходимо узнать хоть что-нибудь об этом Пилате.

Несмотря на то, что Иван был малограмотным человеком, он догадался, где нужно искать сведений о Пилате и о неизвестном.

Но Матфей мало чего сказал о Пилате и заинтересовало Ивана только то, что Пилат умыл руки. Примерно то же, что и Матфей, рассказал Марк. Лука же утверждал, что Иисус был на допросе не только у Пилата, но и у Ирода, Иоанн говорил о том, что Пилат задал вопрос Иисусу о том, что такое истина, но ответа на это не получил.

В общем, мало узнал об этом Пилате Иван, а следов неизвестного возле Пилата и совсем не отыскивалось. Так что возможно, что он произнес ложь и никогда и не видел Пилата.

Вздумав расширить свое заявление в той части, которая касалась Пилата, Иванушка ввел кое-какие подробности из Евангелия Иоанна, но запутался еще больше и в бессилии положил голову на свои листки.

Тучи разошлись, в окно сквозь решетку был виден закат. Раздвинутая в обе стороны штора налилась светом, один луч проник в камеру и лег на страницы пожелтевшей библии.

Оставив свои записи, Иванушка до вечера лежал неподвижно на кровати, о чем-то думая. От еды от отказался и в ванну не пошел. Когда же наступил вечер, он затосковал. Он начал расхаживать по комнате, заламывая руки, один раз всплакнул. Тут к нему пришли. Ординатор стал расспрашивать его, но Иван ничего не объяснил, только всхлипывал, отмахивался рукою и ложился ничком в постель. Тогда ординатор сделал ему укол в руку и попросил разрешения взять прочесть написанное Иваном. Иван сделал жест, который показывал, что ему все равно, ординатор собрал листки и клочья и унес их с собой.

Через несколько минут после этого Иван зевнул, почувствовал, что хочет задремать, что его мало уже тревожат его мысли, равнодушно глянул в открытое окно, а котором все гуще высыпали звезды и стал, ежась, снимать халатик. Приятный холодок прошел из затылка под ложечку, и Иван почувствовал удивительные вещи. Во-первых, ему показалось, что звезды в выси очень красивы. Что в больнице, по сути дела, очень хорошо, а Стравинский очень умен, что в том обстоятельстве, что Берлиоз попал под трамвай, ничего особенного нет, и что, во всяком случае, размышлять об этом много нечего, ибо это непоправимо, и, наконец, что единственно важное во всем вчерашнем, это встреча с неизвестным, и что вопрос о том, правда ли или неправда, что он видел Понтия Пилата, столь важный вопрос, что, право, стоит все отдать, даже, пожалуй, и самую жизнь.

Дом скорби засыпал к одиннадцати часам вечера. В тихих коридорах потухали белые матовые фонари, и зажигали дежурные голубые слабые ночники. Умолкали в камерах бреды и шопоты, и только в дальнем коридоре буйных до раннего летнего рассвета чувствовалась жизнь и возня.

Окно оставалось открытым на ночь, полное звезд небо виднелось в нем. На столике горел под синеватым колпачком ночничок.

Иван лежал на спине с закрытыми глазами и притворялся спящим каждый раз, как отворялась дверь и к нему тихо входили.

Мало-помалу, и это было уже к полуночи, Иван погрузился в приятнейшую дремоту, нисколько не мешавшую ему мыслить. Мысли же его складывались так: во-первых, почему это я так взволновался, что Берлиоз попал под трамвай?

— Да, ну его к черту... — тихо прошептал Иван, сам слегка дивясь своему приятному цинизму, — что я, сват ему, кум? И хорошо ли я знал покойного? Нисколько я его не знал. Лысый и всюду был первый, и без ничего не могло произойти. А внутри у него что? Совершенно мне неизвестно.

Почему я так взбесился? Тоже непонятно. Как бы за родного брата я готов был перегрызть глотку этому неизвестному и крайне интересному человеку на Патриарших. А между прочим, он и пальцем действительно не трогал Берлиоза и, очень возможно, что совершенно неповинен в его смерти. Но, но, но..., — сам себе возражал тихим сладким шопотом Иван, — а постное масло? А фурибунда?...

— Об чем разговор? — не задумываясь отвечал первый Иван второму Ивану, — знать вперед хотя бы и о смерти, это далеко не значит эту смерть причинить!

— В таком случае, кто же я такой?

— Дурак, — отчетливо ответил голос, но не первого и не второго Ивана, а совсем иной и как будто знакомый.

Приятно почему-то изумившись слову «дурак», Иван открыл глаза, но тотчас убедился, что голоса никакого в комнате нет.

— Дурак! — снисходительно согласился Иван, — дурак, — и стал дремать поглубже. Тут ему показалось, что веет будто бы розами и пальма качает махрами в окне...

— Вообще, — заметил по поводу пальмы Иван, — дело у этого... как его...Стравинского, дело поставлено на большой. Башковитый человек. Желтый песок, пальмы и среди всего этого расхаживает Понтий Пилат. Одно жаль, совершенно неизвестно, каков он, этот Понтий Пилат. Итак, на заре моей жизни выяснилось, что я глуп. Мне бы вместо того, чтобы документы требовать у неизвестного иностранца, лучше бы порасспросить его хорошенько о Пилате. Да. А с дикими воплями гнаться за ним по Садовой и вовсе не следовало! А теперь дело безвозвратно потеряно! Ах, дорого бы я дал, чтобы потолковать с этим иностранцем...

— Ну что же, я — здесь, — сказал тяжелый бас.

Иван, не испугавшись, приоткрыл глаза и тут же сел. В кресле перед ним, приятно окрашенный в голубоватый от колпачка свет, положив ногу на ногу и руки скрестив, сидел незнакомец с Патриарших Прудов. Иван тотчас узнал его по лицу и голосу. Одет же был незнакомец в белый халат, такой же, как у профессора Стравинского.

— Да, да, это я, Иван Николаевич, — заговорил неизвестный, — как видите, совершенно не нужно за мною гоняться. Я прихожу сам и как раз когда нужно, — тут неизвестный указал на часы, стрелки которых, слипшись, стояли вертикально, — полночь!

— Да, да, очень хорошо, что вы пришли. Но почему вы в халате? Разве вы доктор?

— Да, я доктор, но в такой же степени, как вы поэт.

— Я поэт дрянной, бузовый, — строго ответствовал Иван, обирая с себя невидимую паутину.

— Когда же вы это узнали? Еще вчера днем вы были совершенно иного мнения о своей поэзии.

— Я узнал это сегодня.

— Очень хорошо, — сурово сказал гость в кресле.

— Но прежде и раньше всего, — оживленно попросил Иван, — я желаю знать про Понтия Пилата. Вы говорили, что у него была мигрень?...

— Да, у него была мигрень. Шаркающей кавалерийской походкой он вошел в зал с золотым потолком.

Продолжение в следующем номере.

КОММЕНТАРИИ

Дело было в Грибоедове

С. 51. Народ этот отличался необыкновенной разношерстностью... — Видимо, Булгакову доставляло удовольствие поиздеваться над «писательским цехом». В черновых тетрадях писателя сохранился небольшой отрывок на эту тему из главы, которая была уничтожена.

«— Дант?! Да что же это такое, товарищи дорогие?! Кто? Дант! Ка-ккая Дант! Товарищи! Безобразие! Мы не допустим!

Взревело так страшно, что председатель изменился в лице. Жалобно тенькнул колокольчик, но ничего не помог.

В проход к эстраде прорвалась женщина. Волосы ее стояли дыбом, изо рта торчали золотые зубы. Она то заламывала костлявые руки, то била себя в изможденную грудь. Она была страшна и прекрасна. Она была та самая женщина, после появления которой и первых исступленных воплей толпа бросается на дворцы и зажигает их, сшибает трамвайные вагоны, раздирает мостовую и выпускает тучу камней, убивая...

Председатель, впрочем, был человек образованный и понял, что случилась беда.

— Я! — закричала женщина, страшно раздирая рот. — Я — Караулина, детская писательница! Я! Я! Я! Мать троих детей! Мать! Я! Написала, — пена хлынула у нее изо рта, — тридцать детских пьес! Я! Написала пять колхозных романов! Я шестнадцать лет, не покладая рук... Окна выходят в сортир, товарищи, и сумасшедший с топором гоняется за мной по квартире. И в! Я! Не попала в список! Товарищи!

Председатель даже не звонил. Он стоял, а правление лежало, откинувшись на спинки стула.

— Я! И кто же? Кто? Дант. Учившаяся на зубоврачебных курсах, Дант, танцующая фокстрот, попадает в список одной из первых. Товарищи! — закричала она тоскливо и глухо, возведя глаза к потолку, обращаясь, очевидно, к тем, кто уже покинул волчий мир скорби и забот. — Где же справедливость?!

И тут такое случилось, чего не бывало ни на одном собрании никогда. Товарищ Караулина, детская писательница, закусив кисть правой руки, на коей сверкало обручальное кольцо, завалилась на бок и покатилась по полу в проходе, как бревно, сброшенное с платформы.

Зал замер, но затем чей-то голос грозно рявкнул:

— Вон из списка!

— Вон! Вон! — загремел зал так страшно, что у председателя застыла в жилах кровь.

— Вон! В Гепеу этот список! — взмыл тенор.

— В Эркаи!

Караулину подняли и бросили на стул, где она стала трястись и всхрипывать. Кто-то полез на эстраду, причем все правление шарахнулось, но выяснилось, что он лез не драться, а за графином. И он же облил Караулиной кофточку, пытаясь ее напоить.

— Стоп, товарищи! — прокричал кто-то властно, и бушующая масса стихла.

— Организованно, — продолжал голос.

Голос принадлежал плечистому парню, вставшему в седьмом ряду. Лицо выдавало в нем заводилу, типичного бузотера, муристого парня. Кроме того, на лице этом было написано, что в списке этого лица нет.

— Товарищ председатель, — играя змеиными переливами, заговорил бузотер, — не откажите информировать собрание: к какой писательской организации принадлежит гражданка Беатриче Григорьевна Дант? Р-раз. Какие произведения написала упомянутая Дант? Два. Где означенные произведения напечатаны? Три. И каким образом она попала в список?

«Говорил я Перштейну, что этому сукиному сыну надо дать комнату», — тоскливо подумал председатель.

Вслух же спросил бодро:

— Все? — и неизвестно зачем позвонил в колокольчик.

— Товарищ Беатриче Григорьевна Дант, — продолжал он, — долгое время работала в качестве машинистки и помощника секретаря в кабинете имени Грибоедова.

Зал ответил на это сатанинским хохотом.

— Товарищи! — продолжал председатель, — будьте же сознательны! — Он завел угасающие глаза на членов правления и убедился, что те его предали.

— Покажите хоть эту Дант! — рявкнул некто. — Дайте полюбоваться!

— Вот она, — глухо сказал председатель и ткнув пальцем в воздух.

И тут многие встали и увидели в первом ряду необыкновенной красоты женщину.

Змеиные косы были уложены корзинкой на царственной голове. Профиль у нее был античный, также как и фас. Цвет кожи был смертельно бледный. Глаза были открыты, как черные цветы. Платье — кисейное желтое. Руки ее дрожали.

— Товарищ Дант, товарищи, — говорил председатель, — входит в одно из прямых колен известного писателя Данте, и тут же подумал: «Господи, что же это я отмочил такое?!»

Вой, грохот потряс зал. — Что-нибудь разобрать было трудно, кроме того, что Данте не Григорий, какие-то мерзости про колено и один вопль:

— Издевательство!

И крик:

— В Италию!!

— Товарищи! — закричал председатель, когда волна откатилась. — Товарищ Дант работает над биографией мадам Севинье!

— Вон!

— Товарищи! — кричал председатель безумно. — Будьте благоразумны. Она — беременна!

И почувствовал, что и сам утонул, и Беатриче утопил.

Но тут произошло облегчение. Аргумент был так нелеп, так странен, что на несколько мгновений зал закоченел с открытыми ртами. Но только на мгновения.

А затем — вой звериный:

— В родильный дом!

Тогда председатель понял, что не миновать открыть козырную карту.

— Товарищи! — вскричал он. — Товарищ Дант получила солидную авторитетную рекомендацию.

— Вот как! — прокричал кто-то...»

...В этом месте — обрыв текста. В другом варианте этой главы:

«Сильнее закурили. Кто-то зевал. Человек во френче и фрачных брюках рассказал, чтобы развлечь публику, анекдот, начинающийся словами: «Приходит Карл Радек в кабинет к ....». Анекдоту посмеялись, но в границах приличия, ибо анекдот был несколько вольного содержания. Один лишь Бескудников даже не ухмыльнулся и глядел в окно такими отсутствующими глазами, что нельзя было поручиться, рассказал он этот анекдот или нет.

Рассказы про Радека, как известно, заразительны, и маленький подвижный скетчист Ахилл рассказал, в свою очередь, о другом каком-то приключении Радека, но происшедшем уже не в кабинете, а на вокзале. Однако этому рассказу посмеялись уж совсем мало и тут же начали звонить по телефону».

Карл Радек принадлежал к тому ряду лиц (Троцкий, Ягода и прочие), к которому Булгаков испытывал особое чувство ненависти, презрения и омерзения (в анекдотах говорилось и о известной экстравагантности партийного публициста в интимных отношениях). К тому же Радек участвовал в травле писателя. Это хорошо видно из воспоминания писателя В. С. Ардова, хорошо знавшего Булгакова: «Роман («Белая гвардия») был встречен несправедливой бранью... Особенно усердствовал в осуждении «Дней Турбиных» театральный критик В. И. Блюм. Он занимал должность начальника отдела драматических театров Реперткома. По его протесту и обрушились на спектакль критики и начальники разных рангов. Театр апеллировал в ЦК партии.

Помню, я был в зале МХАТ на том закрытом спектакле, когда специальная комиссия, выделенная ЦК, смотрела «Дни Турбиных». Помню, как в антракте Карл Радек — член этой комиссии — говорил кому-то из своих друзей, делая неправильные ударения почти во всяком слове — так говорят по-русски уроженцы Галиции:

— Я счи́таю, что це́нзура пра́ва!»

С. 52. Сохранилось несколько вариантов описания «адских плясок» в писательском ресторане. Приведем ниже один из самых ранних:

«В аду плясали. Пар, дым плыли под потолком. Плясал Прусевич, Куплиянов; плясали Лучесов, Эндузизи, плясал самородок Евпл Бошкадиларский из Таганрога, плясали Карма, Картояи, Крупилина-Краснопальцева, плясал нотариус) плясали одинокие женщины в платьях с хвостами, плясал один в косоворотке, плясал художник Рогуля с женой, бывший регент Пороков, плясали молодые люди без фамилий, не художники и не писатели, не нотариусы и не адвокаты, в хороших костюмах, чисто бритые, с очень страдальческими глазами, плясали женщины на потолке и пели — «Аллилуйя!» Плясала полная, лет шестидесяти, Секлетея Гиацинтовна Непременова, некогда богатейшая купеческая внучка, ныне драматургесса, подписывающая свои полные огня произведения псевдонимом «Жорж-Матрос».

И был час десятый».

Для характеристики пляски, как дьявольского действа, Булгаков акцентирует внимание на пение женщинами на «потолке» фокстрота «Аллилуйя», написанного в двадцатые годы американским композитором Винсентом Юмансом, вероятно, в целях глумления над христианским богослужением.

Иванушка в лечебнице.

...и внезапными вспышками буйства... — Несколько листов с началом главы вырезаны ножницами.

Другой вариант этой главы, написанный Булгаковым 30 октября 1934 г. и называвшийся уже «Ошибка профессора Стравинского», начинался многозначительной авторской записью: «Дописать раньше, чем умереть!»

— Ишь, как в гостинице. — В других редакциях Булгаков называет гостиницы «Националь», «Метрополь» и «Астория». В ленинградской гостинице «Астория» Булгаков часто останавливался, бывая в этом городе. Здесь совершилось с ним несчастье в сентябре 1939 г. — он начал слепнуть. Е. С. Булгакова записала в дневнике 11 сентября: «Астория... чудесный номер... Гуляли. Не различал надписей на вывесках...» Запись следующего дня: «...Страшная ночь...» С этого момента болезнь стала стремительно развиваться.

— ...Стоп! Деникинский офицер! — В более позднем варианте этой же редакции:

«Одна встреча произошла случайно. Из белых дверей вывели маленькую женщину в белом халатике. Увидев Ивана, она взволновалась, вынула из кармана халатика игрушечный пистолет, навела его на Ивана и вскричала:

— Сознавайся, белобандит!

Иван нахмурился, засопел, а женщина выстрелила губами «Паф!», после чего к ней подбежали и увели ее куда-то за двери.

— На каком основании она назвала меня белобандитом?

Но женщина успокоила Ивана.

— Стоит ли обращать внимание. Она больная. Со всеми та́к разговаривает. Пожалуйте в кабинет».

С. 53. ...его надо немедленно арестовать! — В позднем варианте этой же редакции: «... этот страшный тип отнюдь не профессор и не консультант, а убийца и таинственная личность, обладающая необыкновенной силой, и задача заключается в том, чтобы его немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед в Москве.»

С. 54. ...прошу бумагу, карандаш и Евангелие. — В одном из последующих вариантов далее следовало:

«— А зачем Евангелие?

— Хочу проверить, правду ли он говорил?

— Ну что ж, — Стравинский обратился к толстой женщине, — выдайте Евангелие».

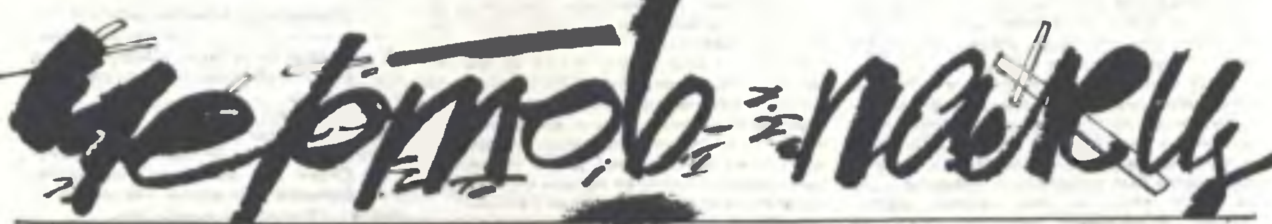
Публикация глав романа и комментарии Виктора Лосева.
Иллюстрация и оформление Олега Яруничева

ЛИТЕРАТУРА

РОМАН. ПОВЕСТЬ. РАССКАЗ.

Рассказ «Чертов палец» написан в 1967 году, впервые опубликован в 1969 в литовском издательстве «Вага» (сб. повестей «Цена радости»).
По тематике он близок повести писателя «Почем в Ракитном радости». И не случайно в него вошли некоторые зарисовки и мысли, предназначенные для повести. В рассказе встречаются реальные факты из жизни родной деревни писателя, использованы и некоторые автобиографические детали.
В № 9 нашего журнала за 1990 год был опубликован рассказ К. Воробьева «Немец в валенках».

КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ



Когда до села оставалось километра три, — оно укрылось за пологим взлобком, — Кондратьев съехал на край проселка и вылез из машины. Поля уже были голы, и по жнивью серыми тучами метались скворцы, собираясь в отлет, но по обочинам дороги еще цвел репейник, и на его малиновых пупырках ворочались большие, лохматые шмели... Кондратьев вспомнил, как в детстве он ловко ловил их двумя пальцами за крылья, всовывал в зад соломинку с вышелушенным колоском, и шмель улетал с этим украшением, и надо было ловить второго и третьего. Он поглядел вдоль дороги и пошел по жнивью искать такую соломинку, но тут же подумал, что это жестоко и небезопасно, и вернулся к своему «Запорожцу». Его, пожалуй, следовало помыть или хотя бы обтереть тряпкой, — нос капота и фары были густо облеплены дохлой мошкарой, и Кондратьев неожиданно ощутил чувство беспомощной досады за мизерный, смешной и несчастный вид машины: он подумал, что автомобиль, черт возьми, все равно что одежда, по которой люди продолжают встречать гостей.

В Чекмаревке — своем родном селе — Кондратьев не был около тридцати трех лет и теперь испытывал какое-то все нарастающее виновато-тревожное опасение от предстоящей встречи с теми, кто его знал там и помнил. Он достал чемодан и надел белую рубашку и черный костюм. Шел пятый час дня, а раньше восьми в селе, пожалуй, появляться не следовало: наверно, там по-прежнему мужики сходятся по вечерам на колхозном дворе, и поэтому лучше приехать об эту пору. «Скажу, что направляюсь на юг и решил, мол, наведаться. Бензин, мол, кончился.» Ему почему-то вспомнилась старинная чекмаревская притча о двух сыновьях, посланных стариком отцом в город на зимние заработки и вернувшихся домой на пасху. Младший, как только вошел в хату, приткнулся у дверей на край лавки и стал гладить приласкавшуюся к нему кошку: «Кисынька, кисынька», а когда она подошла к старшему, севшему за стол в святом углу, тот крикнул: «Брысь», и отец понял, кто из сыновей явился с деньгами, а кто с пустыми руками.

С какой-то теплой, родственной симпатией Кондратьев представил себе мягкие русые волосы и голубые глаза младшего и почему-то обозлился на его брата. «Подумаешь, брысь!»

Он сел за руль, решив обождать на взлобке, откуда могла виднеться Чекмаревка, и на первой скорости, под сверлящий, немощный вой мотора преодолел подъем. Там, заслоняя село, мрела необъятная сила подсолнечника, — уже свечно-желтого, спелого, и над ним церковно сияла сторожевая вышка, сколоченная из белых ракитовых слег. Кондратьев решил, что это светоносное поле он зарисует завтра с вышки, а саму вышку — отсюда, с дороги, но надо, чтобы там был человек. Старик. В белой рубахе... Дорога была усыпана пустыми шляпками подсолнухов. Кондратьев ехал и урывками поглядывал на приближавшуюся вышку: там и в самом деле показался человек с ружьем в руках. Он, наверно, стоял на коленях, потому что едва виднелся из-за перил помоста, зато ствол его ружья целиком высовывался наружу и переливчато блестел на солнце. Было похоже, что караульщик собирается стрельнуть вверх. «Может, тут нельзя ездить?» — подумал Кондратьев. Он затормозил, и, когда выходил из машины, на вышке хлопнул сухой, ржавый выстрел. Кондратьев невольно пригнулся, хотя уже видел и знал, по ком стреляли: над вышкой, но высоко и в стороне, парил коршун. Он упруго взмыл еще выше, будто его поддуло, а караульщик крикнул Кондратьеву:

— Криво летел, мать его, а то б я его срезал!

— Конечно, срезали б! — прокричал в ответ Кондратьев.

— Я их тут черте сколько насшибал! — азартно сообщил караульщик и без паузы, не меняя тона, спросил, не найдется ли закурить. Кондратьев поспешно сказал, что коршун — птица дерьмовая, а закурить найдется. Ему не удалось проследить, каким приемом скатился вниз по лестнице караульщик — то ли сидя, то ли лежа, то ли кувырком: он как-то падуче мелькнул под стропилами вышки и пропал в подсолнечных зарослях. Коршун в это время снова приблизился в заходном вираже к опасной точке на небе, и Кондратьев с болезненным напряжением стал ждать нового выстрела.

Караульщик появился на дороге метрах в десяти впереди машины и на прежнем азартном крике опять сказал Кондратьеву:

— Я их тут навалял будь здоров!

Он по-детски перевально передвигался на обрубках го-

леней, всунутых в черные копытообразные кожаные поршни, опираясь на ружье, как на палку. Кондратьев пошел к нему навстречу неторопливо, умышленно мелкими спутанными шагами, пытаясь скрасть свое физическое преимущество перед его увечьем. Они сошлись на середине пути. На караульщике была малескиновая телогрейка и круглая кепка из косячков с блескучим клеенчатым ремешком над козырьком. Ему, видать, перевалило за шестьдесят, но он был из тех редких людей, кто до восьмого десятка ходит в мальчиках-подростках, не наживая ни усталости духу, ни веса телу и лишь незаметно выветриваясь и легчая. Кондратьев протянул ему сигареты, но тот сперва в судорожной встряске пожал его ладонь, здороваясь, а затем только взял курево. Кондратьев узнал его: признал дробное, сухощавое лицо с безвольной пипкой подбородка, молочно-голубые, восторженно стовчие глаза, по-детски умильно оттопыренные уши, и очень долго подносил ему зажженную спичку, — надо было справиться с накатной волной какой-то неосознанной не то обиды, не то жалости к себе и к этому человеку. То был Яков Семенович Кочеток, попеременно ходивший в сороковых годах то в председателях чекмаревского сельсовета, то сельпо. Кондратьеву было нехорошо и почти страшно оттого, что Кочеток по-прежнему носил кепки того самого покроя и фасона, которые в свое время шил ему его, Кондратьева, покойный отец. «Кто же их теперь мастерит для него? Неужели сам?.. В сущности я, наверно, зря сюда еду, потому что... И дай Бог, чтобы он потерял ноги на войне», — неожиданно и тоскливо подумал Кондратьев, а Кочеток в это время сладко затянулся дымом и угрожающе сказал:

— Я их тут навалял!

— Они, наверно, слишком высоко летают, — осторожно предположил Кондратьев, но Кочеток не принял его сочувствия. Он запальчиво возразил, что американские самолеты тоже не низко летают, а их вон сколько насшибали вьетнамцы! Кондратьев оторопело кивнул и вдруг проговорил почти завистливо:

— Не стареете вы, Яков Семенович! Совсем не стареете!

— А чего мне? Сижу под самым горизонтом, воздух там свежий, — засмеялся Кочеток. — Это вы там чахнете в своих сельхозуправлениях. Ты в наш «Рассвет»? Или в Гахово?

— Я Кондратьев Иван... Сын Петра Степановича, — понуро сказал Кондратьев.

— Да Петрак же помер! Аж в тридцать шестом... Нет, брешу: в тридцать пятом! — почему-то уличающе сказал Кочеток.

— Да. В тридцать пятом. Я похоронил его на огороде, потому что... рыть там было легче. И вообще ближе... — трудно проговорил Кондратьев.

— Факт, что ближе! — согласился Кочеток. — То-то я думаю, вроде ты, а не узнал. И куда теперь? К нам? По делу или как?

— Да вот решил было наведаться попутно, — неопределенно сказал Кондратьев. Он подумал, что заезжать в село уже не стоит: созданную им яркую и манящую картину детства, для встречи с которым он ехал, затмила горечь были, воскрешенная Кочетком. Да, пожалуй, следовало возвращаться назад. В узкой туннельке проселка залегала пахучая духота безветрия, — проселок тоже надо было бы написать, но без «Запорожца»: его кастрюльная голубизна на шафранном фоне подсолнухов казалась пошлым бездарным мазком.

— Ну что ж, рад был повидать вас, Яков Семенович, — сдержанно сказал Кондратьев и понес свою руку к руке Кочетка. Тот цепко забрал ее, судорожно потряс и просительно сказал:

— А может, посидим немного в холодке, а?

Кондратьев решил, что старик, — все-таки Кочеток был старик! — хочет побыть в машине, — так просто, от скуки и блажи. Он сказал «пожалуйста» и приглашающе отступил в сторону, но Кочеток тычками ружейного приклада принялся валять подсолнухи, готовя въезд к вышке.

— Постойте, Яков Семенович, зачем же губить! — опешил Кондратьев.

— А им ни черта не сделается, доспеют и лежа, — бесшабашно ответил Кочеток.

— Да нет, так не годится, перестаньте! — приказал Кондратьев, и Кочеток проворно убрал под мышку ружье и поглядел на Кондратьева ожидающе и испуганно, как ребенок.

— Я вишь, думал... посидим там с тобой, — просветленно сказал он и переступил на своих поршнях. — Не виделись-то небось...

У Кондратьева опять щемяще заныло сердце. Он сказал «конечно, посидим!» и подумал, что Кочеток, наверно, по-прежнему любит выпить и надо его угостить. До машины было метров двадцать. Кондратьев побежал к ней, чтобы взять рюкзак с провизией, и когда достал его и оглянулся, то увидел торопящегося к нему Кочетка. Он семенил, клонясь вперед как под ветром, и рот у него был раскрыт не то в изумлении, не то для оклика.

— Сейчас мы выпьем, Яков Семенович! — утешающе крикнул Кондратьев. — Вы что предпочитаете, коньяк или водку?

— А я... все потребляю, — не останавливаясь, растерянно признался Кочеток.

— Ну вот и ладно! И хорошо! — сказал Кондратьев.

На тесной извивной тропе, по которой повел его Кочеток к вышке, толстым слоем лежала иссохшая отцветь подсолнухов, и ступать по ней было легко и мягко. Тут реяла зеленая покойная полумгла, навевавшая Кондратьеву какое-то летучее воспоминание о чем-то оторапливающе радостном и давнем, — то ли об игре в прятки в таких же вот таинственных дебрях подсолнухов и конопли, то ли о кануне какого-то большого летнего праздника, то ли просто об одном из сказочных снов в детстве, и чтобы не разрушить в себе это, он старался не глядеть на кепку Кочетка, мысленно прося его не оглядываться.

Вышка стояла на прогале, заросшем сурепкой и осотом. У ее подножия горбатился крошечный соломенный шалаш с низким, округло звериным лазом, выходившим прямо к лестнице, и гребень шалаша венчал — как вымысел — малиново-жаркий матерый петух с ситцевой лентой-привязью к ноге.

— Это вы чтоб коршунов заманивать? — безразлично попытал Кондратьев.

— Да не, он тут так, — смутился Кочеток. — Прижился и...

«На мутовке-то прижился!» — мелькнуло у Кондратьева, но на Кочетка он поглядел сочувственно и понимающе.

— Вам бы сюда собаку, — посоветовал он.

— А если месячная ночь? — панически спросил Кочеток. — Она ж все печенки вымотает, как завоет! Не, петух в сто раз лучше. Ему все одно, какая погода. Скукарекал, когда надо, и будь здоров!

Он всунулся в шалаш и выволок оттуда заскорузлый полушубок с клокастой шерстью, перебитой соломенной трухой. Кондратьев, сложив рюкзак, пошел за шалаш, чтобы наломать листьев подсолнухов, — ни садиться, ни тем более выкладывать еду на эту подстилку Кочетка было немыслимо, и там, за глухой стенкой шалаша, увидел пасеку. Она занимала шага полтора в диаметре и была насплошь огорожена тынком из сухостойного чернобыла, увитого живой повиликой. Десятка три ульев, сделанных из комлей подсолнечных будыльев, — телесно светлых, величиной с граненый стакан, сидели на кольях-подставках тремя прямыми рядами, обратив закупоренные летки в одну сторону — на восток, и ряды их разделились песчаными аллеями, и на песке аллей копошились большие жемчужные мухи. Кондратьев склонился над пасекой и стал глядеть на нее как на ночной костер — бессмысленно и оцепенело. Он слышал, как вкрадчиво притопал и остановился позади него Кочеток, и по тому, как тот молчал и ждал там, Кондратьев понял, что пасеку он завел не ради забавы и что ему надо что-то сказать о ней вполне

серьезное, а не шутливое. «Вот так и всегда, всегда!» — безнадежно подумал о себе Кондратьев и, не оборачиваясь, склонясь еще ниже к земле, тихо, но отчетливо спроснл:

— А почему же... ворот нет в плетне?

— Были. Заделать пришлось, — тоже почему-то шепотом сказал Кочеток. — Суслики, вишь, могут залезть... А эти сволочи все одно не приживаются!

— Пчелы? — догадался Кондратьев.

— Ага. Споймаешь, запустишь — сидит, в как откроешь очко — шмыг и нету. Некоторые по неделе живут, а не привыкают!

— Они сволочи, — страдальчески сказал Кондратьев, выпрямляясь, — но мы все равно сейчас выпьем. У вас найдется какая-нибудь посудинка?

— А из колпака от термуса! — сказал Кочеток. Кондратьев кивнул и пошел за листьями.

Они разместились между шалашом и пасекой. Кондратьев достал из рюкзака бутылку «Российской», жестяную банку с халвой — «раз нету меда», — сказал он Кочетку, батон белого хлеба, колбасу и два вареных яйца. Кочеток притих и облагообразился. Он уселся удобно для себя и для Кондратьева — упрятав под зад поршни, но кепку не снял, хотя Кондратьев и понуждал его к этому, скинув свой берет. В наружных и внутренних поясках пластмассового колпачка от полулитрового термоса клекли какие-то бурые инородные кольца, не поддававшиеси ногтю, и Кондратьев подумал, что это в конце концов всего лишь чекмаревская почва и больше ничего.

— Ну, за встречу! — загодя морщась и содрогаясь, сказал он Кочетку, наблюдавшему за ним с суетным светом в глазах. Кочеток по-хозяйски приветливо и поощряюще сказал: «Пей на доброе здоровьице», и Кондратьев поглядел на него удивленно и растерянно. Когда хозяин пасеки степенно выпил свой колпачок, а затем неторопливо и уважительно к еде закусил, Кондратьев, не перестававший исподтишка следить за ним, вдруг недоуменно сказал:

— Удивительно! Никак я не свяжу вас вот теперешнего с тем прежним Яковом Семеновичем. Никак!

— Так сколько годоа-то прошло! — резонно заметил Кочеток. — И обезножел я к чертим, а то б теперь...

— Я запомнил вас верхом на чьем-то кулацком жеребце, — раздумчиво сказал Кондратьев. — Вы носили черные галифе, хромовые сапоги «бульдо» и вот такую же кепку. Вы и зимой так ходили... По нашим морозам-то! На меня вы нагоняли самый настоящий подлый страх, я не переставал удивляться отцу, как он вас не боится!

— А почему ему надо было? — сумрачно спросил Кочеток и отложил в сторону хлеб.

— Понимаете, Яков Семенович, — доверчиво сказал Кондратьев, — вы ведь не умели тогда нормально разговаривать. Вы постоянно кричали — на взрослых, на нас, школьников, на собак... Помните, как вы стреляли их? Верхом, из нагана?

— Так их по три штуки у каждой подворотни сидело! У вас и целых два кобеля было!

— Один. Мы его «Аршином» звали, — не забыл Кондратьев. — Вы убили его на погребце, и отец тогда ничего не сказал. Значит, тоже боялся вас!

— Не, с Петраком мы на коротких гужах ходили, он был свой человек, — сказал Кочеток. — А собак по чекмаревскому сельсовету я рéшал всех подчистую, так что ваш кобель подлежал тоже!

— Ну раз подлежал, значит, подлежал, — усмехнулся Кондратьев и наполнил колпак. Кочеток опять хорошо пожелал ему доброго здоровья и сам потом выпил с прежней степенностью.

— Таких людей, как твой Петрак, я уважал крепко! — с внезапной убежденностью хмелеющего человека сказал он. — Чем он тогда захворал? Простудился, кажись?

— Нет, был уже май.. Отец умер с голоду, — нехотя ответил Кондратьев.

— Да брось ты буровить! Голод проходил у нас раньше, в тридцать третьем! — сказал Кочеток на полукрике. — Тогда спрашивается, в чего ж ты не помер?

— Не знаю, Яков Семенович, — шепеляво сказал Кондратьев. — Впрочем, отец ведь лежал, а я как-никак... то чибисиное яйцо, то щавель, то вьюна...

На шалаше захлопал крыльями и взыскующе, истошно закричал петух. Кочеток восхищенно поглядел на Кондратьева и в каком-то непостижимо легком подсиге пружинисто выбросил из-под себя ноги и постучал один о другой поршнями.

— А я, понимаешь, обезножел. Во, видишь?

— А что... случилось с вами? — ознобно поежился Кондратьев.

— Давно отморозил к чертям! Да они и не нужны теперь!

Он засмеялся тоненько, упоенно, крутя головой и хмурясь, и Кондратьев не стал дознаваться, когда и где он потерял ноги. Пожалуй, пора было закругляться, — шалаш, пасеку и их стол накрыла косая узорная тень, падавшая от стропил вышки, и тянуло уже предвечерней, медвяно-сырой тут прохладой, и Кочеток был почти пьян. Он как будто споткнулся на какой-то своей неровной мысли и сидел притаенно, почти навалясь грудью на поршни, стерегуще уставясь на носки кондратьевских ботинок. Редка, худа и остиста была его пегая щетина бороды, росшая по заскульям, минуя обветренные, старчески глянцевитые щеки, и затухающе тускло синели теперь у него глаза, и натруженно, непосильно хмурился его млечный узкий лоб под мелкой продольной морщиной. Кондратьеву хотелось сказать ему что-нибудь ободряющее, — в конце концов Кочеток сам ведь считает, что ноги ему уже не нужны, но тот вдруг встрепенулся и опять зашелся в щекотном изнурительном смехе.

— Слышь? Погоди-ка!.. А ты знаешь, к примеру, чем коза бедна? — таинственно спросил он, и глаза у него ожили и встали торчми. Кондратьев посидел немного поникше и молча, потом достал из кармана свежую пачку сигарет и положил ее на банку с халвой.

— Ну вот, Яков Семенович.. Спасибо за компанию. Рад был встрече, — сожалеюще сказал он и встал.

— Да не, ты не увиливай, — рассердился Кочеток, — ты ответь, чем она бедна?

— Не знаю, — раздраженно сказал Кондратьев. — В ваши годы надо бы задумываться над другим!

— А не знаешь, так и говори! — ошалело вскинулся Кочеток. — У ей же вымя видна, понятно?

Еще до этого Кондратьев никак не мог решиться попросить у Кочетка пару головок подсолнухов, чтоб захватить их домой на память о неувиденной Чекмаревке, теперь же такая просьба показалась ему совершенно невозможной, да, пожалуй, и не нужной. Он забросил на плечо рюкзак и, не оглядываясь, стиснув зубы и ссутулясь, пошел мимо вышки. Он уже был шагах в пяти от тропы, когда из ее синих, издали различимых потемок на поляну наклонно вышел, будто вынырнул, коренастый, средних лет человек в белесом парусиновом плаще и выгоревшей, медно-палевой соломенной шляпе.

— Ваш, что ль, козел на дороге? Проехать же нельзя! — недовольно сказал он Кондратьеву, глядя на него твердыми, без блеска, ореховыми глазами. Кочеток свидетельски подтвердил через поляну — «его, его» — и тут же прокричал угодливо и беспокойно:

— Алексеич, а ты угадай, кто то такой! Сроду не угадаешь! Это ж Петрака гузенного Иван! Узнал зараз? Тебе не скажи, так ты...

— Во дурак! — извиняюще сказал Алексеич Кондратьеву о Кочетке, но смешину в глазах потушить не сумел. — Правда, что ль? — с сомнением спросил он Кондратьева. — Это ты будешь, Иван?

— Я, — сказал Кондратьев как пожаловался и снял с плеча рюкзак. Он не помнил никакого такого Алексеевича из своих сверстников, а тот обрадованно выругался по-матерному и с такой яростной приветливостью пожал ему руку, что Кондратьев услыхал, как у обоих хрумкнули пальцы.

ЛИТЕРАТУРА. *Малоизвестный рассказ*

— А я нет-нет, а вспоминал про тебя! Думаю, цел или как... Да ты что, не узнал меня? Васюк, ну!

— Бузука? — сорвалось у Кондратьева.

— Ну! — засмеялся Васюк. — Домой едешь? В Чекмаревку?

— Домой, — сиротски сказал Кондратьев, но Васюк не заметил этого.

— Ну вот разом и поедем! Давай, понесу сумку, — засуетился он. Кондратьев безвольно и молча передал ему рюкзак, а Кочеток в это время что-то прокричал им издали.

— Ты ему случайно... не подносил там? — подозрительно спросил Васюк.

Кондратьев не понял.

— Выпить ему не давал, говорю?

— Давал... Но мы немного...

— Тогда подожди, я пойду гляну. — Он пошел к вышке наклонно и ныряюще, неся рюкзак на отлете и чуть впереди себя, и Кондратьев вспомнил, как однажды они — «Бузука» тогда точь-в-точь так же держал свой картуз без козырька — бродили по болоту в поисках чибисиных гнезд. Холщовые портки свои они сложили на берегу у родника, и кто-то плотно набил их свежим зеленым коровьяком и поставил стоймя.

— Пошутил какой-то негодяй, — вслух сказал Кондратьев и засмеялся, мысленно увидав диковатую и согласную стойку двух оскверненных портчонок под громадным весенним небом, заполненным светлым текучим зноем и тревожным криком чибисов...

Васюк подошел к вышке и что-то спросил у невидимого Кондратьеву Кочетка. Наверно, Кочеток попробовал приподняться, потому что верх его кепки снующе поторкался из стороны в сторону, но до конца из-за шалаша не показался.

— Что, хочешь, чтоб опять ружье забрал, а костыль оставил? — спокойно, но с начальственной строгостью сказал Васюк. — Тебе ж раз навсегда было заказано, забыл?

— Да я полколпачка всего! — страстно солгал Кочеток. — Не прогонять же человека, раз он пришел!

— Полхреночка! Тебе полнаперстка нельзя давать! — повысил голос Васюк и позвал Кондратьева: — Иди-ка глянь на эту заботу! — засмеялся он. — Видал, какую церкву себе устроил?

Кочеток с обиженным и сытым видом сидел на прежнем месте с ружьем в руках. Бутылка стояла перед ним на банке с халвой, а колпачок с очищенным и, видать, плотно застрявшим в нем яйцом, громоздился на горлышке бутылки, и тут же, у лаза в шалаш, на кончике белой ракитовой шестины обреченно пристраивался на ночь петух. Кондратьев осуждающе взглянул на Васюка и тронул его за локоть.

— Погоди, ты ж не знаешь, — поморщился Васюк. — Если он до конца придушит бутылку, то такой буеж поднимет на все село, что будь здоров!

— Да какой там буеж! — сказал Кондратьев, а Кочеток не то кашлянул, не то хихикнул и вдруг подмигнул ему озорно и весело.

— Ну видал его? — кручинно покачал головой Васюк. Он явно не знал, как поступить с лишней для Кочетка водкой, — в бутылке ее оставалось колпака на три. — Может.. вылить? Или как? — нерешительно спросил он Кондратьева.

— Лучше «или как», — сказал Кондратьев и забрал у него рюкзак. — У меня есть еще бутылка коньяка. Садись, пожалуйста.

— Тут прямо?

— Ну давай на вышке, — предложил Кондратьев, но Васюк предостерегающе показал глазами на Кочетка.

— Я, в случáе чего, не видал и не слыхал про вас, — устерег его тот. Васюк молча стащил с себя плащ и кинул его на шалаш, вспугнув петуха.

— Мне твой случáй до лампочки, — сумрачно сказал он Кочетку, усаживаясь. — Я с другом детства встрелся, ясно тебе?

— А чего ж тогда моргаешь? — ядовито спросил Кочеток. — Я когда-нибудь докладал про тебя?

— А что ты мог докладать? Кому? — поразился Васюк, испытующе, вприщур глядя на Кочетка и неторопливо, по-хозяйски захватно уноси от него бутылку вместе с халвой и колпачком. Яйцо в нем застряло прочно, и Васюк остервенелым взмахом руки вытряхнул его к ногам Кочетка...

Закусывали жесткой усохшей корейкой, нарезанной Кондратьевым большими рваными ломтями. Кочеток убежденно и отверженно сидел прямо, напряженно и сосредоточенно глядя перед собой, и возле черных поршней его ненужно и противоестественно бело мерцало выброшенное Васюком яйцо. Как и до этого, Кондратьеву хотелось сказать Кочетку что-нибудь ободряющее, но он не знал что. Васюку, наверно, тоже было не по себе, — не соблюдая очередности, он молча выпил лишний колпак, но не повеселел.

— Ты хоть где живешь-то н по какой линии работаешь? — почему-то сердито спросил он Кондратьева. Кондратьев потянулся к ногам Кочетка, нескоро захватил там яйцо и швырнул его в сторону.

— Секрет, что ли, — отчужденно посмотрел на него Васюк.

— Да нет... Я рисую. Художник, — сквозь зубы ответил Кондратьев. Васюк подождал, соображая что-то, потом вслух решил, что это тоже хлеб.

— Один вон из наших чекмарей... да ты его должен знать, Роман Онучин, помнишь? Шептуном что дразнили? Так он в Лебедине музыку к песням придумывает, а живет будь здоров! Две казенных квартиры имеет, паразит!

Кондратьев, не слушая, наполнил коньяком колпак и протянул его Кочетку, но тот в мученическом старании не глядеть в сторону Васюка, затряс головой:

— Дуже надо! Захочу и сам куплю...

— Ну что ж, — миролюбиво сказал Васюк, — значит, сыта теща, коли гущи не ест!

По тропе к вышке кто-то не шел, а бежал коротким, топотно подпрыгивающим шагом, как солдат при сугреве, и Васюк, спохватясь, приподнялся на колени:

— Сашóк, это ты там? Ходи сюда!.. Сын, понимаешь, — объяснил он Кондратьеву. — В третий раз мотаемся в автоинспекцию, права его выручаем...

С колпаком в руке, отвергнутым Кочетком, Кондратьев тоже привстал на колени я оправил на себе пиджак. Сын Васюка был как подсолнух в июле — высокий, ярко рыжий, в пестрозолотистой ковбойке и зеленых расклешенных брюках. Он учтиво поздоровался с Кондратьевым, назвав свое имя и отчество — «Александр Васильевич», а Васюка укорил: «Я ж замерз. И лошадь не поена». С Кочетком он тоже поздоровался, и тот молча и судорожно потряс его руку. Сашок охотно и умело — не торопясь и мелкими глóтками — выпил коньяк и когда поблагодарил Кондратьева, тот вдруг ощутил царапную боль в сердце. Наверно, для того, чтобы представить его Сашку, Васюк как-то в упор и немного насмешливо спросил у Кондратьева, что он рисует — людей или картины и сколько за это платят.

— Небось, не меньше, чем за песни?

В глазах у него мельтешились подмывные чертики, и Кондратьев не ответил и обернулся к Сашку:

— А у вас... у нас тут, поют по вечерам?

— Кричат, — сказал за него Васюк.

— Да брось ты, пап! Ну кто кричит? — сдержанным баском возразил Сашок.

— Как это кто? Девки!

— Да брось ты! — опять сказал Сашок. — Кроме вас, бригадиров, никто не кричит...

Васюк растерянно поглядел на Кондратьева и без видимой нужды потрогал на себе шляпу.

— Не кричат, так будут! — сказал он, а Сашок засмеялся.

На Кочетка было трудно смотреть. Он сидел в какой-то старинной папертно упрямой позе обойденного милостыней,

уведя глаза в сторону пасеки, и Кондратьев пододвинул поближе к нему банку с калвой, в чтобы не вызвать его новый, никому тут не посильный своей неразрешимостью отпор, спросил почти ласково:

— Сельсовет у нас все там же, Яков Семенович, и большаковском доме?

Кочеток не шелохнулся.

— Он его еще при своем председательстве в разор пустил, — равнодушно заметил Васюк, в Кочетка тогда как пружиной вскинуло:

— По-твоему, выходит, кулацкие постройки не нужно было рушить, да? — враждебно спросил он не Васюка, а Кондратьева. — Тогда линии такая была, камня на камне чтоб не оставить, понял?

Кондратьев поспешно сказал «конечно» и встал. Было уже сумрачно и прохладно. Над поляной трепетно метались летучие мыши и крутыми спиралями гудуче носились какие-то антрацитно блестящие жуки. Васюк забрал бутылку с недопитым коньяком и, к удивлению Кондратьева, заботливо внедрил ее в карман кочетковской телогрейки.

— Опохмелись завтра... А зараз лезь в курень и спи. Ладно? — попросил он Кочетка.

— А ты больше не моргай при чужих! — капризно сказал ему Кочеток и пощупал бутылку.

По тропе к дороге двинулись гуськом — Васюк с рюкзаком впереди, Кондратьев в середине, а Сашок с отцовским плащом — сзади. Сашка изнурял приступ задушенного и, как казалось Кондратьеву, беспричинного и обидного смеха, и он, не оглядываясь на него, то и дело зачем-то одергивал на себе полы пиджака, натыкаясь лицом на ворсисто мягкие, обросевшие головки подсолнухов. Васюк приостановился и взял Кондратьева под руку, но пошел не в ногу, в вразноступ, тесно и неудобно, и Кондратьев, неизвестно на что озлобись, спросил его в макушку шляпы:

— Ноги ему... на войне?

— В «Кобыльем логу», — не сразу сказал Васюк и зачем-то оглянулся на Сашка. — Вывалился из саней и отморозил... В сороковом вж!

— Ну!

— Чего «ну»? — тоже почему-то ожесточаясь, сказал Васюк и освободил локоть Кондратьева. — Оттяпали в больнице — и все! А во время оккупации он в погребе спасался. Между прочим, в твоем, понял?

— Рад слышать, — глухо сказал Кондратьев, — но наш погреб завалился еще при мне.

— Здорово тебе! Завалился! В твоей хате с каких уже пор Стенюха живет, в она как-нибудь хозяйка!

— Стенюха? Большакова? — неверяще спросил Кондратьев.

— А то чья ж, — безразлично отозвался Васюк. — Потому у полицаев и подозрения не было, что Кочеток Яков Семеныч сидит в ее погребе...

Кондратьев споткнулся и молча забрал Васюка под руку, и они опять пошли не в ногу, тесно и неудобно.

— Она сама догадалась?

— Кочетка притать? — умышленно, как показалось Кондратьеву, не понял Васюк.

— Да нет, — недовольно сказал Кондратьев, — хату мою занять!

— А-а! Не. Раньше там стоял наш пришлый коваль из Гахова. Стенюха вышла за него перед самой войной. Вдова давно. Сын на Донбассе, кажется.

Подвода стояла впритык к задку «Запорожца». Высокая темная лошадь в сыромятной белой узде вожделенно, с сахарным хрустом жевала подсолнух, и на ее губах до самых ноздрей пузырилась светлая пена, шматками падавшая на капот. Она пахла приторно сладко, но чисто; в этом запахе было что-то весеннее, знакомое Кондратьеву с детства, и он не стал очищать капот. Васюк велел Сашку отогнать «на двор» подводу и прежде Кондратьева залез в машину.

— Ты ее купил или выиграл? — полушутя, полусерьезно спросил он у Кондратьева, следя за движением его рук и приборами. Кондратьев рывком тронулся с места и под вой мотора сказал, внутренне напрягшись и вдавливаясь в сиденье:

— Могила на моем огороде... цела?

Васюк не то не расслышал, не то не понял, о чем его спрашивали, и Кондратьев опять сказал вполголоса:

— Могила, говорю...

— Да знаю, знаю! — перебил Васюк. — Там колхозный коровник давно...

Кондратьев сбавил скорость и закурил.

— Между прочим, хату Стенюха перекрыла под черепицу, — немного погодя, сказал Васюк. — И сарай обновила. Так что много ты не получишь, но рублей триста запросить можно...

Он непростудно кашлянул и, не показывая глаз, снова спросил, купил или выиграл Кондратьев машину. Тогда как раз оборвались заросли подсолнухов и свет фар рассеялся и померк, — выехали на пустой и гладкий как ток чекмаревский выгон. Село сидело к нему задом, невидимое за пряслами огородов, и Кондратьев широко и плавно развернулся и выключил мотор. Он решил, что подсолнухи срежет теперь без спросу. Их, наверно, надо будет переложить листьями и завернуть в брезент палатки, чтоб не завяли.

— Подожди тут Сашка́, — сказал он Васюку и вышел из машины. Было темно и тихо. Низкорослая, прибитая и уже иссушенная трава хрустко шуршала под ногами, и выгон манил и манил лечь на него ничком или навзничь, как тогда, в детстве. За селом, на далеком заречном бугре, тревожно и зазывно светился, не разгораясь и не потухая, чуть видимый костер, и Кондратьеву почудился ладанно-горький запах кизячного дыма, и дышать стало несвободно, в сердце поднялось к гортани и не хотело спуститься в свою клетку. Он сел на землю и стал глядеть на костер. «Как тогда было хорошо», — подумал он про болото, про птиц и небо над собой и «Бузукой», и тут же вспомнил и мысленно увидел, потому что никогда прочно не забывал об этом, вишневое низкое солнце о двух радужных столбах, синюю ледяную тропу от села к колодцу и на ней Стенюху и себя с большой деревянной лопатой...

Костер не вырастал и не умалялся. Васюк неслышно подошел к Кондратьеву и сел поодаль и чуть сзади. Он сказал, что коровник построен до войны и, значит, обижатьси тут не на кого.

— Слышь, что говорю?

— Я сейчас, — рассеянно отозвался Кондратьев. — Посижу немного и поеду назад...

Васюк повозился на своем месте, — не то хотел встать, не то усаживался поудобней, и вдруг сказал по-«бузукски» басисто и не в саязь с прежним:

— А я знаешь на ком женат? На Манечке Староверовой, что раскурдяйкой дразнили. Помнишь?

Кондратьев издал какой-то птичий писк горлом, а Васюк посунулся к нему и проговорил и спину:

— Не дури, Ваны! Ладно? Давай, поедем домой, ко мне, в? Что ж тут теперь...

В машине он зачем-то снял шляпу, обнял Кондратьева и, сияюще лысый, не хмельной и не трезвый, на томительный лад «страданья» запричитал непутево озорные и лохматые, только к темным ночам пригодные чекмаревские частушки давних лет, и Кондратьев сидел притаенно и ехал осторожно и медленно...

На второй день было воскресенье, и село топилось запоздало, — над трубами хат вились одинаково квелые дымы, золотисто пронизанные солнцем. К своему двору Кондратьев пошел низом, по-над речкой, — отсюда явственней проглядывался посад села и было дальше от огородов. Тут, у речки, все оставалось прежним, знакомым и давним — и дуплистые прибрежные ракиты, и мшисто-зеленые орясины колодезных журавлей, и лекарственный запах увядающего вира. Свою хату — белую, маленькую, покрытую розовой черепицей, Кондратьев увидел и узнал издали: у нее не изменилось просительно-ожидающее выражение окон. Он долго всходил на свое крыльцо, — надо было искать и находить на нем памятные зарубы и выщербы, и долго стоял в сенцах — ручка у дверей была та самая, медная, и он

сперва потрогал ее, в затем уже постучал в дверь. На середине хаты лицом к дверям стояла рослая смуглая женщина с усохшим ртом, по-старушечьи покрытая белым миткалевым платком. Кондратьев с порога ищуще оглядел хату и неуверенно спросил:

— Степанида Никифоровна?

Не двигаясь с места, Стенюха тихо сказала «ага» и смятенно и слабо улыбнулась как под болью, когда нельзя охать.

— Не признали?

— Да нет, почему же.. Вы мало изменились, — солгал Кондратьев и снял берет.

— А я вас сроду б не узнала... Я завсегда думала... — сказала она и замолкла. Она была похожа на отца — черного степенного и богатого мужика Никифора Большакова, дом которого заняли потом под сельсовет. Семью их увозили тогда под вечер, в наутро Стенюха объявилась в селе и стала жить по дворам поденно, но ходить опять в школу чекмаревские бабы ей не велели...

В хате ничего не осталось прежнего, кондратьевского, кроме темной иконы Варвары-Великомученицы под потолком в красном углу. Кондратьев все еще стоял у порога. Стенюха смотрела на него растерянно и чуть-чуть сокрушенно, и он внутренне усмехнулся сам над собой, в ей вдруг мужественно сказал:

— Может, ты позволишь мне сесть?

— Господи, да я ж совсем забыла, — встрепенулась она, — садись вон туда, на лавку... Я ж вчерась аж узнала, что ты приехал...

Они сели друг против друга, разделенные столом, и Стенюха, будто застигнутая на чем-то не своем, начала торопливо и беспокойно говорить о хате, о своём недолгом замужестве, о войне и о сыне Костике, уже женатом шахтере. Наверно, Кондратьев слушал и смотрел так, когда другому становится тревожно не только за нужность своих слов, но и за свое обличье и за все, во что он одет и обут. Стенюха опять смятенно улыбнулась и потеребила концы платка.

— Ну, а ты сам... давно хочь женат-то? — спросила она.

— Давно, — вяло сказал Кондратьев. — Сын тоже... Студент.

— А жена... хорошая ж?

— Да так... Как все, — ответил Кондратьев, заглядывая в окно, на речку. На том ее берегу, по заказному в прежние времена лугу, обрывавшемуся затем и северной стороне села болотом, картинно бродило большое стадо пестрых коров, в выше, за лугом, на фоне предосеннего остывающего неба льдисто искрились не успевшие еще слежаться и померкнуть соломенные стога.

— Что ж она, учена? — напомнила о жене Стенюха.

— Ну еще бы! — едко сказал Кондратьев. — Кандидат юридических наук! Это в судах там, — вскользь глянул он на Стенюху. Она чему-то усмехнулась и погладила себя по щеке ладонью — широкой, костистой и сильной, как подумалось Кондратьеву. Он закурил и понес горящую спичку к дверям, где стояла лоханка, и оттуда сказал с каким-то откровенным злорадством:

— Ушла моя Надежда Павловна к другому. Четвертый год уже...

— Господи! Да что ж она, взбесилась? — на чекмаревский подголосный распев сказала Стенюха. — И сын к ей отошел?

Кондратьев промолчал.

— А похож на тебя, ай нет?

— Да. По крайней мере внешне, — неуверенно сказал Кондратьев.

— Ну хочь это пускай!

Стенюха опять погладила себя ладонью по щеке, глядя на Кондратьева устало и жалеючи. Она попытала, надолго ли он приехал, и Кондратьев ответил, что на пару дней.

— Ну, в как же мне теперь с хатой? Может ты захочешь... продать кому? — спросила она и спрятала руки под настольник.

— Я подарю ее тебе... Давно уже подарил, — сказал Кондратьев. Он хотел сказать это просто и сердечно, а по голосу получилось четко и жестко. — Только вот то... если можно, — показал он лицом на икону.

— Забрать хочешь? — поняла Стенюха и поглядела на красный угол, как глядят на грозу в поле.

— Это мамина венчальная, — сказал Кондратьев. Стенюка подолом фартука смахнула с лавки невидимую пыль, затем встала на нее растоптанными кирзовыми сапогами и, не поднимая рук к иконе, оглянулась на Кондратьева.

— А может, оставишь? — угасше сказала она под потолком. — На ей у меня так все вот и привыкло. И похоронная на Колю, и письма его с войны, и... Куда ж мне потом-то?..

Она, наверно, не поняла, зачем пошел к ней от стола Кондратьев, и привстала на носки сапог, приемно готовя руки под икону, но он вовремя крикнул:

— Не надо! Не трогай!

— Оставишь? — тихо спросила Стенюха.

— Да-да! Я ведь не знал...

— Ну спасибо ж... Тогда я зараз покажу тебе чтой-то... Вспомнишь, ай нет? — загадочно сказала она. Кондратьев отступил к столу и сел на табуретку — ни в ту минуту, ни позже он так до конца и не понял, что его испугало в этих словах Стенюхи. Он сидел, ждал и тупо глядел на ее нелепые бурые сапоги с густой траурной бахромой на обрезах голенищ.

— Во, гляны! — таинственно сказала Стенюха, не сходя с лавки. Она держала на ладони какой-то аспидно-янтарный, заостренный с одного конца предмет, похожий на разрывную пулю от крупнокалиберного зенитного пулемета. — Помнишь, ай нет?

— А что это? — издали спросил Кондратьев.

— Да «чертов палец»! Помнишь, ты подарил мне его на святой? Когда овечек стерег с ребятишками на выгоне?

— На святой? Забыл, — виновато сказал Кондратьев.

— Вы ж тогда, дураки, догнали меня, повалили и...

— Что? — смутился Кондратьев.

— Да взяли и заголили платье!

— И и тоже?

— А то либо нет!

— После того, как подарил «чертов палец»?

— Не-е. Его ты после мне дал. Покликал и дал... Ты тогда был в голубой рубахе в белую полоску...

Стенюха все еще стояла на лавке. Кондратьев пошел к ней, и она, неловко спрыгнув на пол, подала ему «чертов палец».

— Не помнишь?

Он взял ее руку, покрытую сухой цыпковой шелушью, и поцеловал благодарно и кающе.

— Совсем-совсем не помнишь? — по-девчоночьи обиженно замигала ресницами Стенюха, удерживая на весу, как зашибленную, руку, которую поцеловал Кондратьев.

— Я помню только, как однажды зимой мы катались с тобой с горы на нашей деревянной лопате. По очереди, — сказал Кондратьев.

— Да у вас же сроду не водились салазки, в я тогда была уже раскулаченная, — невесело засмеялась Стенюха. Кондратьев покраснел и стал разглядывать «чертов палец». Это был круглоцельный, миллион, может, лет тому назад окаменевший не то хвощ, не то моллюск. Они попадались на меловой горе возле болота, и в игре в лодыжки сходили за три битка.

— А на лопате мы катались разом, в не по очереди, — проговорила Стенюха. — Что ж ты, и про лампасеты позабыл?

— Нет. Это я помню, — угрюмо сказал Кондратьев. Он и в самом деле помнил, как за обрезки овчин и веревочные осметки купил в тот день на возке у тряпичника восемь штук сахарно-мучных полосатых монпансье. Два он съел сам, в остальными угостил Стенюху, когда катались... Но как угостил! Ронял украдкой ей под ноги, когда лезли в гору от колодца, и она молча подбирала их и прямо со снегом запихивала в рот, и рука её была красная

и прозрачная, как гусиная лапа, и чья-то чужая бабья кофта на ней топорщилась седыми кудельными клочьями...

— Надо ж! Стыдился дать мне ланпасеты в руку! — с тихим недоумением сказала сама себе Стенюха, будто Кондратьева не было в хате. — И, наверно, таким и остался, раз жену упустил...

Кондратьев достал очки и зачем-то напялил их старательно и прочно. Наверно, в них он показался Стенюхе совсем бесприютным, потому что она поднялась с лавки и молча, с какой-то упрямой решительностью стала накрывать на стол. О том, что его ждет Васюк, Кондратьев сказал, когда она уже поставила перед ним миску с лапшой.

— Лучше я съем ее завтра, — беспомощно запротестовал он. — Всю съем, ладно?

— Ну ежели требуешь.. — сказала Стенюха и прошла в чулан. В хате стало не по-жилому тихо и скорбно. От лапши всходил и растекался под потолком томленый радужный пар, и Кондратьев взял ложку и погрузил ее в миску. Сквозь запотевшие очки он смутно видел, как появилась из-за полога Стенюха и встала там, наблюдая, как он ест.

— Я ж на завтрашний день отпросилась в Суслонку, — виновато сказала она. — Посылку хочу отправить Костику. И в магазин надо... Да ешь же ты за ради Христа! Ну кого тут стыдиться! Ты ж в своей хате!..

Кондратьев покорно подумал, что сейчас заревет. Вот скажет она еще что-нибудь про хвту, про себя или про еду, и он заревет.

— В каком часу.. ты уходишь? — не поднимая лица, спросил он. — Мне тоже надо завтра в Суслонку... За бензином... Что ж ты пешком пойдешь!

— Да я хотела с зарей. Ить семнадцать верст туда, да семнадцать обратно, — сказала Стенюха. — А ты взаправду заедешь за мной? — опять как-то по-девчоночьи, неверяще спросила она. Кондратьев отодвинулся от стола и молча, ослепше стал глядеть в окно...

Наверно, потому, что он так и не снял очки, Стенюха проводила его, как маленького, на улицу и там показала рукой, в какую сторону ему идти. Кондратьев пошел напряженно и неестественно, ощущая затылком чужой несмещающийся взгляд, и только возле васюковой хаты заметил, что унес с собой «чертов палец»...

Утром он проснулся в пустой хате, — ни Васюка с Манечкой, ни Сашка́ не было. На столе под газетой сидела остылая сковорода с бараниной, в рядом открыто лежал, прижатый по углам порожними бутылками, ватманский лист бумаги с черной углевой наметкой каких-то диких болотных зарослей, неимоверно громадных птиц и пары стоячих детских порток. «Напился, скотина», — с безнадежным сочувствием подумал о себе Кондратьев и только тогда вспомнил о Стенюхе...

Он догнал ее а «Кобыльем логу» — выгонной балке верстах а пяти от села по пути в Суслонку. На ней было длинное голубое платье и коверкотовый мужской пиджак, а на голове блиновидный красный берет. Она шла по середине дороги валким размашистым шагом, кренясь под большим узлом, завернутым в темный полушалок, и когда оглянулась на машину, то сронила его с плеча и понесла в руке, и ступать стала мелко и спутанно, то и дело поправляя берет, сгоняя его на ухо. Кондратьеа на предельной скорости обошел ее и так затормозил, что машину развернуло поперек дороги. Он молча, рывком отобрал у Стенюхи узел и кинул его на заднее сиденье.

— Дура! Глупая! — клекотно сказал он, когда она уселась, и со стиснутыми зубами, неожиданно и издали поцеловал ее лоб. Она беспомощно охнула, ткнулась ему головой в грудь и заплакала. Кондратьев распахнул полы своего пиджака и накрыл-укутал ими голову Стенюхи, туго обняв ее плоские неподатливые плечи. Она совсем ушла к нему под мышку и плакала там уже в голос — благодарно, щедро и неуемно, и сам Кондратьев рыдал судорожно, редко и трудно, и в то же время думал, что уехать надо ему нынче же, до ночи...

Публикация В. Воробьевой.

Год этот для Анатолия Николаевича Жукова — юбилейный. В января в тихом скромном застолье друзья отметили его шестидесятилетие. К этим дням он закончил и свой новый роман, с которым мы предлагаем познакомиться читателям в журнальном варианте.
Жуков известен как автор лирических повестей, написанных с народным юмором, с лукавинкой, с печалью и болью от того, как повсеместно разрушается народный лад... Новый роман стоит в этом же ряду, его сентиментальность — это скорее грусть о безвозвратно ушедшей, несостоявшейся любви, любви через годы, через жизнь. И в наше время, когда энергия сердечная в явном убытке, когда душевные чувства отступают под напором прагматизма и изматывающего ожесточения, роман Анатолия Жукова как нельзя кстати напоминает нам, что же уходит из жизни вместе с отвергнутой сентиментальностью...

АНАТОЛИЙ ЖУКОВ

Осенние песни о весне

I

Два неизменных предела у человека — рождение и смерть. Но рождения своего он не помнит, смерти своей не знает. Не успевает узнать. А успеет — не расскажет. И не надо об этом рассказывать. Бесполезная это вещь, конечная. Рассказывать лучше о жизни, и лучше о молодой жизни, о весенней.

Вот казалось, все давно отболело, все прошло, и редкие воспоминания, как поздние зарницы, коротко вспыхнут вдали и лишний раз напомнят о майской луговине, где ты резвился, — в невозвратной той дальней стороне. С привычной печалью вздохнешь — такая была зеленая, солнечная, просторная, — но за давностью не вспомнишь деталей: они опали осенней листвой, и столько раз потом появлялась новая листва, что уж и трепет ее стал одинаковым, без разницы, без оттенков.

И вот настал час, — добрый или недобрый? — когда заботы дня сущего не то чтобы сравнялись в цене с заботами минувшими, — чего уж теперь о цене! — а как-то меньше стали волновать. Все заботы да заботы, сколько же можно!

И будто остановился, оглянулся.

Прежде такие редкие оглядки случались на бегу, а тут застопорило сразу, повело юзом — не хочешь, в оглянешься.

Случилось это в самое подходящее время обострения давней моей болезни, совпавшее с днем рождения. И болезнь серьезная, и дата круглая, нешуточная. Чего еще, как не камеральные работы, если время экспедиций, считай, позади.

Домашние в тот день кто работал, кто учился, а я лежал, горячий (38° со ступеньками), потный, не сразу брал телефонную трубку и неохотно вставал, чтобы открыть дверь почтальону и получить новую телеграмму. Родственники и приятели поздравляли с «золотым» юбилеем. Самые близкие, самые чуткие люди.

Впору звать милицию, кричать, что тебя обокрали, обсчитали, а тут — разные высокие слова. И все-таки идиотски льстило такое внимание, я не то чтобы радо-

Журнальный вариант.



Фото Павла Кривцова

вался каждой телеграмме, но был доволен, важен, хотя пятьдесят — это уже не юмор, дорогие мои, пятьдесят — это, мои хорошие, половина календарного века и две трети (см. статистику) человечьего, и какое тут золото, когда опять сбит и еле передвигаю ноги.

Смятая постель тоже сделалась горячей и влажной, я вытирал лицо рукавом пижамы, ложился, раскрывал телеграмму и, отводя руку и все равно не различая букв, подымался опять: забыл где-то очки, склеротик. Опить, поди, оставил на столе. Глаза-то хорошие, да руки короткие, как говорится.

Верно, на столе. Расписался за телеграмму и положил, даже не подумав, что читать ее будет не в чем. А как любил анекдоты о склеротиках.

Взгремел телефон — юношеский нахальный басок потребовал Надю.

— Не пришла еще. Позвони позже.

— Пришла, пришла! — зазвенело от порога. — Не клади трубку.

Открыла дверь своим ключом, в я и не слышал. Или уж и слух барахлит?

В пальто и сапожках дочь вбежала ко мне, обдав морозной свежестью, бросила на постель газеты и открытки — «Читай, юбиляр!» — крикнула в трубку: «Я сейчас перезвоню» — и улетела с телефоном в другую комнату. Не при отце же любезничать. Да и вообще мы — предки, каменный век, ничего такого не знаем, не проходили, а если проходили, то давно забыли.

Ну вот, забрюзжал, обиделся. Неужто и вправду старик? А кто же еще, если одна дочь невестится, сыновья уже взрослые, старший подарил внука Митьку. Летом приедет в гости, опять будет дергать за штаны: «Дед, а дед, почему у тебя бороды нет? Бреешь, как мой папа, да?»

К своим поздравлениям сын и сноха присовокупили, что Митька учится узбекскому языку. Что ж, разумно. Это мы обойдемся русским, а Митька появился на свет в Ургенче, и Узбекистан, как ни кинь, его родина.

Вот второй сын еще произведет внука или внучку и тогда... Впрочем, ему еще надо жениться, а он не очень-то склонен, хотя лишь на год младше Саши, армия давно позади. «Успе-ею, — слышится его ленивый бас. — Вы все одинаково хлопочете: пока холостой — «Не женился, Коля?», а женишься — «Не развелся еще?» Телеграмму он пришлет в три слова и позже всех. Чего ему торопится — рабочий класс, гегемон.

Поздравления от моих товарищей по институту братьев Сафоновых. Улыбчивое поздравление от Николая Благова.

От Николая Касимова, друга моей юности, телеграмма сдержанная, почти официальная. Он всегда был серьезен, даже в молодые годы, а теперь и возраст и положение руководителя обязывают. Как-то он тянет свой громоздкий воз, уже не районный — областной? Правда, теперь у него только одна отрасль, но зато самая большая и беспокойная. Вот, не дай Бог, случится а нынешнем году низкий урожай, — в степном Заволжье это не редкость — и начальник управления отвечай. А то, что снегу сейчас нет, морозы трещат, озимые вымерзли и весной, возможно, не будет дождей — не оправдание. На Бога ведь не сошлешься, хотя погодой ведает именно Он, никого другого пока нету. И вот Он проводит природные мероприятия, а начальник сельхозуправления иди на ковер к вышестоящим. Бог ведь не числится в областной номенклатуре, с низовых же руководителей — директоров, председателей, агрономов — не спросишь: они свое сделали, перепахали, пересеяли...

— Папань, дай рупь на кино. С Лариской на дневной сбегаем.

— Пообедай.

— Я в школьном буфете перехватила.

— А уроки?

— После кино. Салют! — И убежала.

А младшей до сих пор нет. С музыки небось сорвалась к Михальковым и на санках с Алешкой катаются, об уроках забыли.

Развел стадо детей, теперь паси их. Впрочем, пускай бегают на воле. Я тоже никогда не делал дома уроки. Учителя послушал и достаточно — память была как у ЭВМ. А задачки там, грамматические упражнения — на переменках. Правда, дома-то и и не мог заниматься. Четверо младших были на моем попечении, не до занятий. И после начальной школы, в интернате условия не улучшились: война, голодные, полураздетые, полуразутые...

Вот вспомнил, и сразу вижу себя, тощего, метр с шапкой подростка. Из носок и пяток худых валенок торчат пучки сена, штаны мешочные, продуваемые насквозь, рубашка из бабкиной старой кофты, в цветочках, зато телогрейка стеганая, на вате, и малахай большой, отцовский. Он часто налезает на глаза, и его то и дело приходится поправлять снизу вверх.

Будто со стороны вижу я того чужого уже мальчишку и знаю его будто с чужих слов. Кроме того, что он никогда не учил уроков, я знаю еще, что любил он читать книжки. Этому занятию он предавался во всякое свободное время, за что от товарищей получил насмешливую кличку «мыслитель», а от матери жалостную — «горюн». Несмотря на сочувствие и жалость, многодетная, вечно в хлопотах мать объявила его книжкам войну, и дома он читал украдкой, тайком. Когда мать накрывала его на месте преступления, то ловко выхватывала книжку и на время прятала, а если промахивалась и не успевала выхватить, то разражалась криком на весь коммунальный дом. «Ирод царя небесного, нашел дело! Мать на минутку не присядет, хоть разорвись на семь частей, а он с книжечкой посиживает! Счас же бери вилы и иди убирать у скотины!»

«Ладно, пойду. Только вечером все равно буду читать», — ставил условие заморыш.

«Там поглядим, до вечера далеко.»

И правда, далеко-о было, очень далеко, особенно зимой. Не день был — год! Стужа такая, что выходить мука. А надо надергать из стога железным крюком сена корове и овцам, натаскать соломы им на подстилку, прорубить на пруду прорубь, чтобы напоить совхозную скотину. А пруд — в овраге, там всегда тянет, как а трубе, просвистывает тебя насквозь, обжигает лицо, хватает за уши. Наверно потому, что берега очень высоки, вот между ними и дует.

«Толька, аида кататься! — кричит Петька Тарасов с вершины берега и, оттолкнувшись палками, мчится на лыжах вниз. У длинной проруби лихо разворачивается, скре-

стив носки лыж, и останавливается. — Ну пойдешь? Прыжок сделаем.»

«А навоз чистить кто?»

«У нас Илюшка нынче. Мы по очереди. Ты тоже Шурку приучай.»

Хорошенькое дело — приучай! Илюшка у него — старший, а Шурка у меня — младший, сопляк еще. У меня все младше меня, и брат, и три сестры. Опять же, и выйти Шурке не в чем — валенки одни на двоих.

«Ну пойдешь, Тольк?»

«Не пойду.»

«Матери боишься?»

«А ты?»

«У меня не дерется.»

«Ну вот и радуйся, катайся!» — Отвернулся от него и, приподняв обеими руками полупудовый лом, грохнул со звоном по метровому льду раз, другой, третий... А слезы на брезентовые рукавицы — кап, кап... От обиды, что мать дерется, что нет старшего брата, что некогда покататься, что не на чем — ни лыж, ни коньков нет...

Но разве слезы — мужское дело? Не кныча! Вытри глаза, высморкайся и работай. На фронте отцу наверно похуже приходится, а от него ни одной жалобы, письма вон какие веселые пишет, с фронтовыми стихами, с песнями...

Телефонный звонок спугнул далекие виденья.

— Как ты там? — спрашивала с работы жена. — Температуру мерил?

— Снижается. Тридцать восемь сейчас. Ровно.

— Эх ты, юбиляр!.. Ладно, лежи. У меня заседание кафедры, но я отпрошусь, торт куплю...

Всю жизнь о тортах мечтал! И ведь знает, что не терплю, хлопочет о своем похудении, муштрует дочерей диетами, а устоять против сладкого не может. И чего такая страсть?! По мне, оно хоть и не будь вовсе, сладкое. Последняя начальница, принимая меня на работу, демократично чаевничала за письменным столом и предложила мне конфету. Я поморщился и сказал, что не люблю сладкого. «Значит, пьешь!» — сказала она убежденно и рассмеялась. Приметливая баба, откровенная, с ней хорошо работается.

Из газеты выпала открытка, заполненная красивым, четким письмом. Почерк каллиграфически правильный, но почти каждая буковка самолюбиво стоит отдельно, не касаясь соседней и будто не нуждаясь в ней. Гордо, независимо... Кто же это такой? Совсем незнакомый почерк.

Скрипнула входная дверь, тяжко грохнулась в прихожей связка кирпичей — это младшая дочь бросила у порога портфель с учебниками. Почти тут же застонало пианино, заныл следом людкин передразнивающий, вероятно, учительницу голосок:

Разольются переливы
По реке, по реке,
Поведут волы ушами
Вдалеке, вдалеке!

Это она показывает, что не на санках каталась и не у Михальковых была, а после уроков ходила на музыку, и вот повторяет пройденное на своем инструменте, выполняет домашнее задание. Вон как наяривает! А в моем детстве даже балалайка не играла. Впрочем, когда мы переехали из Хмелевки в совхоз, у Лидки Маштаковой, дочери завмага, была трехструнка, но вместо струн она натягивала тонкую проволоку, которую мы воровали для нее из механической мастерской. А пианино я увидел на второй год войны, когда перешел в пятый класс и стал учиться в школе-интернате на центральной усадьбе совхоза. В первый же день увидел. Оно стояло в широком школьном коридоре у стены учительской комнаты, черное, лакированное, блестящее, и перед ним на одноногой, тоже черной вращающейся табуретке сидела русоволосая обаятельная девушка и, аккомпанируя себе, пела:

Слышен звон бубенцов издалека —
Это тройки веселый разбег.
А вокруг расстелился широко
Белым саваном искристый снег.

С деревянной школьной сумкой стоял я в первом ряду сгрудившихся пятиклассников, зачарованно глядел на худенькую городскую красавицу и упоенно слушал незнакомую, в музыкальном сопровождении, и оттого особенно волнующую песню.

Девушка пела негромко, но сердечно и как-то очень легко, свободно, будто шутейно.

Прозвенел звонок на занятия, девушка мягко опустила крышку, спрятав белые и черные певучие клавиши, заметила мое огорченное лицо и ласково улыбнулась:

«Понравилось?»

«Ага», — кивнул я, краснея.

«На большой перемене еще спою». — И погладила меня по голове душистой легкой рукой с длинными крашеными ногтями.

На большой перемене её почему-то не было, но к концу уроков я знал, что певунью зовут Валентиной, в центральной бухгалтерии совхоза служат её отец и мать Леонтьевы, эвакуированные из Ленинграда или из самой Москвы, а старшая сестра певуньи Людмила Михайловна работает бухгалтером самого далекого, за сорок километров от центральной усадьбы, шестого отделения. Позже, перед службой в армии я довольно близко узнал Людмилу Михайловну, подружился с ней и запросто называл Люсей, а Валентину увидел лишь в 60-х годах по телевизору. И не узнал. Была она еще в самой поре зрелой женщины, обаятельная, талантливая, уверенно набирающая профессиональное мастерство, но той худенькой гибкой певуньи из моего отрочества не стало...

— Пап, знаешь что? — Люда не сняла еще школьной формы с белым фартучком и стояла в проеме двери, небольшая, полненькая, решительная: — Когда я вырасту, то стану учиться на врача и выйду замуж за Алешку Михалькова.

Вот это уже подарок ко дню рожденья. Хорошо-то как, Господи! Младшая, считай, пристроена, никаких тебе хлопот.

— Не передумаешь? Тебе еще в школе трубить шесть лет.

— Не передумаю. Я и с бабой Дашей говорила, она согласна. Лечить, говорит, меня будешь.

Баба Даша это, конечно, главный авторитет. Она для них как родная, нянчила обеих до года, встречала потом из садика, провожала. Теперь вот из школы к ней бегают.

Профессия врача по своей извечной необходимости и ценности может сравниться только с великой профессией земледельца. Но Люда не станет врачом. Через шесть лет она поступит на факультет журналистики МГУ и станет печатать в газетах и журналах свои корреспонденции. К тому времени умрет баба Даша, самая авторитетная ее советчица, Мир Праху Её, забудется Алешка Михальков, высокий застенчивый очкарик, прекраснейший парень, а я сам, отнюдь не помолодевший, не поздоровевший, в который раз пожалею, что прекрасные детские мечты опять не сбылись...

— Есть хочешь?

— Я у Михальковых поела.

— Ну ладно, учи уроки.

Чей же это такой каллиграфический почерк на открытке? «Друг юности Николай.» Но друзья юности у меня почему-то все были Николаи. Николай Касимов, Николай Беляков, Николай Пахомов. За ними появились Николай Благов, Николай Пановский, но они — уже после армии, и, стало быть, друзья молодости. Все разные по характеру, все старше меня, все покровительствовали мне. И ведь не они выбирали меня, я первый тянулся к ним, более самостоятельным, взрослым, меня почему-то притягивало само имя Николай, я уже заранее любил этого человека, находил в нем много достоинств, и все Николаи, даже самые недоверчивые и не склонные к сантиментам, откликались на этот сердечный зов, на душевное расположение, доверяли ему и становились моими друзьями на многие годы.

Неужели Пахомов?.. Вглядываюсь в ровно выстроенные ряды строчек, мну открытку, даже нюхаю её... Не может быть. Четверть века прошло, все отгорело, отболело, умерло... Неужто возвращается с того света? Но может, не он? Вот и адрес чужой, молдавский, г. Дубоссары, Пахомов же волгарь, земляк, из Ульяновской области, это я хорошо помню. Армейский адрес? Но тогда была бы указана воинская часть, а тут — улица, дом, квартира... Кто-то другой? Но кто? Николай Беляков умер, от Касимова вот телеграмма из Ульяновска... В Молдавии жил мой армейский приятель старшина Александров, но помнил и отмечал он только один день рождения — свой, читать не любил, моего адреса узнать не мог.

А Николай Пахомов читал много, был ненасытно любознателен, интересовался всякой жизнью, в каких бы формах она ни выражалась. Красивый был, серьезный, сильный парень. Мой ровесник. Месяца на два-три, кажется, постарше. Он был привязан ко мне, как я к нему, многолетней солдатской дружбой, такой сердечной, какая бывает только в юности.

Смежив глаза от слабости, я как во сне вижу далекий осенний день пятьдесят четвертого года, озябший городок Первомайск на Южном Буге и остро воняющую каменным углем железнодорожную станцию — тогда она называлась Голта. А вот и Николай проявился, белокурый, голубоглазый славянин, в офицерской форме, младший лейтенант, стройный такой, затянутый ремнями, и рядом с ним — темноволосая, смуглолицая Тамара, миниатюрная, изящная царевна, с тревожным взглядом. Верный друг и моя любимая подруга. Они провожают меня домой, я уже отслужил, старшина батареи, старший сержант запаса, а Николай вот остался в армии навсегда. Остается и Тамара, Тома, Томочка, моя единственная любовь. Здесь её дом, родина, уютный украинский городок в вишневых садах, но мы договорились не расставаться. Вот разберусь дома после многолетней отлучки, устроюсь на работу, и тогда... вместе... навечно.

Рядом с ними стоит мой добрый товарищ, однополчанин, поэт в душе и неплохой стихотворец, обаятельный Саша Мезин, рядовой связист — ему на гражданку через несколько дней, и, провожая меня, он как бы репетирует свой отъезд.

Я вижу всю нашу группу возбужденно-веселой, вижу себя на нижней ступеньке вагона, малость хмельного, — выпили по две стопки в станционном буфете — раскрасневшегося, в распахнутой шинели, с расстегнутым воротничком гимнастерки, и этот старший сержант сейчас и нравится мне и не нравится.

Нравится сердечностью и любовью ко всем этим прекрасным людям, но почему он так виновато-суетлив, почему в который уж раз назойливо просит, чтобы ребята писали ему, не ленились, не забывали солдатской дружбы, без которой и на гражданке не проживешь. Правда ведь, а? Саша-то напишет, я знаю, а вот Николай не любит эпистолярного жанра, но ты уж преодолей себя, Коля, ладно? И ты, Тома... Впрочем, я тебе сразу напишу, а потом — как мы договорились... Старший сержант бормочет еще что-то, а глаза будто просят прощенья у Тамары, безмолвно плачущей, верящей и не верящей ему, чувствующей уже вечную разлуку и не принимающей её.

Она придерживает от ветра волосы и не вытирает длинных, по всему лицу слез — они срываются с подбородка на белую кофточку, оставляя на ней темные, расползающиеся пятна. Легкое пальто у ней распахнуто, платок сбился на шею, концы его треплет ветер, и тонкая смуглая шея то скрывается, то снова жалобно обнажается.

Второй день ноября, уже прохладно, зябко, но никто не замечает этого, все трое бестолково говорят, и больше всех он, отъезжающий старший сержант — давайте писать... армейская дружба... приезжать в гости... отмечать дни рождения... перезнакомим детей...

Николай улыбается, Саша Мезин откровенно смеется насчет детей — они знают, почему он об этом заговорил, а Тамара еще не знает, молчит, кусая тонкие губы и не сводя горячих глаз со своего старшего сержанта, страдающих черных глаз, которые он целовал на каждом свиданьи. Она старается удержать его взглядом, а он пятится от него, он топчется уже на верхней ступеньке вагона, вот он уже на площадке тамбура — он отступает в спасительный вагон, он мысленно торопит отправление поезда, у него уже нет больше сил, Тамара.

Паровоз дает отправной гудок, потом грубо дергает и вдруг тормозит состав — по всей его длине бежит железный звон буферных тарелок, но затем со свистом пара и пыхтеньем паровоза вагон все-таки тронулся, и Николай, Саша, Тамара медленно поплыли назад. Тамара будто очнулась, вытянула вслед руки и пошла, пошла за вагоном, все убыстряя шаг.

«Толя! Толик! Коханый мий! — то ли кричала, то ли шептала ему в самое ухо она. — Не оставляй мене, Толик!»

Как же, не оставит, жди. Он уж вон за спиной проводника прячется, и тот сейчас захлопнет дверь.

«Толя, ридный мий чоловик! Приезжай, Толик!»

Не приедет он, Тамара, не плачь. Видишь, как виновато он тянет шею и выглядывает из-за плеча проводника — это он прощается с тобой. Навсегда прощается. Правда, он еще не знает этого, он на что-то еще надеется, ждет всемогущего чуда, которое уберет все препятствия и соединит вас.

Не будет чуда, старший сержант, не жди. Сорви стоп-кран, выпрыгни из вагона, останься. Она же любит тебя!

Не можешь. А она еще поспешает рядом с поездом, отставая уже от твоего вагона, она еще надеется на тебя, ждет. Николай и Саша издали машут руками, а она еще идет, торопится.

Эх, Толя ты, Толя! Всю жизнь ты будешь помнить обо этом, всю жизнь будешь жалеть. А как счастливо все у вас начиналось, какие радости вы сулили друг другу, как благодарили солдатскую судьбу, что она свела вас, соединила! Бедная солдатская судьба...

Трое суток с дневной остановкой в Пензе и стоянками на других станциях везли их, стриженных наголо крестьянских парней, в товарных вагонах на запад. Думали, в заграницу, но к концу третьих суток, утром выгрузили в Николаеве, большом приморском городе, еще не полностью отстроенном после войны. Рядом с новыми жилыми домами стояли пустые остовы полуразрушенных зданий, кирпичные стены уцелевших домов тоже рябились, исклеванные пулями и осколками, булыжное покрытие некоторых улиц было неровным, в ямках и ямах от авиабомб и снарядов. После войны прошло всего пять лет.

Над новобранцами хвостовых вагонов, едва выгрузились, опять хохотал весь эшелон. Вагоны те были из-под угля, убрать их как следует ребята поленились, настелили только дощатые нары, подмели кое-как полы и поехали. И вот теперь, как вчера и позавчера, в безбрежной толпе ожидая построения, забавлялись: черные, как негры Центральной Африки, тыкали друг в друга пальцами, узнавая и не узнавая, хохотали, скаля белые зубы и сверкая молочными белками светлых глаз.

Тогда Анатолий и увидел впервые русого голубоглазого парня, хорошо сложенного, стройного и серьезного, запомнил его, но познакомиться не успел. Над толпой взгремела команда «Строиться!», и маленький капитан, начальник эшелона, приказал: «Негры — на левый фланг!»

Под общий смех они подхватили свои опустевшие фанерные чемоданы с навесными замочками — подорожные продукты уже были съедены — и, толкаясь, побежали в хвост начавшей оформляться колонны. Тут Анатолий потерял голубоглазого, не успев даже узнать, пензенский он или ульяновский, земляк.

«Колонна, сми-ирррно-о! Шаго-ом арш! — звонко крикнул капитан, и громоздкая, затопившая всю улицу толпа шумно

тронулась. — Разговоррчики а строю!» — пригрозил капитан.

Булыжные улицы казались пустынными, машин почти не встречалось, по тротуарам шли легко одетые люди, собралась и сопровождала колонну стайка ребятишек, которые радостно оповещали прохожих: «Сибиряков гонют!»

Стояла середина марта, но снега уже не было, сверкали под солнцем лужи, и тепло одетые новобранцы, в ватниках и зимних пальто, а малахаях, в валенках топали по лужам под смех ребятишек и сочувственные, не всегда понятные замечания взрослых: речь иногда звучала певучая, украинская.

Колонна остановилась и обширном дворе громадной гарнизонной бани. Здесь, после переклички, новобранцы разделись, помылись, переоделись в солдатское обмундирование, а цивильное барахло, как было приказано, связали каждый в свой узел, снабдили его бумажкой с домашним адресом и ФИО владельца и сдали старшине карантина Махоркину, строгому усатому дядьке, который был старше их на четыре или целых пять лет и участвовал в войне.

«Шевелись, колхозники, — кричал он хрипло. — За бабьими юбками прятались до двадцати лет, детей, поди, нарожали, а тут семь лет без отпуска, в окопы сунули в семнадцать. .»

Да, старослужащие двадцать седьмого года рождения служили уже по семь лет, и вот ребят тридцатого-тридцать первого годов призвали по спецнабору не осенью 1951 года, а в начале марта, чтобы за лето они стали солдатами и могли заменить «стариков».

Переодетые и летнее обмундирование новобранцы сразу сделались одинаковыми, как огурцы на грядке, и растерялись, отыскивая земляков и дорожных знакомых.

Конечно же, голубоглазого парня Анатолий не нашел. Все теперь стали одинаковыми, бледно-зелеными, а гимнастерках и солдатских галифе (шинели ныдали позже), в пилотках того же самого знаменитого цвета хаки, все худоногие, а грубых ботинках, с черными обмотками вокруг икр.

И воинские начальники вдруг оказались новыми, не помятыми за дорогу, свеженькими, и предводительствовал у них уже не капитан, а подполковник, седеющий строевик, тонкий, наглаженный, неприступно строгий. Он стоял, перетянутый ремнем с портупеей, а окружении офицеров отдельно от солдатской толпы, выделяясь и высоким ростом, и некоторой начальственной отчужденностью, курил папиросу и снисходительно поглядывал на бестолково роящихся новобранцев. Докурив, он как-то легко и изящно поджал одну ногу, погасил о каблук глянцево сверкающего сапога окурок и, не целясь, отщелкнул его точно а мусорный ящик метрах в двух-трех. Тут же кто-то из офицеров заблажил: «Приготовиться к построению!» А чего теперь готовиться, когда без вещей, — побросали окурки, и вот мы готовы.

«О-отставить! Собрать окурки в мусорный ящик и очистить территорию!»

В минуту-две во дворе стало чисто, а от группы офицеров отделились пожилой, лет тридцати старший лейтенант и полноватый лупоглазый майор с пачкой листков в руке.

«Внимание! Внимание! — молодо и звонко прокричал он. — Все, кого я сейчас назову, выходите к старшему лейтенанту, командиру первой роты карантина. Внимание!.. Алимов. Анисимов. Ануфриев. Барсуков. . Где Барсуков?.. Живей, живей выходи!.. Волчков...

С вниманием слушал Анатолий, ожидая свою фамилию, но когда майор наконец выкрикнул «Ланин», именно а этот момент он решил надежней завязать непривычную обмотку, и майор повторил с досадой: «Ланин! Где Ланин?.. Быстрей. Оправдывать надо такую красивую фамилию. .»

Толпа вокруг старшего лейтенанта росла, и скоро он скомандовал, выбросив руку в сторону:

«В две шеренги ста-ановись!»

Вставали кто сбоку, кто позади него, очень суетно и бестолково, и он рассердился: «В две шеренги сказано, а не в колонну по два, серость! Да по ранжиру становитесь, по ранжиру, по росту. Самые высокие — на праавый фланг. Где правый фланг, сено-солома? Да вставай же рядом со мной, деревня!»

А ведь казалось, что азы построения они постигли еще по дороге сюда. Их собирали у районных военкоматов, у областных, в Ульяновске и в Пензе, по одному разу в сутки на тех станциях, где водили кормить. В общей сложности строили раз десять, если не больше, и каждый раз считали, делали перекличку по фамилиям. Надоело уже. Разве такой нудьгой должны заниматьси защитники Родины? Между тем командиры занимались именно этим, и занимались серьезно, истово, энергично, будто исполняли самый высокий долг. В какой-нибудь час с небольшим они сформировали все роты карантина, подразделили их на взводы и отделения, назначили командиров и повели строем и даже с песней и расположение части.

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным ха-аза-арам...

«Отставить старорежимную песню! Слушай сюда:

Мне ха-арашо, ка-алось я раздвига-ая,
Сю-уда хадить вече-ернею па-арой.
Стеной стаи-ит пшеница за-алатайя
Па ста-аранам да-ароги полевой».

Песню подхватили, но вразнобой, нестройно, сбивались с ноги, наступали на пятки вперед идущим, чертыхались. А старший лейтенант покрикивал бодро:

«Рро-ота! Рраз, два, три... Выше ножку! Раз, два, три!..»

Шли плохо, стадом, но уже однородным, одноцветным стадом, и горожане смотрели уважительней, а ребятишки по красным погонам определили род войск и кричали, задирая:

«Эй, пехота! Сто верст прошли, еще охота?»

Расположение части было почти в центре города, где из-за высокой каменной ограды вставали длинные казармы, а в середине, перед ними была обширная мощенная плитами площадь под названием плац. На этом плацу роты построили правильным прямоугольником — каре? — и стройный красавец подполковник, стоя в центре каре, сказал короткую речь.

Во-первых, сказал он, зовут меня гвардии подполковник Марков, я начальник карантина, который находится в воинской части 02394, и я поздравляю новобранцев с прибытием а эту слааную боевую часть. Во-вторых, сообщаю, что наш карантин есть временное воинское формирование, где вы, новобранцы, пройдете курс молодого бойца, то есть освоите азы военной науки — именно науки, а не солдатской самодеятельности! — и тогда будете не только хорошо ходить строем, но и действовать совместно, с быстротой и слаженностью, с какой действует единый здоровый организм, причем организм сильный, ловкий, отважный. Здесь вы, став солдатами, примете военную присягу и будете направлены в свои воинские части — это в-третьих...

Казарма оказалась бесконечно длинной и заставленной с обеих сторон двухэтажными металлическими кроватями, с тумбочками между ними. Середина казармы по всей длине пустовала — для построения личного состава, для прохода. Потом этот проход сузился — по всей длине поставили закрытые пирамиды для стрелкового оружия, а в самом дальнем конце повесили на стене обещание громадными буквами: «Не знаешь — научим, не хочешь — заставим!» Это постарались старички-фронтовички.

Хозяйничал здесь старшина роты сержант Алёксандров. Был он среднего роста, плотен, по-южному красив — черноволосый, большеглазый молдаванин, то порывистый, хвастливый, быстрый, то апатичный, лениво зевающий. Полгода назад он окончил полковую школу младших командиров, любил строевую службу, но послали его в штаб полка, и он освоился с конторской работой, не жаловался. Сейчас же он упоенно наслаждался, бросив штабные бумаги и получив под свое начало целую роту, был добр, великодушен, терпеливо учил салаг новой жизни.

В какие-нибудь полтора часа старшина выдал постельные принадлежности, научил всех заправлять кровати, раздал каждому по два белых подворотничка, показал как их подшивать, где курилка, туалет, военторг, назначил дневальных, послал заготовщиков в столовую и вывесил у входа собственноручно и красиво написанный адрес расположения карантина.

Армейская организованность в сравнении с совхозной показалась Анатолию сказочной. Все здесь делалось не только быстро, но ловко, точно, с веселой какой-то лихостью. Прошло всего полдня, а многие сотни людей были помыты, переодеты-переобуты, распределены по подразделениям, бытоустроены, и все это без ругани, без нудных конфликтов, без «не могу» и «не хочу», с попутным обучением новичков солдатским порядкам...

Сразу понрааился час послеобеденного отдыха — а чистой постельке, не стянутый ни ремнями, ни обмотками, под прохладной простынкой, на мягком матрасе после дощатых дорожных нар. Жаль, мало. Только глаза закрыл, а уж рык на всю казарму:

«Рота, подъем!»

Неужели прошел целый час? И собиратьси надо будто на пожар. Старшина кричит, подгоняет. Минута прошла, ну две, и опять как кнутом:

«Строиться!.. В одну шеренгу, ста-ановись!»

А тут кто ботинки не надел, кто в обмотках запутался, у кого штаны не застегнуты...

«Спишь в одном ботинке?! — гремит старшина. — Где другой? Становись босиком!»

И вот в проходе казармы в один ряд вытянулась сотня растерзанных людей: перекосившиеся гимнастерки с неправильно застегнутыми пуговицами, распахнутые воротники, вкривь и вкось затянутые ремни, несколько человек босиком, с ботинками а руках, некоторые в ботинках на босу ногу, без портянок и обмоток... Смех.

И старшина идет вдоль строи с улыбкой, останавливается перед Анатолием — он успел застегнуть только брюки, а гимнастерка распахнута, из ботинок хвостами висят белые портянки, в руках поясной ремень и ворох раскатанных обмоток, который он прижимает к груди.

«Выйти из строя!» — приказывает старшина и, когда тот вышел, поворачивает его кругом, лицом к шеренге.

Новобранцы весело скалятся, кто-то откровенно заржал, но старшина вроде бы заступился за Анатолия:

«Посмотри на них, рядовой Ланин, посмотри! И эти расхристанные разгильдяи, эти ленивые колхозники с картофельными животами еще смеются! А если боевая тревога? Если сейчас «В ружье!»? Куда вы годны? — И оскорбленно, гневно: — О-отбой! Отбой, приказываю! Всем в постели!» — А сам завернул рукаа гимнастерки у запястьи и смотрит на часы.

Новобранцы срывают с себя и бросают как попало одежду и обувь, с недоумением бухаются в постели. На второй этаж лезут с проклятьями — надо бы одним прыжком с подтягиванием, как показывал старшина, да не получается, не выходит. Анатолий два раза срывался, пока наконец не влез и угнездился, а старшина еще ждал и смотрел на часы. Значит, были ловкачи и похлеще.

«Четыре минуты! — горестно удивился старшина, опуская руку с часами. И это на „отбой“! Сколько же надо на „подъем“? Ну ничего, я из вас картошку вытрясу. По-одъем!..»

Семь раз играл старшина Александров «подъем» и «отбой», семь раз новобранцы заполошно одевались и раздевались, ложились в постели и суматошно вскакивали, причем верхние часто спрыгивали на нижних, падали, ругались, семь раз их строили и разгоняли, пока наконец старшина не заскучал и не стал позевывать. Но оптимистически пообещал:

«Натренируемся. „Отбой“ будем проводить за сорок секунд, на „подъем“ хватит одной минуты. А сейчас — привести себя в порядок, заправить постели и даю час личного времени: написать письма, подшить подворотнички, почистить ботинки, получить махорку».

— Ты чего улыбаешьси, пап? — спросила Люда.

— Вспомнил, дочка, как маялся в первые дни армейской службы.

— Чего это ты вдруг об армии? — удивилась жена. — И светишься весь?

— Поздравление от друга юности получил. От Николая Пахомова.

— При чем тут армия?

— Так ведь вся зрелая юность а армии прошла. Рядом с ним. Четыре года почти оттопали.

— Тогда, кажется, по три служили?

— По три. Но нас взяли по спецнабору в начале года и отпустили только в ноябре пятьдесят четвертого. Николай, правда, остался там, в кадрах.

Мы сидели за семейным праздничным столом, пили чай с тортом, Надя просматривала стопку поздравительных открыток и телеграмм и передавала их Люде. Та внимательно читала, шевеля губами, и после каждой с недоверчивым любопытством взглядывала на меня — надо же, ее старому отцу пишут о дружбе, о любви и другие молодые слова! — затем складывала бумаги стопкой, а в конце пересчитала и сообщила с улыбочкой:

— Только сорок шесть, пап. Четырех до юбилейного числа не хватает.

— Дошлют. Не сегодня, так завтра.

— Смотрите, как он уверен! — усмехнулась жена. — Будто знаменитый хоккеист или футболист!

— Куда мне! Просто запасся на всякий случаи хорошими друзьями. Даже вот старые не забыли.

— Он у нас и скромный, — сказала Надя. Она тоже любила эти взаимные подтруниванья. — До каких чинов дослужились, товарищ юбиляр?

— До старшего сержанта, мадемуазель. — Я тоже улыбнулся: Надя изучала французский и особых успехов не достигла, хотя школа подходила к концу, через год с небольшим в институт.

Она чутко уловила ход мысли, сквиталась:

— Армия — тоже школа, и выходят оттуда не только сержанты. У нас, правда, говорят, что такую школу лучше окончить заочно.

— Кто говорит?

— Ребята. У моей подружки брат служит — жуть, говорит, как в тюрьме. Дедовщина какая-то, «старики» помыкают молодыми, унижают их, бьют, дисциплина слабая, воровство, взятки, прапорщик продает хэбэшные носки, белье, обувь, пропадает даже оружие. Всегда, пишет, так было.

— Не всегда. В наше время подобной дикости не было.

— Ну еще бы! В ваше время и морозов таких, поди, не было.

— Не старайся, Надя, тут я тебе не уступлю.

— Правильно, пап, не сдавайся, — поддержала Люда. — Ее тоже в то время не было, а спорит. Я же вот не спорю. Я только не понимаю, пап, зачем он велел зашить карманы, если они сделаны? Не зря же их делали!

— Правильно, дочка, не зря, а чтобы класть платок, спички, еще что-то. А я руки туда засунул, вот старшина и рассердился. Он потом разъяснил: кулаки надо не в карманах держать, ты солдат, защитник Родины, руки должны быть свободными, готовыми для обороны и наступления, а при ходьбе — для стройности и широкой отмашки.

— Юбиляр, кажется, разворачивает свои мемуары, — сказала жена, подавая мне новую чашку чая. — Послушаем или включим телек?

— Надо уважить, — сказала Надя.

А Люда, наверно, пыталась представить меня юным и стройным, марширующим с широкой отмашкой в строю, потому что заглядывала сбоку и лицо удивленно и поощряюще и ждала подробностей. Но самое забааное а том, что и сам, еще не отошедший от приступа болезни, легко оказалси а том времени и уже топал в ротной колонне на полковом плацу, готовился к первомайскому параду.

Каждое утро, два часа до завтрака весь карантин маршировал на плацу то колоннами, то разворачиваясь и ше-

ренги, то с песней, то молча, то поротно или повзводно, то отделениями, а то и по одному, учась строевому шагу, выправке, приветствию командиров и друг друга.

И была это не игра в солдатики, дорогие мои, это была строевая подготовка, а проще — серьезная работа по переделке деревенских увальней в настоящих солдат: физически крепких, выносливых, сообразительных, смелых. Ведь робкий солдатик — это обычно слабенький, неуверенный в себе, не знающий основ военной науки и не владеющий оружием парнишка. А солдат — это уже мужчина, он способен не только постоять за себя, но и защитить других, это уже храбрый воин, это в конечном счете герой. Потенциальный герой. И не какой-нибудь, а всего Советского Союза. Нам показывали таких в облвоенкомате Ульяновска, потом в Пензе и вот теперь в Николаеве — по виду обыкновенные, ничего особенного, мирные и даже смирные люди, чинов высоких не достигли. В гвардейской бригаде, куда входил наш полк и состоящий при нем карантин, служил завскладом ГСМ* Герой Советского Союза в звании старшины, вот забыл фамилию. Простенькая какая-то фамилия, вроде бы овощная. Огурцов?.. Капусткин?.. Морковкин?.. Укропов?.. Петрушкин?.. Хре... Вот — Хренов! Герой Хренов! И сказать-то смешно, а он еще росточку не добрал, кривоногий, лицо и шея пятнистые от ожогов... И вот такой-то невзрачный мужичок, тыловик по должности, в боевой обстановке оказался героем. С двумя своими помощниками по складу он однажды уничтожил группу прорвавшихся в наш тыл немецких мотоциклистов, потом, рискуя погибнуть, спас свой склад, загоревшийся во время бомбежки, затем при форсировании Днепра как-то лихо отличился — он рассказывал как, да я забыл. Тогда много ходило рассказов о фронтовых подвигах, многие наши младшие наставники, сержанты и солдаты двадцать седьмого года рождения участвовали в войне, на их гимнастерках поблескивали медали, не говори уже об офицерах, которые прошли всю войну — их парадные кителя прямо-таки сверкали на солнце.

Фронтовики знали цену силе и ловкости, они многое умели, и все что умели, щедро несли нам. Да, это были «деды» — тогда их называли стариками, — но деды не в смысле полублатных, помыкающих новобранцами, а в смысле старших братьев, которые приваживают младших к ратному и мирному труду. После войны полк каждое лето работал на сенокосе и уборке хлебов, рвал гранит и песчаник на каменных берегах Южного Буга, помогал восстанавливать и строить сахарные заводы, жилые дома, коровники, птичники, силосные ямы и башни... И был это, дорогие мои, строевой, а не строительный полк, то есть работал он как бы между делом, а военная и политическая подготовка оставалась главной, и за нее строго спрашивали. Дважды в году, весной и осенью, проводились поверки — как экзамены за зимний и летний семестры, с тактическими учениями, с боевыми стрельбами, и без поблажек кому бы то ни было. Кому? Ну, писарям, музыкантам, санинструкторам — словом, нестроевым специалистам. В чем-то они, конечно, отставали, но уставную службу знали все, стреляли неплохо из личного оружия, а в строю музыканты ходили порой не хуже нас, не говоря уж о политической подготовке. Ведь они почти все были со средним образованием, а строевые солдаты тогда и семилетки не все имели — четыре-пять классов сельской школы, и впрягали в работу, не до учебы. Я пошел работать в совхоз в сорок втором году с одиннадцати лет — это сезонно, с мая по сентябрь, во время каникул. А в пятнадцать считался уже самым грамотным человеком в деревне — как же, семилетчик! — и уже работал постоянно.

Что такое политическая подготовка? А это, дочка, рассказы о нашей родине и ее постоянных заботах: о деревне, о заводах и фабриках, о науке, культуре и так дальше — чтобы солдаты не отрывались от мирных дел и знали что они охраняют. Занимались, конечно, и своими делами: как лучше учиться стрелять, ходить в атаку, рыть окопы для себя и для техники, маскироваться. Полевые тактические ученья тогда проводились с боевой стрельбой, с приближением к фронтовой обстановке.

— Да ладно вам, нашли о чем в праздничный вечер. Ты, папань, лучше скажи вот что: прожита целая куча времени...

— Полкучи, — пожалела меня Люда.

— Ну пусть полкучи, тоже немало. Скажи, папань: был ли ты счастлив за это время? Чтобы по-настоящему, безоглядно, взахлеб? Чтобы сердце колотилось и радости, чтобы дыханье перехватывало, а?

— Был, Надя. Кажется, был. Только я не знал об этом.

— Не понимал, что счастлив?

— Не понимал. Радовался, ликовал даже, но такое состояние было минутным, а счастье — это ведь что-то особенное, устойчивое, надолго, и вот такое-то прочное состояние, казалось, впереди. Вот, мечтал я, отслужу свой срок в армии, закончу наконец школу, институт, стану работать. .

— Женюсь, — подсказала Люда.

— Но всего этого ты достиг, папаня! — недоумевала Надя.

— Достиг, но не сразу. Вот если бы все сразу, тогда бы да, а так, по частям, через годы труда, волосы вот седеют, болезни пришли... И гляжу я уж больше не вперед, а назад, и вижу, что счастье уже было, что оно давно позади, а не впереди, и светит оно мне из того далекого подневольного времени, которое не только счастливым не назовешь, его проклятым считают, и оно, проклятое то время, протекло у меня и армия. Самое счастливое...

— Поздравляем! — Жена поднялась, прошла в передний угол, где и стародавние времена стояли бы иконы, а теперь расселся телевизор, щелкнула кнопкой. — Извини, счастливчик, но сегодня очередная серия «Семнадцати мгновений весны».

Вот так вот. И поделом, старый хрен, не откровенничай. Твоя весна прошла отдельно от ее весны, а если еще и счастливая — не хвастайся, не обижай близких. Они вовсе не эгоисты и любят тебя, а где любовь, там и ревность. Ты ведь принадлежишь им, они хотят взаимности, да и твое счастье, которого ты опять, вероятно, не сознаешь, заключено в них, а не в событиях тридцатилетней давности и полузабытых людях.

Уже небесно мерцал-светился экран, уже появился главный герой — любимец женщин, а я еще сидел и чего-то ждал, не решаясь уйти в свою комнату. Я не любил ни ремесленно скроенного фильма, ни его главного героя-разведчика, которого играл красивый, вялый и ординарный актер. Но и своих слушателей я потерял. А как хотелось им рассказать о своем превращении в солдата, о постижении новой жизни, не такой уж простой и легкой, о своих товарищах и друзьях. Неужто это не интересно?

Продолжение в следующем номере.

* Горюче-смазочные материалы.

Роман не для слабонервных

Мы открываем неизвестного еще в России писателя, о котором в нашей плюралистической прессе не писали ни разу. Имя его — Григорий Климов.

Мы представляем читателю еще одну версию тайны «великих чисток». Что в ней правда, а что — фантастика, читатель решит сам, но то, что он услышит неожиданные вещи, гарантировано.

О том, что бесы готовили русскую революцию, мы знаем и по гениальному произведению Достоевского «Бесы», и по «Дьяволиаде», «Мастеру и Маргарите» Булгакова, но как изгоняли этих бесов, и изгнали ли — об этом нам до сих пор ничего неизвестно.

Попробуем взглянуть на революцию и все последующие события не с материалистической, а с мистической точки зрения. Посмотрим на деятелей революции не как на прагматиков и экономистов, а как на сатанистов, глазами святой инквизиции.

Чрезвычайно странно для наших материалистических голов, но... картина вырисовывается чрезвычайно ясная. Все факты укладываются в теорию, или по крайней мере не противоречат ей.

Мне всегда казалось странным, почему известные деятели нашего и мирового прогресса — М. Агурский, Б. Окуджава, В. Аксенов, Ч. Айтматов, А. Рыбаков и многие, многие другие, опять упрекающие народ, опять борющиеся «за нашу и вашу свободу» против нынешней власти, не покаятся для начала за грехи отцов своих, кровавых творцов революции!!

И что за странная тяга к новым революциям, по всё тем же коридорам власти партийной у людей, чьи отцы и деды сначала выковывали эту власть, а потом от неё же и погибали!

«Бесовское наваждение», — скажет читатель. Об этом говорит в своем романе «Князь мира сего» современный писатель Григорий Петрович Климов, живущий сегодня в США.

Цель романа — создание полуфантастической ситуации, еще одной антиутопии. Западным читателям многие сюжеты из романа казались чистой аллегорией, литературным кроссвордом, наподобие романов Умберто Эко, но читатели постарше из России хорошо знакомы и с фактической стороной этой «занятной кабалистики». Для них аллегория покажется самой что ни на есть — всамделишной правдой, какой бы фантастической она ни казалась.

Тоталитарный режим должен быть осмыслен всеми нами со всех сторон, чтобы не допустить нового его возвращения, и потому любая версия, любое толкование — обязательно должно быть представлено на суд читателю.

Сознательное замалчивание «Князя мира сего» должно восприниматься читателем так же, как былые замалчивания «Колымских рассказов» Варлама Шаламова, «Реквиема» Анны Ахматовой, «Дела Тулаева» Виктора Сержа, «Мнимых величин» Николая Нарокова, «Погорельщины» Николая Клюева, «России в концлагере» Ивана Солоневича, «Неугасимой лампады» Бориса Ширяева, «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына.



Григорий Климов в Берлине в 1945 г.

Все версии столь массового истребления народов должны быть обязательно прочитаны. Да и так ли они противоречат друг другу! Возьмите «Дело Тулаева» Виктора Сержа и «Мнимые величины» Николая Нарокова с их логическими объяснениями неизбежности и массовых процессов, и искренних признаний жертв о чудовищных преступлениях, которые никогда не совершались. Разве не укладываются они в картину сатанинской порчи народа и государства!

И почему процессы подобных кровавых чисток общества мы наблюдаем на протяжении всей мировой истории, когда о марксизме никто еще и не слышал!

Автор романа не снимает ответственности за содеянное ни с жертв чисток, ни с палачей. Да и главный герой романа, советский доктор Фауст, маршал госбезопасности Максим Руднев, не становится ли после всех чисток сам — представителем князя Тьмы!

Иному читателю покажется, что в романе «Князь мира сего» мы сталкиваемся с оправданием «великих чисток», но этот флер благородства главного героя романа быстро исчезает. Сатана уничтожает себе подобных именно потому, что он очень хорошо знает их приметы. Впрочем, сатана всегда — «благороден», вспомним того же булгаковского Воланда, лермонтовского Демона или сегодняшнего беса в пьесах Михаила Ворфоломеева. Таким ему положено быть, чтобы завоевывать наши души, но как омерзительны деяния его, насколько трагичен жуткий ход событий!

Уверен, что роман «Князь мира сего» — будет пользоваться читательским успехом. Уверен, что найдется и немало противников, постарающихся или замолчать роман, или облить и роман, и автора, и журнал грязью.

Обратите внимание, почему так много кричала не только наша, но и вся мировая пресса о совершенно посредственных произведениях А. Рыбакова, Д. Гранина и М. Шатрова и обошла молчанием книги В. Сержа, Н. Нарокова, оболгала А. Солженицына!!

Почему мы о книгах Роя Медведева знаем больше, чем о гораздо более серьезных аналитических разборах нашей революции А. Авторханова и Н. Рутченко!

Нужна ли была правда о России все эти десятилетия западной демократии! Не заражены ли многие из них той же болезнью легионеров, распространяемой «князем мира сего»! И потому так неожиданны откровения в романе Григория Климова, и потому каждый из нас, прочитав роман, узнает что-то новое. Это мистика, демонстрируемая с помощью фактов нашей суровой действительности.

Это, если хотите, социалистический реализм, если взять за допущение реальность Сатаны и его деяний. Социалистический реализм — то есть, жуткий реализм реального социализма.

Проще прочитать этот роман, как социальную фантастику, как очередную антиутопию, еще один миф о двадцатом веке, занимательную кабалистику — и успокоиться.

Гораздо труднее — воспринять роман всерьез.

Не случайно так сложна и запутана история публикации этого романа за рубежом. Его начинали печатать такие известные эмигрантские издания, как аргентинская газета «Наша страна», франкфуртские «Грани», парижское «Возрождение», канадский «Современник»... До конца довела публикацию только газета «Русская жизнь», выходящая в Сан-Франциско. После окончания печатания обозреватель «Русской жизни» писал: «Роман Г. Климова является, действительно, большим происшествием, и не только в литературном мире. Совершенно понятно, почему он должен стать «бестселлером». Я сам читая его, с нетерпением ожидая следующего номера газеты и сердясь на редакцию за то, что она устроила два «выходных» дня в неделю, когда газета не выходит».

Наборщики, из русских эмигрантов, бегали к редактору и спрашивали: «Послушайте, неужели это правда!».

А вот мнение о писателе зарубежной прессы: «Климов — проницательный наблюдатель... Он великолепный рассказчик. . Трезвый и реалистичный... Вдумчивый и бесстрастный человек» («Сетурдей ревю», Нью-Йорк), «Здесь бьется тайное сердце России... Григорий Климов кажется символом

тайного сердца России» («Йоркшир обсервер», Англия), «Климов имеет репутацию человека честного и надежного» («Христианский регистр», США), «Князь...» Климова — это книга страшная и не для слабонервных. Климов затронул в ней такие вопросы, на которые наложено табу» («Русское дело», Нью-Йорк), «Писатели и журналисты избегают этой скользкой темы, а редакторы ставят её под запрет» («Россия», Нью-Йорк). Американский книготорговец пишет: «Ваши книги пользуются большим успехом у советских дипломатов. И у советских матросов тоже: их перепродают в Москве по сто рублей».

Кто же такой — Григорий Петрович Климов, откуда столь обширные знания?

Послушаем сначала его самого: «Автор — самый обычный русский человек, солдат и гражданин. Автор имеет меньше оснований обижаться на Сталина, чем большинство русских. Он ровесник Октябрьской Революции, вступивший в активную жизнь практически в первые дни войны 1941 года. Его мысли и переживания — это то, чем живет и что думает молодое поколение советских людей... Он знает теорию и практику сталинского коммунизма как каждый русский — своей кровью, своим телом. Автор вовсе не исключение в современном советском обществе, он любит свободу и демократию не больше и не меньше, чем любой из русских».

Родом Григорий Климов из Новочеркасска, отец — известный врач. После окончания школы с золотой медалью учился в Новочеркасском индустриальном институте. Стал инженером-электриком. Затем аспирантура в Московском энергетическом институте и одновременно учеба в Московском институте иностранных языков. Война, окопы, Ленинградский фронт, откуда был отозван незадолго до прорыва блокады в Военно-дипломатическую Академию. Служил в Советской Военной Администрации в Берлине.

Подобно еще одному талантливому писателю второй эмигрантской волны Сергею Юрасову, автору романа «Враг народа», после демобилизации из армии перешел в Западную Германию.

Весь военный период вплоть до решения остаться в Германии описан Григорием Климовым в нашумевшем романе «Берлинский Кремль». (Второе расширенное издание вышло под названием «Крылья холопа».)

«Берлинский кремль» как «книга месяца» вышел семнадцатимиллионным тиражом в американском «Ридерс дайджест» осенью 1953 года. Был переведен на все европейские языки. Кинофильм по этой книге получил первый приз на Международном кинофестивале в Берлине в 1954 году и завоевал титул «Лучший немецкий фильм 1954 года». Обербургомистр Западного Берлина Эрнст Ройтер писал: «Книга майора Климова «Берлинский Кремль» чрезвычайно ценный вклад для понимания всего происходящего в Советской России... Все те, кто глубоко обеспокоен будущим Запада, должен внимательно прочесть эту книгу».

В этом автобиографическом романе Григорий Климов психологически точно передает всю атмосферу первых лет послевоенной России и Германии. CСпособности аналитика, инженера и дипломата счастливо соединились с литературным даром. Поэтому вскоре после выхода романа им заинтересовались в высоких американских кругах, готовящихся к ведению психологической войны с Советским Союзом. Его пригласили участвовать в одном из наиболее засекреченных до сих пор проектов американской разведки — Гарвардского проекта по изучению советского человека. Для участия в проекте были приглашены лучшие психологи, социологи, политологи, советологи разных стран. Разработки Гарвардского проекта и сейчас лежат в основе всех идеологических и пропагандистских акций США при работе с советскими людьми. Наши либералы и демократы даже не подозревают, от Б. Ельцина до Ю. Афанасьева, как умело направляют их усилия по расчленению и развалу России все те же повара Гарвардской кухни. Были разработаны так называемые Роршах-тесты, проведены массовые опросы послевоенной эмиграции, чтобы понять психологические комплексы советского человека, вплоть до комплекса Ленина.

Григорий Климов был одним из руководителей этой программы ведения психовойны. Очевидно за время работы в этой сверхсекретной программе он детально познакомился с методами и американской и советской разведок.

В каком-то смысле роман «Князь мира сего» — итог работы Гарвардвардского проекта, обобщение многих томов на языке «черной магии». Достаточно хорошо изучив роман «Князь мира сего», любой из читателей сам может делать выводы по поводу многих современных политических акций.

За публикацию романа на его автора «разозлились» секретные службы равно и СССР, и США. Американцы, возможно, клянут тот час когда пригласили Климова в Гарвардский проект, выплыло наружу то, что предполагалось держать в строжайшем секрете.

Дело не в том, есть ли у КГБ тринадцатый отдел или нет, не в конкретных описаниях масок колдунов, ведьм и прорицателей. Важна общая направленность, общая установка на те или другие психологические комплексы человека. Связь экстремистских левых течений с извращенными сексуальными наклонностями замечена еще задолго до Григория Климова, но знание темных глубин человека, темных законов социальной психологии, конечно же пригодилось при разработке законов психологической тайной войны.

Роман Григория Климова — втройне интересен: и как источник необычайных, непривычных знаний, и как интереснейший детективный роман о закулисных действиях советской разведки и контрразведки, и как одна из продуманных версий развития сталинского режима...

Человеку верующему он будет понятен больше, чем атеисту, но задуматься роман «Князь мира сего» заставит многих. Даже среди тех, кто сам склонен примкнуть к легиону сатанинских сил. Возможно, столь подробно анализируя авторский замысел еще до полной публикации романа в журнале, я опережаю читательское восприятие, навязываю свою точку зрения. Конечно, пусть каждый прочитает его по-своему, не обязательно соглашаясь со мной. Я уверен лишь в одном, что появление этого романа в СССР — значительное событие в нашем самопознании, в нашем стремлении «дойти до сути» всех трагических событий собственной истории.

Видится ли выход для нашей страны, для нашего народа в этом романе? Несомненно. Он — в возвращении к религии, в подчинении Богу. Все остальные выходы из состояния «легионеров» лишь приведут к новым «великим чисткам». Ибо не суждено победить Сатане. И вновь придя к власти, он вновь погубит сам себя. Зло не может жить со злом, оно взаимоуничтожается...

Редакция журнала «Слово» говорила с Григорием Петровичем, и сообщает читателям, что Григорий Климов рад публикации на Родине своего главного романа «Князь мира сего» в журнале «Слово». Недавно у него вышел новый роман «Имя мое легион», своего рода продолжение «Князя мира сего». В новом романе рассказывается о психологической войне 1950—85 годов. Кроме этого у писателя вышло два сборника статей... Несмотря на возраст (ему семьдесят три года), он продолжает работать, охотно встречался с русскими писателями (С. Куняевым, Э. Сафоновым, С. Селивановой и др.) во время их поездки по Америке.

Григорий Климов — верен России и считает, что его романы помогут русским людям избавиться от сатанинских влечений.

Давайте откроем без всяких предубеждений этот увлекательный роман и пройдем вместе с автором по всем кругам нашего отечественного ада, вглядимся в эту страшную картину нового средневековья, предлагаемую автором.

Я уверен, найдутся люди, которые и автору, и журналу за публикацию романа предъявят самые немыслимые обвинения в том, чего нет и в помине в книге. Но такова судьба подобных книг.

Это — фантасмагорический вариант того, что было с нами, того, что вновь может быть. Да, мы знавали Вия и пострашнее, мы привыкли заглядывать в бездну, приглядимся же и к климовскому Фаусту с маршальскими погонами...

Кроме всего прочего, хочу заметить: перед нами классический семейный роман, где все бури, все страсти замкнуты на судьбы одной семьи.

И последнее: прежде чем упрекать редакцию журнала в напечатании подобного романа, подумайте, в чем он вам не близок, и не сидит ли в вас что-то от темных бесовских сил? Мы заглядываем за грань предельную, в страшную бездну. Может ли подобная бездна поглотить всех нас? Только в том случае, если мы ее не увидим. Разоблаченный дьявол не страшен. Так не убоимся же правды!

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

ГРИГОРИЙ КЛИМОВ

Князь мира сего

Тихий ангел

Имея очи, не видите?
Имея уши, не слышите?
Марк. 8; 18

Когда Максим Руднев был ребенком, а это было еще до революции, перед сном мать заставляла его молиться Богу. Максим безразлично бормотал под нос «Отче наш», а потом обращался к Богу с личной просьбой:

— Боженька, пожалуйста, сделай меня большим и сильным. А то вчера Федька-Косой опять поймал меня на соседском дворе и побил. Сделай так, чтобы я мог побить всех. Так, чтобы одной левой рукой, одним мизинчиком.

Эту просьбу он повторял после каждой драки с Федькой-Косым, который жил по соседству и считался самым отъявленным хулиганом на всю округу. Подумав, Максим шепотом предлагал в обмен:

— Если хочешь, Боженька, то за это укороти мне немножко жизнь...

У Бориса же, который родился после революции, уже с детства проявился более практический подход к жизни. Если он не доедал чего-нибудь, мать серьезно говорила:

— Смотри, Бобка, что остается в тарелке — это твои сила. Если не съешь, потом тебя все девчонки бить будут.

Мальчишка верил этому и готов был вылизать тарелку и лопнуть, лишь бы девчонки не оказались сильнее его. Эта привычка подчищать тарелку осталась у него на всю жизнь.

Позже обнаружилось, что Максим пишет левой рукой. Младший брат поддразнивал старшего:

— Эй, ты, левша! А ну, брось камень правой!

Мать же сказала строго:

— Не смей, Бобка. Это его Бог наказал, — чтобы он не обращался к Богу с глупыми просьбами.

Хотя и левша, но школу Максим окончил с отличными отметками. Он поступил на исторический факультет Московского университета и мечтал стать профессором. Помимо профессорских амбиций, он еще любил командовать людьми. Потому он вскоре вступил в партию и даже выдвинулся в секретари факультетской парторганизации.

Дома же Максим любил подчеркивать свою роль старшего брата. Частенько он посылал младшего брата с записочками к девушкам, за которыми он ухаживал. Но только тогда, когда успех был обеспечен, — как свидетеля своих побед. Если же успех был под вопросом, Максим находил другие пути — без свидетелей.

Хотя Борис был значительно младше Максима, но к старшему брату он всегда относился довольно скептически. Может быть, потому, что старший везде искал возможность покомандовать, а младший терпеть не мог, когда им командуют. Или, может быть, потому, что левша Максим еще умел шевелить ушами и часто демонстрировал это.

— В точности, как осел! — говорил младший.

Несмотря на это и университет Максим окончил с блестящими успехами. Так как он хорошо проявил себя в должности секретаря факультетской парторганизации, то вместо работы по специальности, учителем истории, он получил по партийной линии назначение на службу в ГПУ. Звание уполномоченного ГПУ, что в то время соответствовало чину капитана, вполне импонировало амбициям Максима. А тем более щеголеватая военная форма и малиновые петлицы, которые наводили страх на окружающих.

Максим никому не сказал о своем назначении, а потом вдруг появился дома в полной форме ГПУ. На поясе в новенькой кобуре поблескивал маленький браунинг системы Коровина, что считалось в ГПУ особым шиком. Увидев зловещие петлицы, их отец, пожилой доктор-гинеколог, неодобрительно покачал головой:

— Я стараюсь продлить жизнь людей, а ты будешь заниматься ее сокращением. Нехорошее это занятие.

Единственным, на кого форма и браунинг Максима не произвели ни малейшего впечатления, был младший брат. Первая стычка произошла у них, когда Борису исполнилось четырнадцать лет. Максим сидел за столом и заполнял служебную анкету. Чтобы идти в ногу со временем и своей должностью, в графе о родителях он написал расплывчатое определение «трудящиеси». Борис заметил это и решил, что этим брат отказывается от их отца.

— Отец не рабочий, а доктор, — сказал он. — Зачем ты врешь?

— Не твоего ума дело, — ответил старший.

— Сразу видно, что левша, — насмешливо бросил младший. — Все слева делает.

— Молокосос! — вскипел уполномоченный ГПУ. — Сейчас я тебе уши надеру.

— Попробуй, — сказал школьник. Чтобы выровнять разницу в силах, он зажал в кулаке вилку и следил за каждым движением брата с таким деловитым спокойствием, что тот решил лучше не пробовать.

Как это ни странно, Максим нисколько не обиделся. Наоборот, потом он даже хвастался своим приятелям:

— Вот у меня младший брат — чуть мне вилку в живот не засадил. Такого лучше не тронь.

Однако вскоре он сам же и забыл про свой совет. Следующая, уже более серьезная стычка произошла у них вскоре после того, как ГПУ переименовали в НКВД.

Жили они на тихой окраине Москвы, во флигеле в глубине двора. Зимой, когда дворик заносило глубоким снегом, во флигеле топили кафельные голландские печи, где так приятно погреть спину о кафельные изразцы. Уголь и дрова для печей приходилось носить ведрами из погреба, для чего нужно было выходить во двор, что по снегу не особенно приятно. Эти прогулки в погреб считались поочередной обязанностью братьев, хотя с тех пор, как Максим надел малиновые петлицы, делал он это крайне неохотно.

Как-то мать послала Максима за углем. Борис лежал в соседней комнате на большом покрытом ковром сундуке, который служил ему постелью, и читал увлекательный роман Генри Райдера Хаггарда «Дочь Монтесумы». Старший брат вошел в комнату младшего и небрежно приказал:

— Бобка, пойди-ка принеси угля!

— Мать тебя послала — ты и иди, — возразил младший.

— Ты лучше слушай, что тебе говорят.

— Вот когда мать мне скажет, тогда я и пойду.

— Смотри, если через три минуты ты не пойдешь, то я приду с собачьей плеткой! — пригрозил уполномоченный НКВД и вышел из комнаты. Собачья плеть всегда висела на вешалке в коридоре, как полагается в доме, где есть немецкая овчарка.

Младший отложил книжку в сторону, встал с сундука и потихоньку вытянул нижний ящик стола. Под учебниками физики и химии там лежал медный кастет, уже проверенный в нескольких драках. Он надел кастет на руку и опять улегся на свой сундук, держа правую руку в кармане, а в левой «Дочь Монтесумы».

Он читал, как несчастного пленника привязывают к каменному алтарю, чтобы принести его в жертву богам, как зловещий жрец ацтеков приближается к нему с жертвенным ножом. В этот момент а комнату вошел Максим, держа в руках собачью плеть.

— Считаю до трех, — сказал он. — Ра-аз... Два-а.. Три-и!

Дальнейшее Максим описывал своим приятелям так:

— Да-а... Такого я еще никогда не видел... Чтобы человек прыгал с положения лежа на спине. От сундука до двери минимум шесть метров. Так он взвился а воздух и, как тигр, прямо мне на голову. Слоано его ножом ткнули. Я с плетью, а он на меня с кастетом.

— Неужели? — удивлялись приятели.

— Да-а.. Ох же и свалка получилась. Шкаф вдребезги разломали. У стола две ножки отломали. Про стулья я уж и не говорю — одни щепки остались. Потом я специально сундук проверял — так аж крышка треснула. Это он спиной продавил, когда на меня прыгал. Одна только печка целая осталась.

— Кто же победил?

— Вничью! — с некоторой гордостью за младшего брата говорил Максим. — Его в школе так и прозвали — бугай! Никто с ним справиться не может. Он на турнике уже солнце крутит.

— Кто же пошел за углем?

— Мать пошла. Тогда он у нее ведро забрал, а мне говорит: «Ну, погоди до следующего раза!» Вот же чертяка. Но зато на него можно положиться.

И в этом отношении Максим не ошибся: если младший брат сказал что-нибудь, то на него можно положиться. До следующего раза ждать пришлось недолго.

В школе, где учился Борис, состоялся вечер самодеятельности. После самодеятельности были танцы в гимнастическом зале, а после танцев, как обычно, драка на улице с учениками соседней школы. В самый разгар схватки одноклассник Бориса Иван Странник ни с того ни с сего поднял стрельбу в воздух из маузера, который он стащил у своего отца, работавшего цензором в Горсовете. Не зная, кто стреляет, обе партии пустились врассыпную. Первым, испугавшись собственной храбрости, убежал сам Иван, предварительно сунув пистолет Борису.

На следующее утро Борис сидел у себя в комнате и, в ожидании Ивана, из любопытства разбирал огромный маузер. Зачем-то в комнату вошел Максим. Увидев в руках младшего брата настоящий пистолет, да еще маузер, он так растерялся, что сначала даже ничего не сказал, а вышел и стал о чем-то шептаться с матерью.

— Борис, пойди принеси дроа из погреба! — попросила мать.

Тот собрал свой маузер и, положив его в карман, отправился в погреб. Уполномоченный НКВД воспользовался этим, чтобы обыскать комнату младшего брата. Не найдя пистолета, он схватил с вешалки злосчастную собачью плетку, которая в его представлении являлась символом власти а доме, и выскочил на двор вслед за Борисом.

— Дай сюда пистолет! — скомандовал он.

— Не дам, — твердо ответил младший, запуская руку в карман.

Старший поднял плеть:

— Да или нет?

Вместо ответа младший вытащил руку из кармана, и а лицо брата ударил дым и огонь пистолетного выстрела. Максим застыл с поднятой рукой, а ему а упор, как из огнетушителя, плескали выстрелы из крупнокалиберного пистолета. Он попятился к крыльцу.

— Брось плеть! — скомандовал Борис. — Руки вверх!

Уполномоченный НКВД послушно бросил плеть в снег и поднял руки.

— Заходи в дом! — приказал Борис. — Быстро!

Когда старший брат скрылся за дверью, младший, как заяц, махнул через забор. Если придет милиция, то пусть Максим сам оправдывается, почему подняли стрельбу среди бела дня. Тем временем Борис по глубокому снегу, в одной рубашке, поддерживая штаны, спадающие от тяжести болтающегося в кармане пистолета, добрался до Ивана и отдал ему маузер. Как Иван объяснял своему отцу недостачу патронов, осталось неизвестным.

Вечером, узнав о происшествии, доктор Руднев ворчал:

— У нас предки из казаков, а потому у нас в роду есть где-то польская кровь. И турецкая тоже есть. Видно, Максим в поляка пошел: пенонзеи не маем, зато гонор маем. А вот Борис чистый турок, прямо башибузук.

Максим чувствовал себя героем дня и хвалился:

— Борька в меня стрелял-стрелял — и ни разу не попал.

— Так ведь я ж тебе мимо ушей целил, — неохотно сообщил школьник. — Как укротитель в цирке.

В досках старого флигеля было много дырок от выдернутых гвоздей. Позже Максим показывал эти дырки своим приятелям и с гордостью рассказывал:

— Видите, это Борька в меня стрелял. Весь дом изрешетил. Ох же и отчаянный он у меня!

Есть люди, которые не могут жить со своими ближними на равных правах. Они всегда стараются быть господами, но если это не получается, тогда они сами лезут и слуги к тому, кто оказался сильнее. Так вот и Максим. Не в состоянии подчинить себе младшего брата, он не только уравнял его в правах, но даже стал немного заискивать перед ним. Стараясь завоевать его доверие, несмотря на большую разницу и возрасте, он часто приглашал его в компанию своих знакомых и делился с ним всеми своими секретами. Борис же, наученный опытом, держался немного настороже и сохранял безопасную дистанцию.

Разница между братьями проскальзывала во многом. Максим был сухощавый и с тонкой костью, с серыми глазами и светлыми, слегка вьющимися волосами, которыми он очень гордился. Губы у него были узкие, нервные, властные. По этому поводу он утверждал, что такой же рот был у Ницше и Шопенгауэра. Студентом он увлекался легкой атлетикой, хорошо плавал и бегал на лыжах. Борис же, широкоплечий и темиокожий, предпочитал тяжелую атлетику и гимнастику на снарядах. Старший брал на вспышку, а младший на выдержку.

У Максима всегда было много друзей, которые довольно быстро менялись. У Бориса друзей было меньше, но зато они почти не менялись. Максим постоянно брал у своих друзей книжки. И постоянно бывшие приятели Максима приходили к Борису и, немного смущаясь, просили вернуть книжки, которые старший брат взял у них почитать несколько лет тому назад.

Когда Борис перешел в 8-й класс, он увлекся охотой и купил себе «Фролоаку» с магазином на четыре патрона. Вместо картечи он зарядил ружье рублеными кусками свинцовой трубы. Как и полагается настоящему охотнику, он повесил заряженное таким образом ружье в изголовье своей кровати.

Однажды, вернувшись из школы, он уже на пороге почувствовал острый запах охотничьего пороха. Ружье валялось на постели, а по дубовой доске стола, где Борис готовил свои уроки, расходился рваный щербленый след выстрела. Заряд рубленого свинца косо резанул по столу и засел глубоко в стене. У Бориса екнуло сердце: что если... Он оглянулся по комнате, ища следы крови. Убедившись, что крови нет, он пошел искать Максима. Тот сидел на кухне в своей щегольской форме НКВД и со смущенным аидом.

— Ну, как ружье стреляет? — словно между прочим спросил младший. — Хорошо?

— Да, знаешь, я хотел показать знакомым... А оно вдруг выстрелило...

— Удивляюсь, как это никому в живот не попало. Тебе определенно везет.

Уполномоченный НКВД посмотрел на брата и моргнул белесыми ресницами:

— Скажи, а тебе меня не жалко?

— Мне стол жалко, — ответил тот.

Максим и здесь не упустил возможности похвастаться своим приятелям:

— Вот у моего Борьки нервы. Ружье аыстрелило, так

ему не меня жалко, а какой-то паршивый стол.

Не то, чтобы Борис не любил брата. Нет, он просто знал, что если с Максимом обращаться по-хорошему, то он сейчас же сядет ему на шею.

Собачья плетка, которую так любил Максим, принадлежала немецкой овчарке Рексу. Когда-то Борис собственноручно выбрал щенка в подмосковном питомнике служебных собак и за пазухой привез его домой вместе с длинной родословной. Чистокровный щенок вырос и огромного, черного, как уголь, и на редкость умного пса. Летом Борис спал на веранде, а Рекс сидел рядом на цепи и охранял своего хозяина. Пес он был довольно серьезный и не давал спуска окрестным хулиганам, которые не раз грозились притравить его. Больше всех грозился Федька-Косой, который командовал всем окрестным хулиганьем.

В один солнечный зимний день, как раз после снегопада, Борис вышел на двор, чтобы расчистить снег. У порога, а судороге вытянув задние лапы, лежал Рекс. Он уткнулся носом а ступеньки, из черных шершавых ноздрей сочилась кровь. От порога к улице по свежевыпавшему снегу тянулся яркий кровавый след. Верный пес дополз до порога, но подняться по ступенькам у него уже не хватило сил.

Борис нагнулся, потрогал рукой еще теплое, но уже безжизненное тело собаки. Потом он кинулся в дом и сорвал со стенки ружье. На ходу щелкая затвором, он яростно крикнул Максиму:

— За мной! Рекса отравили! Где Федька-Косой? Я этого гада...

Младший брат, как бешеный, носился по снегу с ружьем наизготовку, разыскивая убийцу своего любимого Рекса. А следом за ним носился старший брат и тщетно пытался отнять у него ружье. С улицы прибежали мальчишки:

— Дяденька, дяденька... Да вашего Рекса машина переехала... Мы сами видели... А Федьки-Косого тут и близко не было...

Только тогда Борис успокоился и поставил ружье на предохранитель. После этого Максим а первый раз пожаловался матери:

— Собаку Борька любит, как человека. А вот я для него — пустое место.

В пункте женщин Максим любил ухаживать за чужими женами, как он выражался, за дамочками, и даже обосновывал почему:

— Двойная победа — и никакой ответственности.

По молодости лет Борис еще не понимал, что это значит, но упрямо возражал:

— Это все раино, что воровство.

— Это по законам Моисея так, — усмехался уполномоченный НКВД. — Но теперь не то время.

Соответственно этому Максим и женился — тоже на чужой жене. В глазах Бориса у Ольги, жены Максима, имелось два минуса. Первое — что она кончила не институт, а только мукомольный техникум. И второе — что она бросила своего первого мужа. И вместе с тем, Борис оказался косвенной причиной этого брака.

Борис часто бывал на вечеринках в доме своей одноклассницы Ирины. А Ольга жила у них в семье в качестве квартирантки. На вечеринках школьники играли в обтрепанный «флирт цветов», в фанты с робкими поцелуями и танцевали под патефон. Потом стучали в дверь квартирантки:

— Ольга, присоединяйся к нам!

Та выходила из своей комнаты, всегда кутаясь в большой белый платок ангорской шерсти, словно ее знобило. Фигура у нее была так себе, ничего особенного, но зато лицо... Это было лицо Мадонны, красоты редкостной, неземной. Вела она себя, как пришелец из чужого мира, и всегда немного скучала. Она никогда не смеялась, а только слабо улыбалась, да и то как-то про себя. Танцевала она неохотно, как деревянная, а если при игре в фанты доходила ее очередь целоваться, то она поджимала губы и отворачивалась.

— Не обращайте внимания, — шептала Ирина. — Она хорошая девушка, только немножко самовлюблена.

Жили они все по соседству, недалеко от Петровского парка. Однажды а этом парке погожим весенним вечерком застрелился студент. Он спокойно сидел на скамейке, мечтая о чем-то, потом вдруг вытащил из кармана наган и выстрелил себе а рот. В другом кармане самоубийцы нашли письмо — на имя ангелоподобной Ольги. Оказывается, он учился с ней в одном техникуме. Об этом поговорили, поговорили — и забыли. Мало ли всяких чудаков?

Но через несколько месяцеа, когда на дворе стояла поздняя осень, произошла новая неприятная история. Бориса вызвали к директору школы.

— Вы с Завалишиным дружили? — спросил директор.

— Да, я с ним на охоту ходил.

— Так вот — Завалишин застрелился... Из этого самого ружья. Он вам ничего не говорил... такого?

— Нет, совершенно ничего.

— Хорошо.. Пойдите к нему домой — от лица комсомольской организации. Возьмите с собой Ивана Странника, ведь это его двоюродный брат... Помогите там чем-нибудь.

Холодное ноябрьское утро. Стук подошв по голой промерзшей земле. Маленький домик на Песчаной улице. Убитая горем мать и темные пятна по стенам — следы крови. На потолке дырки — от той самой картечи, которую они еще недавно вместе катали из рубленого свинца. К штукатурке прилипли какие-то бесформенные серые кусочки — это то, что осталось от мозга его товарища по охоте.

Утром, вместо того, чтобы идти а школу, Завалишин сел в кресло, приставил двухстволку к виску и пальцем босой ноги спустил курки. Выстрелом одновременно из двух стволов, заряженных картечью, ему начисто оторвало голову. На столе лежало предсмертное письмо. Не матери, у которой был единственным сыном, нет — ангелоподобной Ольге. Письмо было конфисковано милицией, но и так все понимали, что там написано.

Тихий и замкнутый парень, Завалишин всегда держался в стороне от других подростков. Ничем он особенно не выделялся — ни а учебе, ни в спорте. Знаменит он стал только после смерти. Его самоубийство, среди школьников вещь необычайная, вызвало много разговороа и еще больше недоумения. Ирина пыталась оправдать свою квартирантку:

— Да Ольга здесь вовсе ни при чем!

— А почему он написал именно ей, а не кому-нибудь другому? — спрашивали школьники.

— Не знаю. Они встречались только у меня на вечеринках. И это все.

— Ну, а тот студент, что застрелился в парке?

— Там тоже ничего не было. Когда-то она пошла с ним один раз в кино, и это все. А за его дальнейшие поступки она не отвечает.

Школьники неодобрительно качали головами:

— Все равно, твоя Ольга какая-то недоделанная.

— Просто у нее рыбья кровь, — возражала Ирина. — Потому она все время и мерзнет. Она даже не может спать по ночам и, чтобы согреться, лезет ко мне под одеяло...

Вскоре после этого красавица Ольга вышла замуж за человека, которого она почти не знала, как говорится, за первого попавшегося. Злые языки шептали, что этим она только хотела избавиться от неприятных разговоров а связи с двумя самоубийствами. У каждого найдутся завистники и недоброжелатели, которые только и ждут предлога посплетничать. В довершение всех бед, сразу же после свадьбы, мужа Ольги забрали на три года и армию, и она осталась на положении соломенной вдовы. Теперь люди жалели ее. А дальше получилось так.

Продолжение в следующем номере.

Русь моя, милая Родина...

Последний дом

Из окон его мастерской стародавняя Вологда, так любимая им, не видна. Не видны ее сверкающие золотом купола, белокаменный Кремль, овеянный легендами, старинные дома — деревянные, основательные, изукрашенные резьбой и окруженные садами... Мастерская Леонида Щетнева находится в пятиэтажке «хрущёвской» постройки. Вокруг такие же панельные дома — это Вологда другая, нынешняя, индустриальная, не имеющая родового самобытного лица. Она мало привлекает художника, хотя выросший в рабочем пригороде во времена, когда всякая старина была не в почете, Леонид Щетнев не просто отдал дань привычному индустриальному пейзажу, в нем он кропотливо и добросовестно, как все, что делает, искал гармонию и красоту. И не нашел. Да и не мог найти, ибо пройдя многолетнюю школу замечательного вологодского художника Николая Васильевича Бурмагина — графика тонкого, лиричного, изысканного, изначально приверженного духовному началу, ему было трудно обмануть самого себя. Тем более, что и в его душе жила невысказанная, тихая любовь к родной земле, к ее прошлому и настоящему, так отличающая вологжан.

С тех пор, пожалуй, и стала его пристрастием сказочная и грустная старая Вологда, с ее былями и легендами, православным духом и народным здравомыслием, жизнерадостностью, приветливостью, деловитостью... В поисках осколков этой разбитой русской жизни, исчезнувших укладов и нравов, художник изъездил все вологодские земли, когда-то великие ее города и селения. Побывал в знаменитых на всю Русь монастырях, которых так много в богомольном северном краю, поверженных и разрушенных. С немыслимым трудом их восстанавливают ныне. Все, что волновало художника, переходило на листы: стремящиеся к небесам луковки церквей, просторные крестьянские избы, пляшущие вдоль тропинки пригорки, могучие древние монастыри — Кирилло-Белозерский, Прилуцкий, Ферапонтов... Так появилась целая серия гравюр, тонких, поэтических, навевающих светлую печаль.



Великий Устюг

Прилуцкий монастырь в Вологде.

Гравюра, вообще, искусство камерное. И когда рассматриваешь внимательно, подряд, один за другим, листы, привычный взгляду окружающий мир преображается. Он обретает многозвучие, яркость, проявляются незамечаемые прежде важные детали, значимые подробности, без которых наше ощущение мира было бы неполным. И тогда перестаешь замечать чистую и тонкую работу художника, его профессиональное мастерство и думаешь о совсем ином... О том, например, что совсем не прошлое увлекает вологодского графика Леонида Щетнева и не о нем он нам рассказывает в своих исторических пейзажах, а о будущем, которое в прошлом заключено. И кажется, что он по себе знает, как трудно жить человеку, лишенному повседневной красоты, осмысленной и одухотворенной, и памяти, глубинной, корневой, связывающей с прошлым, с предками... Он уверен, что без возвращения в нашу жизнь такой, обыденной, красоты и памяти, естественной и неосознанной, духовное возрождение Отечества невозможно.

Впрочем, сам Щетнев «высоких» слов не произносит. Он — скромный человек, у него нет шумной известности даже в профессиональных кругах, нет выгодных заказов, нет предложений иллюстрировать книги или оформлять альбомы, не часто его приглашают участвовать в выставках. Да и к тому, что делает, сам он относится критически... Он — обычный провинциальный художник, со всеми своими проблемами и сомнениями. Но как же тогда мы расточительны, если тихое творчество таких художников годами остается незамеченным, невостребованным? Или, может, мы так богаты!?

Елена КАЗЬМИНА

АРХИВЪ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦIИ

А. ТУРКУЛ

Герои Белой России

Харьков

Май 1919 года. Самое сочетание этих двух слов вызывает как бы прилив свежего дыхания. Начало большого наступления, наш сильный порыв, когда казалось, что с нами поднимается, докатится до Москвы, вся живая Россия, сметая советскую власть.

Я вижу их всех, моих боевых товарищей, их молодые улыбки, веселые глаза. Я вижу нашу сильную и светлую молодежь, слышу ее порывистое дыхание, то взрывы дружного пения, то порывы «ура».

В мае 1919 года я с батальоном двинулся на Бахмут, правее меня со своим батальоном Манштейн. Двое суток мы качались под Бахмутом туда и сюда в упорных боях. На третьи, к вечеру, атака моего батальона опрокинула красных, мы ворвались в Бахмут, и вот мы за Бахмутом, вот уже наступаем на станцию Ямы.

На правом фланге что-то застопорилось. Я повел туда мои цепи. Там, на путях, загибающихся буквой «п», застрял бронепоезд красных. Рельсы перед ним подорваны. Красные выкинули белый флаг, лохмотья рубахи на шесте. Командир бронепоезда в кожаной куртке, измазанный машинным маслом, начал с командиром первой роты переговоры о сдаче. Бронепоезд стоит тихо, едва курится из топки дымок.

Я отчаянно выцукал командира первой роты за его дипломатические переговоры с противником, за остановку, приказал немедленно переходить в атаку. Но красные уже успели перехитрить: они выслали вперед на рельсы разведку, которая выяснила, что бронепоезд может проскочить. И когда мы топтались у станции, бронепоезд вдруг открыл огонь из всех пушек. Грохот поднялся страшный. Охваченный огнем выстрелов, бронепоезд полным ходом стал уходить. Так и ушел.

Мы взяли Ямы. Взяли атакой станцию Лиман. Туда стянулся весь Второй офицерский генерала Дроздовского полк. После Лимана наступление помчало нас к Лозовой. Мы, действительно, мчались: за два дня батальон прошел маршем по тылам красных до ста верст.

Продолжение. Начало в №№ 1, 2, 3, 4/1991.

Стремительно ударили по Лозовой. Помню, я поднимал цепь в атаку, когда ко мне подскакал командир первой офицерской батареи полковник Вячеслав Туцевич, с ним рослый ординарец, подпрапорщик Климчук.

— Господин полковник, — сказал Туцевич, — прошу обождать минуту с атакой: я выкачу вперед пушки.

Два его орудия под огнем вынеслись вперед наших цепей, мгновенно снялись с передков, открыли беглый огонь. Красные поражены, у них смятение.

Всегда с истинным восхищением следил я за нашими артиллеристами. Никогда у артиллерии не было такой дружной спайки с пехотой, как в гражданской войне: мы связались с ней в один живой узел. Артиллеристы с удивительной чуткостью овладевали боевой обстановкой, превосходно понимали необходимость захвата почина в огне, поражали противника маневром. Они действовали по суворовскому завету: «удивить — победить». Потому-то с таким отчаянным бесстрашием они и выкатили свои пушки впереди наших наступающих цепей. Часто пехота и не развертывалась для атаки, а один артиллерийский огонь решал все.

Я должен, однако, сказать, что многие пехотные командиры злоупотребляли таким самопожертвованием артиллеристов и часто вынуждали их выкатить пушки без наблюдательных пунктов, без прикрытия, для стрельбы по красным в упор.

Бесстрашным и хладнокровным смельчаком был и артиллерийский полковник Туцевич. Вот с кого можно было бы писать образ классического белогвардейца: сухощавый, с тонким лицом, выдержанный, даже парадный со своим белым воротничком и манжетами. В великую войну он был офицером 26-й артиллерийской бригады. Это была законченная фигура офицера императорской армии. Белогвардеец был в его серых, холодных и пристальных глазах, в сухой фигуре, и в ясности его духа, в его джентельменстве, в его неумолимом чувстве долга.

С такими, как Туцевич, красные расправлялись беспощадно за одну только их более красивую породу. В нем не было ничего подчеркнутого: самый склад его натуры был таким отчетливым, точно он был вычеканен из одного куска светлого металла.

Как часто я любовался его мужественным хладнокровием и его красивой кавалерийской посадкой, когда он скакал в огне в сопровождении своего громадного Климчука. Я любовался и простотою Туцевича, сочетанием непоколебимого мужества с добродушием, даже нежностью и какой-то детской чистотой.

На первой офицерской батарее у нас был, можно сказать, артиллерийский монастырь. Дисциплину там довели до сверкания, а чистоту до лазаретной щепетильности. Нравы были отшельнические. На батарею принимали одних холостяков, женатых же ни за что. А женский пол не допускали к батарее ближе чем на пушечный выстрел. Такой монастырь был заведен Туцевичем.

У него считалось уже проступком, если один брал у другого в долг, скажем, до четверга, а отдавал в субботу. Достаточно: не сдержал честного слова. Бывали случаи, что за одно это удаляли с батареи.

Меня, пехотинца, особенно трогало, что Туцевич всей душой страдал за пехоту, жалел ее; его мучили ее жестокие потери. Солдаты обожали сдержанного, даже холодного с виду командира за его совершенную справедливость. И правда, хорошо и радостно было стоять с ним в огне.

Туцевич был убит при взятии Лозовой нашим случайным разрывом. Стреляла пушка полковника Думбадзе. Снаряд, задев за телеграфный провод, разорвался над головой Туцевича. Его изрешетило. У артиллеристов поднялась паника. Люди под огнем смешались в толпу. Только резкие окрики командиров заставили их вернуться к брошенным пушкам.

Я подошел к Туцевичу. Вокруг вытоптанная пыльная трава была в крови. Он кончался. Я накрыл фуражкой его голову. Над ним стоял подпрапорщик Климчук, громадный пожилой содат, темный от загара.

— Господин полковник, возьмите меня отсюда, — сказал он внезапно.

— Что ты, куда?

— В пехоту. Не могу оставаться на батарее. Все о нем будет напоминать. Не могу.

Туцевич скончался. Подпрапорщик Климчук, когда мы взяли у красных бронепоезд, был назначен туда фельдфебелем солдатской команды, а командовал бронепоездом артиллерийский капитан Рипке, такой же совершенный воин, как Туцевич.

Наступление унесло нас и с Лозовой. В начале июня я привел батальон свой в Изюм, где был весь полк. Сказать ли о том, что когда батальон подходил эшелоном к изюмскому вокзалу, послышались звуки музыки, и мы увидели полковой оркестр и офицерскую роту, выстроенных на перроне; впереди командир полка полковник Руммель.

Кого-то встречают музыкой, думали мы, выгружаясь. Я вышел из вагона, недоуменно оглядываясь. Но тут командир офицерской роты скомандовал:

— Рота, смирно, слушай, на-краул!

И подошел ко мне с рапортом. Музыкой и почетным караулом встречали, оказывается, мой первый батальон за его доблестный марш на Лозовую, за его сто верст в два дня, по красным тылам. Я немного оторопел, но принял, как полагается, рапорт и пропустил офицерскую роту церемониальным маршем. С оркестром музыки мы вступили в Изюм. Должен сказать, что такая нечаянная встреча с почетным караулом была единственной за всю мою военную жизнь.

В Изюме мы отдохнули от души. Днем был полковой обед, вечером нам дала отличный ужин офицерская рота. Как молодо мы смеялись, как беззаботно шумела беседа за обильными столами. Во всех нас, можно сказать, еще шумел боевой ветер, трепет огня.

В самом разгаре ужина был получен приказ: немедленно грузиться и наступать на Харьков. Я помню, с каким «ура» поднялись все из-за столов. Мы двинулись ночью со страшной стремительностью. Так бывает в грозе. Ее удары, перекаты все учащаются, затихают на мгновение, как будто напрягаясь, и обрушиваются одним разрешительным ударом. Таким разрешительным ударом наступления был Харьков.

Едва светало, еще ходили табуны холодного пара, когда первый батальон стал сгружаться на полустанке под Харьковом, где стоял в селе наш сводно-стрелковый полк. Стрелки спали на улице, в сене, у тачанок. Накануне сводный стрелковый полк наступал на Харьков, но неудачно, и отошел в расстройстве, с потерями.

Батальон сгружался, а я поскакал в штаб полка. На белых хатах и на плетнях, по самому низу, уже светилось желтое, прохладное солнце; за селом легла полоса холодной, точно умытой зари. Сады дымились росой. Вдруг бодрое «ура» раздалось в ясном воздухе. У одной из хат стоят солдаты, машут малиновыми фуражками.

Это была наша первая батарея, которая раньше нас была придана сводным стрелкам из Изюма. Дроздовцы в чужом полку, да еще со вчерашней неудачей, натерпелись многого, потому и встретили радостными воплями свой батальон, пришедший к ним на самой заре.

Зато командир сводно-стрелкового полка полковник



Генерал М. Г. Дроздовский

Гравицкий, заспанный и бледный, встретил меня недружелюбно. Я передал ему приказ о наступлении. Гравицкий усмехнулся и, рассматривая ногти, стал дерзко и холодно бранить начальство, командование, штабы. Им, мол, легко писать такие приказы, не зная боевой обстановки, а Харькова нам не взять никак. С нашими силами нечего туда и соваться.

Я выслушал его, потом сказал:

— Но приказ есть приказ. Выполнять мы его должны. В шесть утра начинаю наступление.

Гравицкий осмотрел меня с головы до ног с усмешкой:

— Как вам угодно, дело ваше.

— Я знаю. Но какое направление вы считаете самым опасным для наступления?

— Правый фланг, а что?

— Правый? Хорошо. Я буду наступать на правом. Зато вы потрудитесь наступать на левом.

На этом разговор окончился. Должен сказать, что это тот самый полковник Гравицкий, который позже, уже из Болгарии, перекинулся от нас к большевикам.

Я поскакал к батальону. Он стоял в рядах, вольно звеня амуницией. От солнца были светлы загоревшие молодые лица, влажный свет играл на штыках. Я посмотрел на часы: ровно шесть. Снял фуражку и перекрестился. Отдал приказ наступать.

Это было прекрасное утро, легкое и прозрачное. Батальон пошел в атаку так стремительно, будто его понес прозрачный сильный ветер. Если бы я мог рассказать о стихии атаки! Воины древней Эллады, когда шли на противника, били в такт ходу мечами и копьями о медные щиты, пели боевую песнь. Можно себе представить, какой страшный, медлительный ритм придавало их боевому движению пение и звон мечей.

Ритм же наших атак всегда напоминал мне бег огня. Вот поднялись, кинулись, бегут вперед. Тебя обгоняют люди, которых ты знаешь, но теперь не узнаешь совершенно, так до неузнаваемости преображены они стихией атаки. Все несется вперед, как вал огня: атакующие цепи, тачанки, санитары, раненые на тачанках, а сбитых бинтах, все кричат «ура».

В то утро наша атака мгновенно опрокинула красных,

сбила, погнала до вокзала Основа, под самым Харьковым. Красные нигде не могли зацепиться. У вокзала они перешли в контратаку, но батальон погнал их снова. Первая батарея выкатила пушки впереди цепей, расстреливая бегущих в упор.

Красные толпами кинулись в город. На плечах бегущих мы ворвались в Харьков. Уже мелькают бедные вывески, низкие дома, пыльная мостовая окраины, а люди в порыве атаки все еще не замечают, что мы уже в Харькове. Большой город вырастал перед нами в мареве. Почерневшие от загара, иссохшие, в пыли, катились мы по улицам.

Мы ворвались в Харьков так внезапно, порывом, что на окраине, у казарм захватили с разбега в плен батальон красных в полном составе: они как раз выбегали строиться на плац.

Теперь все это кажется мне огромным сном; я точно со стороны смотрю на самого себя, на того черноволосого молодого офицера, серого от пыли, разгоряченного, залитого потом. Уже полдень. С маузером в руке, с моей связью, кучкой таких же пыльных и разгоряченных солдат, увешанных ручными гранатами, я перехожу деревянный мост через Лопань у харьковской электрической станции.

Перед нами головная рота рассыпалась взводами в улицы. За нами наступает весь батальон. Мы сильно оторвались от него, одни переходим мост, гулко стучат шаги по настилам. Вдоль набережной я пошел по панели, моя связь пылит по мостовой.

Вдруг из-за угла с рычанием вылетела серая броневая машина. Броневик застопорил в нескольких шагах от меня, по борту красная надпись: «Товарищ Артем».

Броневик открыл огонь по батальону у электрической станции. Я прижался к стене, точно хотел уйти в нее целиком. «Товарищ Артем» гремит. Вся моя связь попрыгала с набережной под откос, к речке, точно провалилась сквозь землю.

В батальоне наши артиллеристы заметили меня у броневика и не открыли стрельбы. Если бы у «Товарища Артема» был боковой наблюдатель, меня мгновенно смело бы огнем. Но бокового наблюдателя не было; «Товарищ Артем» меня не заметил.

Под огнем я стал пробираться вдоль домов, ища какой-нибудь подворотни, выступа, угла, где укрыться. Дверь одного подъезда поддалась под рукой, приоткрылась, но на задвижку накинута цепочка. Я перебил цепочку выстрелом из маузера, вошел в подъезд.

Все живое кинулось от меня в ужасе. Мой выстрел, вероятно, показался взрывом. Обитатели квартиры лежали ничком на полу. На улице гремел «Товарищ Артем». Мне некогда было успокаивать жильцов. Я пробежал по каким-то комнатам, что-то опрокинул, поднялся по лестнице на второй этаж и там открыл окно.

Наконец-то, с этой наблюдательной вышки, я увидел всю свою связь, восемь дроздовцев, залегших под откосом на набережной. И они увидели меня; разгоряченные лица осклабились, а старший связи, подпрапорщик Сорока, замечательный боец, литой воин, махнул мне малиновой фуражкой и вдруг со связкой ручных гранат стал подниматься по насыпи к броневику.

Не скрою, у меня замерло сердце. «Сорока, черт этакий, да что же ты делаешь, — хотелось мне крикнуть подпрапорщику, — ведь это верная смерть.»

Сорока выбрался на набережную, стал бросать в броневик гранаты, метя в колеса. За ним выбралась и вся связь. Вокруг «Товарища Артема» поднялась такая грохотня и столбы взрывов, что «Товарищ» струхнул, дал задний ход и с рычанием умчался по Старо-Московской.

К нам подошел батальон. Мы быстро построились и с песнями двинулись на Сумскую, к Николаевской площади. И со смутным ревом Харьков, весь Харьков, как бы помчался и полился на нас жаркими, тесными толпами. Нас залило человеческим морем. Этого не забыть; не забыть душной давки, тысячи тысяч глаз, слез, улыбок, радостного безумства толпы.

Я вел батальон в тесноте; по улице вокруг нас шатало людские толпы, нас обдавало порывами «ура». Плачущие, смеющиеся лица. Целовали нас, наших коней, загорелые руки наших солдат. Это было безумство и радость освобождения. У одного из подъездов мне вынесли громадный букет свежих белых цветов. Нас так теснили, что я вполголоса приказал как можно крепче держать строй.

Батальон уже выходил на Николаевскую площадь. Тогда-то на его хвост, на подводчиков-мужиков, снова вынесся из-за угла «Товарищ Артем», пересек колонну, разметал, переранил огнем подводчиков и лошадей. Скрылся. Я приказал выкатить четыре пушки на улицы, во все стороны города, и ждать «Товарища Артема».

Человеческое море колыхалось на площади. Над толпой стоял какой-то светлый стон: «а-а-а». Где-то в хвосте у нас шнырял броневик; многочисленная толпа при малейшей панике могла шарахнуться от нас, смести батальон. На всякий случай, чтобы иметь точки опоры, я приказал занять часовыми все ворота и подъезды на площади.

«Товарищ Артем», спятивший с ума, вылетел снова. Со Старо-Московской он помчался вверх к Сумской, в самой гуще города, поливая все кругом из пулемета.

Когда я подошел к нашей пушке на Старо-Московской, артиллеристы под огнем «Артема» заряжали орудие. Улица узкая, покатая вниз. У лафета опоры нет. Пушка, сброшенная с передка, все равно катилась вниз. Выстрелили с хода. На улицу рухнули рамы всех ближайших окон, нас засыпало осколками стекол. Мы открыли по «Товарищу Артему» пальбу гранатами вдоль улицы. «Артем» отвечал пулеметом, нас обстреливали и сверху: многие артиллеристы были ранены в плечи и в головы. Наши кинулись с ручными гранатами на ближайшие чердаки. Там захватили четырех большевиков с наганами. Сгоряча уложили всех.

Черные фонтаны разрывов смыкались все плотнее вокруг «Товарища Артема». Здесь-то он и потерял сердце. Он дал задний ход, а ему надо было бы дать ход вперед, на нас, и завернуть за ближайший угол. Но он, отстреливаясь из пулемета, подался назад, в надежде скрыться в той самой улице, откуда выскочил.

На заднем ходу «Товарищ Артем» уперся в столб электрического фонаря. Он растерялся и толкал и гнул железный столб. Потом его закрыло пылью и дымом разрывов, он перестал стрелять. Тогда я приказал прекратить огонь. Дым медленно расходился. Броневик застрял внизу, посреди улицы, у погнутого фонарного столба. Он молчал.

Я послал связь проверить, что с противником. С ручными гранатами связь стала пробираться к броневику, прижимаясь к стенам домов. Вот окружили машину. Машут руками. Броневик молчит. Или в нем все перебиты, или бежали. Мы окружили трофей: внутри кожаные сиденья залиты кровью, завалены кучами обгоревшего тряпья. Никого. Бежали.

На Сумской, неподалеку, нашлась москательная лавка. Я приказал закрасить красную надпись «Товарищ Артем». Тут же, на месте боя, мы окрестили его «Полковник Туцевич». Когда мы выводили нашу белую надпись, подошел старик-еврей и вполголоса сказал мне, что люди с броневика прячутся тут, в переулке, на чердаке третьего дома.

Все тот же удивительный Сорока со своей связью забрался на чердак. Его встретили револьверной стрельбой. Чердак забросали ручными гранатами. Команда «Товарища Артема» сдалась. Это были отчаянные ребята, матросы в тельниках и кожаных куртках, черные от копоти и машинного масла, один в крови. Мне сказали, что начальник броневика, коренастый, с кривыми ногами, страшно сильный матрос, был ближайшим помощником харьковского палача, председателя чека Саенко.

Толпа уже ходила ходуном вокруг кучки пленных. Я впервые видел здесь ярость толпы, ужасную и отвратительную. В давке мы повели команду броневика. Их били палками, зонтиками, на них плевали, женщины кидались на них, царапали им лица. Конвоиры оттаскивали одних, кидались другие. Нас совершенно затеснили. С жадной яростью толпа кричала нам, чтобы мы прикончили матросню на месте, что мы не смеем уводить их, зверей, чекистов, мучителей. Какой-то старик тряс мне руки с рыданием:

— Куда вы их ведете, расстреливайте на месте, как они расстреляли моего сына, дочь. Они не солдаты, они палачи...

Но для нас они были пленные солдаты, и мы их вели и вывели команду «Товарища Артема» из ярой толпы. Проверка и допрос установили, что эти отчаянные ребята действительно, все до одного были чекистами, все зверствовали в Харькове. Их расстреляли.

Наш отряд стоял на Николаевской площади, штаб отряда был у гостиницы «Метрополь». Я пробивался к нему в толпе, меня окружили. Все спрашивали, подчинился ли генерал Деникин адмиралу Колчаку. Меня подняли на руки, чтобы лучше слышать ответ. Я помню, как перестало волноваться море голов, как толпа замерла без шапок. В глубокой тишине я сказал, что Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России генерал Деникин подчинился Верховному Правителю России адмиралу Колчаку, и был оглушен «ура».

А «Полковник Туцевич» с еще невысохшей краской, с трепещущим трехцветным флагом, тем временем метался по окраинным улицам, расстреливая толпы бегущих красных.

Моя головная рота уже дошла до выхода из Харькова, до Белгородского шоссе. Там к ней вышел офицерский партизанский отряд. Когда мы ворвались в Харьков, человек пятьдесят офицеров, в большевистской панике, успели захватить оружие, коней, и теперь присоединились к нам.

К вечеру появился командир сводно-стрелкового полка. Как старший в чине, он принял обязанности начальника гарнизона. Он занял гостиницу «Метрополь». Меня назначили комендантом города. Я разместился с моей комендатурой в «Гранд Отеле».

Вечером я, наконец, связался со вторым батальоном, наступавшим вдоль железной дороги. Он уже занимал главный харьковский вокзал.

Так был взят Харьков. Всю ночь на Николаевской площади не расходилась толпа, и я не раз просыпался от глухих раскатов «Ура».

На другой день, 12-го июня, весь Дроздовский полк стянулся в город. Батальоны отдыхали в казармах на Старо-Московской улице. Началось их усиленное обучение, а пополнялись мы так, что Второй офицерский полк развернулся после Харькова в целых три полка. Все наши новые добровольцы торопились «построить» себе дроздовские фуражки, надеть погоны. Город, можно сказать, залило нашим малиновым цветом, тем более, что на складах нашлась бездна цветного сукна. Нас так ждали в Харькове, что один тамошний шапочник заранее заготовил сотни фуражек белых полков и теперь бойко торговал ими.

На четвертые сутки прибыл Главнокомандующий, генерал Деникин. Парад на Николаевской площади. Громадные толпы. Все дамы в белых платьях, цветы. Торжественное молебствие. Главнокомандующий пропустил церемониальным маршем Дроздовские офицерские и Белозерский полки. От города генералу Деникину была поднесена икона и хлеб-соль. После парада он отбыл в городскую думу на торжественное заседание.

А у нас целыми днями шли строевые занятия. В конце второй недели харьковской стоянки я получил приказ идти с батальоном и артиллерией на Золочев. Красные наседали там на сводный стрелковый полк.

Сколько невест и сколько молодых жен наших новых добровольцев провожало на вокзал первый батальон.

Второй батальон с Якутским полком наступали тогда на Богодухов, в третий батальон, Манштейна, уже взял Ахтырку.

В Золочеве стрелки управились сами. Я получил приказ идти на Богодухов, где задержалось наступление якутцев и второго батальона. Целый день очень тяжелого боя под Богодуховом. Большие потери. Красные перебросили сюда свежие части. Левее нас якутцы и второй батальон медленно наступали под огнем красных бронепоездов.

В самой темноте мой первый батальон втянулся в город. Тогда же, без выстрела, вошли в город и красные. Я не хотел принимать ночного боя и приказал батальону отходить на окраину. Батальон выступил. Я с конными разведчиками поскакал за ним вслед. Южная теплая ночь стала такой темной, просто не видно ни зги. На Соборной площади строился какой-то отряд. Я подумал, что якутцы.

— Какой части? — окликнули нас.

Мне почувствовалось неладное. Мы проскакали площадь и придержали коней. Теперь и я окликнул:

— Какого полка?

В ответ из темноты снова тревожный окрик:

— Какого полка?

Тогда я ответил:

— Второго офицерского стрелкового.

Заскрежетали винтовки, отряд мгновенно опоясался огнем залпов. Под залпы мы понеслись на окраину. Я потерял фуражку.

Ночью наши разведчики узнали, что в монастыре под Богодуховом заночевал матросский отряд. Я пошел туда с двумя ротами. Без выстрела, в гробовом молчании, мы окружили монастырь и заняли его. Мертвецки пьяные матросы спали во дворе, под воротами, валялись всюду; спали все, даже часовые. Товарищи в ту ночь перепились. Тут все мгновенно было нашим.

Только на другой день, к полудню, мы прочно овладели Богодуховом, и за ним селом Корбины-Иваны. Красные каждый день пытались нападать на нас, мы их отгоняли контратаками. Дней шесть мы стояли в селе.

В третьей, помнится, роте моего батальона командовал взводом молодой подпоручик, черноволосый, белозубый и веселый храбрец, распорядительный офицер с превосходным самообладанием, за что он и получил командование взводом в офицерской роте, где было много старших его по чину. Он, кажется, учился где-то за границей, и казался нам иностранцем.

В Корбины к нему приехала жена. У нас было решительно запрещено пускать жен, матерей или сестер в боевую часть. Ротный командир отправил прибывшую ко мне в штаб за разрешением остаться в селе. Я помню эту невысокую и смуглую молодую женщину с матовыми черными волосами. Она была очень молчалива, но с той же ослепительной и прелестной улыбкой, как и у ее мужа. Впрочем, я ее видел только мельком и разрешил ей остаться в селе на два дня.

Утром, после ее отъезда, был бой. Красных легко отбили, но тот подпоручик в этом бою был убит. Мы похоронили его с отданием воинских почестей. Наш батюшка прочел над ним заупокойную молитву, и хор пропел ему «Вечную память».

Вскоре после того меня вызвали к командиру корпуса в Харьков. Проходя по одной из улиц, я увидел еврейскую похоронную процессию. Шла большая толпа. Я невольно остановился: на крышке черного гроба алела дроздовская фуражка. За черным катафалком, в толпе, я узнал ту самую молодую женщину, которую видел мельком в батальонном штабе. Мы с адъютантом присоединились к толпе провожающих. Вокруг меня стали шептаться: «Командир, его командир». Оказалось, что жена подпоручика во время моего отсутствия перевезла его прах в Харьков.

Вместе с провожающими мы вошли в синагогу. По дороге мне удалось вызвать дроздовский оркестр; и теперь уже не на православном, а на еврейском кладбище, с отданием воинских почестей был погребен этот подпоручик нашей третьей роты. Его молодой жене, окаменевшей от горя, я молча пожал на прощание руку.

В тот же вечер я выехал в батальон и нагнал его у станции Смородино. Мы наступали снова, на этот раз вдоль железной дороги на Сумы.

Окончание в следующем номере.

ИВАН ИЛЬИН

За национальную Россию

МАНИФЕСТ РУССКОГО ДВИЖЕНИЯ

6. Внешние причины русской революции

Причины русской революции глубоки и сложны. Не следует ни замалчивать их, ни упрощать. Напротив, тот, кто хочет бороться за Россию, должен тщательно и всесторонне продумать их...

Но это не значит отыскивать виновников и карать их. Дело не в наказании и не в мести. Кто из нас самих во всем прав и безошибочен? А революция уже оказалась неслыханным по суровости, мучительным наказанием. Наказаны все: и богатые, и средние, и бедные; и социалисты, и либералы, и правые; и народ, стонущий под игом коммунистов; и эмиграция, рассеянная по лицу земли, нищая и униженная. А ныне наказуются уже сами коммунисты, ненавистные всему народу, проклятые в истории и сами изобретшие для себя унизительные судьбища, пытки и казни: они будут терзать друг друга до конца, пока гнев народа не смоет их в бездну. Историческое возмездие неизбежно и непредотвратимо; и только злобные и мстительные натуры могут предвкушать его и требовать новых потоков крови, которые прольются и без их требования.

Итак, за Россию отвечаем перед Богом мы все, все сословия, все партии, все поколения, весь народ. Одни виновны в своекорыстии и жадности; другие в доктринерстве и заблуждениях; третьи в трусости и сентиментальности; четвертые в прямой измене; пятые в беспочвенном бахвальстве, заносчивости и непредметном образе действий. Все виновны и в неверном делании, и в пассивном неделании...

Продолжение. Начало в № 4/1991.

Но суть дела не в *виновниках*, а в причинах. Причины же — не личные, а *общие*.

Говоря о причинах русской революции, надо иметь в виду причины *внешне-европейские* и *внутри-русские*. — Начнем с первых.

1. Русская революция есть *последствие и проявление глубокого мирового кризиса*, переживаемого всеми странами, каждою по-своему. Этот кризис грозит всем народам. Он назревал давно, но большинство не видело его и не разумело. Сущность его в *засилии материи* и в *бессилии духа*.

Человек призван от Бога к духовной власти — над своею *душою* и над миром *материи*. Эту власть западно-европейское человечество постепенно утрачивает.

Оно утрачивает власть над *душою* потому, что перестает верить в ее *самостоятельное бытие* и пренебрегает ее глубокими *бессознательными истоками*. В древности человек владел душою при помощи *магии*. В христианскую эпоху он научился владеть ею через *божественное откровение и веру*. Ныне человек отверг и магию, и религию, и притом потому, что отверг и самую душу: он считает себя существом *материальным* и живет *суевериями*. Дух отмирает в нем; душа пренебрежена и запущена: ее ведут интересы, страсти и произвол. В человеке торжествует *материя* и *чувственный инстинкт*.

Но именно поэтому современное человечество утрачивает и власть над *материей*. Технические науки открывают перед ним *чрезмерные возможности*, которые человек не успевает ни продумать, ни подчинить высшим целям своей жизни. Материально — современный человек *может слишком много*; душевно — *слишком мало*; духовно — *почти ничего*. Он подобен ребенку, играющему с огнем, или обезьяне, жонглирующей динамитными бомбами. Материя становится самозаконной силой и увлекает человека в пропасть.

Так современное человечество затеяло и войну 1914 года, которая была ему не по силам. Так оно приближается и ныне к новой войне. Испытания и соблазны нарастают; для слабого духом жизненное бремя становится непосильным; техника изобретает душепотрясающие средства разрушения; духовные устои и удержи слабеют...

Русская революция возникла именно из такой диспропорции: испытаний, соблазнов и неравных потрясений, с одной стороны, и духовной неподготовленности — с другой. Эта диспропорция была выношена в Западной Европе и навязана ею нам *в виде войны*. Революция пришла в Россию в форме *военного крушения*.

2. Русская революция есть проявление современного *религиозного кризиса*: это есть попытка осуществить *антихристианский общественный и государственный строй*, задуманный в нравственном отношении Фридрихом Ницше, а хозяйственно и политически Карлом Марксом. Эта *зараза антихристианства* была принесена в Россию с Запада.

Западный европеец постепенно утрачивает веру в Бога и во Христа. Истоки этого безверия восходят к эпохе Возрождения (XIII—XV вв.) и к эпохе Реформации (XVI в.). Французские «энциклопедисты» (половина XVIII в.) как бы подводят итоги прежним «завоеваниям» безбожия и материализма. Французская революция явилась первым практическим проявлением их учения. Наполеоновские войны разнесли этот дух по всей Европе. «Просвещение» стало равнозначным материализму, отвлеченно-рассудочному мышлению, безверию и безбожию. Великие системы немецкой идеалистической философии (Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля) пытались противостоять этому безбожному духу и найти *философический* путь к Богу. Но учения их были непонятны даже современной им интеллигенции, а народу они не могли дать почти ничего. К тому же они были быстро извращены в сторону окончательного безбожия, материализма и прямого нигилизма (Бауэр, Фейербах, Штраус, Штирнер, Маркс). Во вторую половину XIX века эта атмосфера захватывает широкие круги западного общества и все более сгущается: повсюду *торжество чувственного опыта, плоского рассудка, материализма и безбожия*. Новое протестантское богословие питает дух сомнения и все более суживает сферу христианской веры. Запад теряет Христа. Фридрих Ницше начинает прямое восстание против христианства во имя «нестыдящегося» «варвара», во имя (буквально!) «дикого», «злого», «преступного» человека. В то же время этот новый враг христианства получает политическую и хозяйственно-общественную программу, а также и организацию от Карла Маркса. Яд готов. Ему нужно еще отстояться, перебродить и найти массу последователей. Он будет применен *в точке наименьшего сопротивления*. Этой точкой оказалась военно-переутомленная Россия, не выработавшая в себе этого яда, но именно поэтому не выработавшая и *необходимых отпорных противоядий для него*.

3. Итак, русская революция есть первый *опыт применения* западно-европейской программы экономического материализма и интернационального коммунизма. Россия стала как бы *опытным полем*, где жизненно насаждается безбожная и противоестественная химера, выдуманная на Западе для разрешения европейского социально-хозяйственного кризиса. Надо изумляться, с какою готовностью и безответственностью, с каким отсутствием патриотизма и достоинства русская революционная интеллигенция предоставила Россию западно-европейским экспериментаторам и палачам...

Открытия естествознания (пар, электричество и др.) и практическое использование их в промышленной технике вызывают в XIX веке великий переворот в промышленности и в строении общества. Промышленность становится машинной и фабричной; машина подавляет ручной труд; образуется промышленный и торговый капитал, с одной стороны, и все возрастающий класс наемных рабочих с другой*. Развивается мировой торговый оборот, слагается *биржевой* капитал со всеми его соблазнами и злоупотреблениями. Население Европы численно возрастает и уплотняется. Начинается погоня за рынками и колониями. Возникают две враждебные силы: *мировой капитал* и *мировой пролетариат*. Каждое государство оказывается *вооруженным хозяйственным предприятием* и конкурирует — и хозяйственно, и национально, и политически, и военно,— с другими государствами. И в то же время каждое государство *раздирается внутренними противоречиями:* и хозяйственными (борьба капитала и пролетариата, борьба промышленности и земледелия, борьба торговца и потребителя), и национальными (борьба национальностей и «меньшинств»), и политическими (республиканцы против монархистов, демократы против консерваторов, социалисты против буржуазных партий, клерикалы против светских партий), и религиозно-исповедными.

В этой атмосфере *назревающей социальной революции* и выдвинулась социалистическая программа. Коммунизм же есть не что иное, как последовательно и безоглядно проведенный социализм. Так, *Россия становится жертвою мирового капитализма и мирового социализма*...

4. Русская революция началась однако не во имя коммунизма, а во имя *демократии* и *республики:* она подготовлялась как *политическая* революция, которая должна водворить в России «свободу», «равенство» и «народоправство». Императорскую Россию расшатывали и подрывали, чтобы насадить в ней западно-европейские формы жизни, уже приведшие Европу к тупику и кризису.

Европейский политический кризис состоит, во-первых, в том, что в людях *вырождается правосознание:* оно оторвалось от своих *религиозных корней* и от христианского духа; и потому оно все более впадает в беспринципность и формализм; а это ведет к разнузданию правовой жизни, ко всеобщей деморализации и к социальному распылению. Правосознание отрывается постепенно и от *любви к родине:* в наши дни мир кишит людьми, которые или действительно не считают ни одну страну своею родиною, или же пытаются уверить себя, что они «интернационалисты».

Европейский политический кризис состоит, во-вторых, в том, что *демократически-парламентарный* строй медленно, но верно разлагает государственную машину, ослабляет государственную власть, понижает уровень правящей элиты и подрывает государственное единение партийною рознью. Все эти проявления и последствия демократически-парламентарного строя могли быть только вредны для России: они могли только развязать центробежные силы в стране, ослабить государственную власть, вызвать к жизни неслыханную демагогию, обострить классовую борьбу, создать угрозу гражданской войны и расшатать и ослабить Россию во всех отношениях — национально, хозяйственно и военно.

В действительности Россия нуждалась в *мире*, религиозном и гражданственном, в *воспитании народных масс*, в *закреплении и углублении аграрной реформы Столыпина* и в *развитии производительных сил*. Главные опасности ее были: *война* и *революция*.

5. Европейский кризис был делом, чуждым России. Европейская война была делом, крайне опасным для нас. Мы имели иные задания; мы боролись с иными затруднениями.

Рассудочное, *материалистическое «просвещение»* еще не проникло в толщу русского народа; оно заразило только русскую интеллигенцию — и то не всю, не до конца, и преодоление этой заразы было уже в ходу. Россия таила в себе великие запасы религиозной веры, что она и доказала во время коммунистических гонений на церковь. Русской интеллигенции предстояло великое задание — найти верное сочетание веры и знания и избежать того безбожия, которое разъедало европейскую культуру. К началу XX века этот поворот от *рассудка* к *верующему разуму* уже наметился в русской интеллигенции.

Хозяйственный кризис имел в России совсем иную природу, чем в Европе. Капитализм в России только еще зародился, и размеры русского «капитала» по сравнению с европейскими странами, а тем более с Соединенными Штатами — были просто детскими. Россия была страною сельскохозяйственною; и промышленного пролетариата в ней было сравнительно ничтожное количество. В «колониях» Россия нисколько не нуждалась: она еще не проработала собственных внутренних пространств и богатств. Вывоз и ввоз ее за последние 14 лет перед войною почти удвоились; вопрос о рынках сбыта мало беспокоил ее. Территориальные приобретения были ей решительно не нужны. Вопрос о черноморских проливах был делом далекого будущего. Участие в европейской войне, где в сущности за мировую гегемонию боролись Англия и Германия, ничего не обещало ей.

Политический кризис в России смягчился перед войною; он утратил свою остроту с тех пор, как, благодаря Столыпину, началась творческая работа Государственной Думы. Россия нуждалась больше всего в длительном *мире*, в *развитии своих производительных сил*, в установлении *прочного правопорядка* и расцвете своего *духовного творчества*. Как страна, технически отсталая, хозяйственно экстенсивная, не проработавшая еще ни своих душевных, ни своих хозяйственных возможностей, — она не

* Статистические данные о европейском пролетариате приведены в Русском Колоколе № 4.

могла принимать участия в борьбе европейских стран, которые *отчасти именно поэтому* торопились и ускоряли эту войну.

6. Вступая в 1914 году в великую войну, Россия имела единственного истинного друга — маленькую, но героическую Сербию. Только Сербия видела великие задания России; только она им сочувствовала; только для нее Россия была не *«просто средством»* и не просто *объектом* или *жертвою.*

Запад *никогда не знал Россию и не понимал ее.* Не зная ее и ее языка, не чуя ее духа, — он верил всякому вздору о ней и сам сочинял и распространял этот вздор. Европа боялась России, не любила ее и презирала ее. За последние 100 лет она всегда была готова навредить ей, ослабить и оклеветать ее. Запад интересовался Россией лишь в торговом и военном отношении; да разве еще в смысле возможного расчленения или подчинения ее. Следуя тайным указаниям европейских политических центров, которые будут впоследствии установлены и раскрыты исторической наукой, Россия была *клеветнически ославлена на весь мир,* как «оплот реакции», как гнездо деспотизма и рабства, как рассадник антисемитизма, как колосс на глиняных ногах. Движимая враждебными побуждениями, Европа была заинтересована в военном и революционном крушении России и помогала русским революционерам укрывательством, советом и деньгами. Она не скрывала этого. Она сделала все возможное, чтобы это осуществилось. А когда это совершилось, то Европа под всякими предлогами и видами делала все, чтобы помочь главному врагу России — советской власти, выдавая ее и принимая ее за законную представительницу русских державных прав и интересов.

Таким образом, русская коммунистическая революция была гибельным даром Запада — Востоку, а затем и всему миру. Она есть плод европейского духовного разложения; продукт европейского хозяйственно-социального кризиса; результат европейского политического «просвещения»; последствие европейской войны за рынки и за мировую гегемонию. Она есть детище европейского безбожия, европейского распада и европейского империализма.

7. Внутренние причины русской революции

К внешним причинам присоединились внутренние. Ни те, ни другие сами по себе не были *достаточными* причинами, но *вместе* — они довершили беду, и катастрофа разразилась.

В отличие от Франции, переживавшей перед своей большой революцией период упадка, Россия переживала в царствование Императора Николая Второго период бурного роста и расцвета*.

За двадцать лет (1894—1914) население ее увеличилось на 40%; урожай хлебов возрос в одной европейской России на 78%; количество рогатого скота возросло на 64%; количество добываемого угля увеличилось на 300%; нефти — на 65%, площадь под свекловицей — увеличилась на 150%, под хлопком — на 350%; железнодорожная сеть возросла на 103%; золота в Государственном Банке прибавилось на 146%. Бюджет Министерства Народного Просвещения увеличился на 628%, число обучающихся в низших учебных заведениях возросло на 96%, а средних — на 227%, в университетах — на 180%. Россия бурно строилась и расцветала; темп этого строительства значительно, иногда во много раз, *опережал рост населения* и мог соперничать с темпами Канады. Каждое следующее поколение имело бы все лучшие и лучшие условия жизни. Главный и труднейший из ее внутренних вопросов, — аграрный, — мирно разрешался. Помещичьи хозяйства, поскольку они были нежизнеспособны, таяли и скупались, при содействии государства, крестьянами. Перед самым началом революции крестьяне составляли около 80% всего населения страны. И вот, 79% земель сельскохозяйственного назначения принадлежало трудовому крестьянству**, и только 21% этих земель можно было причислить к «капиталистическому» землевладению. В то же время великая аграрная реформа Столыпина постепенно, но чрезвычайно успешно рассасывала хозяйственно и психологически — застойную сельскую общину, укрепляя в крестьянстве личную собственность на землю, насаждая хуторское землевладение и *развязывая великие запасы творческой инициативы во всей России****.

Итак, Россия шла на всех парах к великому подъему и расцвету. Этот подъем был сорван войной и революцией. В чем же причины этого срыва?

1. Великая европейская война (1914—1918) была для всех воюющих стран страшным потрясением, грозным историческим экзаменом. России пришлось приступить к нему в состоянии *не готовом,* в период неподготовленности армии и флота (после японской войны!), в эпоху хозяйственного переустройства, в эпоху духовного и политического брожения, в эпоху ослабления императорской власти, в эпоху технической отсталости. Все эти условия до крайности затрудняли военную победу. Война должна была неминуемо проявить все технические затруднения и все хозяйственные неустройства; а военные неудачи грозили вызвать всеобщий упадок духа и обострить душевно-духовный и политический кризис в стране. Это и совершилось.

2. Духовный кризис, проявившийся во время войны, состоял в том, что *русское всенародное правосознание не стояло на том уровне великодержавия, который был необходим России.* Так было и в народной массе, не постигавшей ни разумом, ни волею великодержавных задач, затруднений и опасностей России, и в интеллигенции, предававшейся сентиментальным мечтам, политическому радикализму и хозяйственно-социалистическим утопиям. Бороться за русское самостояние и за историческое единство России такое правосознание могло только при *большом подъеме духа,* при *непоколебимости монархической формы* и при *отсутствии тяжелых неудач на фронте.*

3. Это можно было бы выразить еще так: *русский духовный характер оказался не на высоте тех национальных задач, которые ему надо было разрешать****. В нем не оказалось надлежащей *религиозной укорененности, непоколеблющегося чувства собственного духовного достоинства, волевой самодисциплины,* отчетливого и властного *национального самосознания.* Все это имелось налицо; но не в достаточной силе и распространенности. Почему? Вследствие ряда исторических причин: вследствие недостаточной просвещенности простонародной души светом Евангелия и светом исторически-национального видения; вследствие зараженности русской интеллигенции безбожием и революционностью; вследствие сравнительной молодости и отсталости русского образования; вследствие двух с половиною векового татарского ига; вследствие непрестанных и трудных войн за последние 400 лет; вследствие великих бунтов — Смуты, Разинщины и Пугачевщины; вследствие непреодоленности сословных обид эпохи крепостного права; вследствие многонационального состава русского народа; вследствие всех трудностей смешанной азиатской крови, равнины и климата...

Русскому народу пришлось *принять на свои плечи бремя великодержавия до того, как созрел окончательно его характер,* до того, как окрепло его государственное и национальное самосознание. Нам пришлось нести все бремя *азиатского тыла* и *материкового пространства* — и в этой войне. И русский характер поколебался. России, стране *экстенсивной* и *технически отсталой,* пришлось воевать со странами *интенсивными* и *технически передовыми.* Время работало на Россию; но время требовало выдержки, а ее не хватило.

4. За последние два века *православная церковь* утратила свою независимость от государства и от его великодержавного аппарата. Это отразилось и на ее самосознании (она привыкала служить правительству и не дерзать самостоятельно вести народ к Богу), и на ее строении (назначение, отрыв от верующих, ослабление приходской жизни), и на ее воспитывающей силе, и на свободе и авторитетности ее суждений.

5. В крестьянстве не было еще утверждено начало *частной собственности;* а частная собственность воспитывает народ к хозяйственной инициативе, к самостоятельности, к правопорядку, к чувству собственного достоинства, к элементарной честности, к лояльности, к борьбе за родину. Крестьянство находилось во власти *количественного аграрного психоза,* всячески поддерживавшегося демагогией левых партий. Крестьянство видело спасение не в интенсификации хозяйства, а в расширении площади своего землевладения, и воображало при этом, что в стране имеются бесконечные запасы удобной земли и что эти запасы принадлежат помещикам: оставалось только «нажимать» на помещиков и «захватывать» государственную машину, т. е. приступать к *погромам* и *революции.* На этом психозе партия социалистов-революционеров и проводила февральскую революцию и выборы в Учредительное собрание (1917 г.).

6. В России не сложился еще и не окреп *средний класс,* уравновешивающий государство, составляющий оплот правопорядка, правосознания, частной инициативы, патриотизма, семьи, добрых нравов и порядочности. Богатое крестьянство, вышедшее из общины, и окрепший средний класс сумели бы уже через 20 лет отстоять Россию от соблазнов социализма и от восстания коммунистов. Это понимали европейские державы и потому торопились с войною.

7. Значительный кадр русской интеллигенции не был на высоте. Он был заражен западным рассудочничеством, доктринерством, безбожием и революционностью. Он «верил» в демократию и не понимал, что демократический строй не для всех народов подходящ и что он сам переживает великий кризис*. Эта часть русской интеллигенции предавалась всевозможным утопиям, — то сентиментальным (анархизм Кропоткина, толстовство), то революционным (республиканство, социализм, коммунизм). При этом революционная интеллигенция раз навсегда отвернулась от трона, создававшего 1000 лет великую Россию; она изолировала его, расшатала его оппозицией и клеветой, а сама оказалась совершенно неспособной к власти.

В России была и другая интеллигенция: верующая и верная, патриотическая и созидательная. Но именно *вследствие этого* она не болела честолюбием, не политиканствовала и обычно оказывалась оттесненной и заглушенной радикальными партиями.

8. В предреволюционной России не было *государственной сплоченности* и русский национально-государственный интерес не царил в умах. Шла социально-классовая борьба: помещики и крестьяне, фабриканты и рабочие, горожане и сельские жители, торговцы и потребители — выдвигали свой классовый интерес и группировались вокруг своих классовых партий. *Сверхклассовое* единение — важнейшее в жизни каждого государства, — только намечалось. Военные неудачи развязали классовую борьбу, и простой народ повалил за классовыми-революционными партиями. Белая армия осуществила сверхклассовое государственное единение по всей России, но психоз разложения и распада взял уже верх.

9. В предреволюционной России недоставало и *национальной сплоченности.* Целый ряд народов, входивших в состав русского государства, тянул *не к России,* а *от России прочь.* Эти народы не только участвовали в русском революционном движении; некоторые из них старались вредить России и за границей, — при помощи как явных, так и тайных организаций. Россия, как многонациональная империя, не закончила еще своего формирования. А за границей *назревал мировой заговор против нее.*

10. *Отношение к русской национальной армии* было в России не на высоте. Все слои народа, затронутые революционным брожением, смотрели на армию, как на орудие «реакционного» правительства, тянули к ее разложению и «революционному братанию» с нею. Так было уже в 1903—1905 году. В 1917 году это настроение вспыхнуло в виде настоящего психоза.

11. В довершение всех этих опасностей в России *пошатнулась вековая сила императорской династии.*

Силу династии колебали и расшатывали еще в XVIII веке дворцовые перевороты, производившиеся дворянством (1725 г. — восшествие на престол Екатерины I, 1730 г. — воцарение Анны Иоанновны, 1740 г. — воцарение Анны Леопольдовны, 1741 г. — воцарение Елизаветы Петровны, 1762 г. — свержение Петра III и воцарение Екатерины II, 1801 г. — убиение Павла I и 1825 г. — бунт декабристов): участники переворота навязывали трону свою волю и свой классовый интерес. Чтобы представить себе, чем это грозило России, достаточно вспомнить, что декабристы намеревались освободить крестьян *без земли,* т. е. пролетаризировать русское крестьянство (это всего через 50 лет после пугачевского бунта!)...

Для того, чтобы правовое оформление России, оживление ее творческих сил и освобождение крестьян могли состояться ко благу России, трон должен был предварительно окрепнуть и подняться на высоту сверхсословного, всенародного созерцания; что и состоялось при Императоре Николае I. Славные реформы Императора Александра II и, в частности, освобождение крестьян на условиях, недоступных и неизвестных Западу, были величавым проявлением окрепшей монархической власти. *Именно после этого творческого апофеоза монархии революционные партии немедленно начали свою террористическую работу против трона.*

Последовавшие затем многочисленные покушения на Царя-Освободителя, завершившиеся его мученической кончиной 1 марта 1881 года; новые покушения на Императора Александра III (1883 г. — при участии Ульянова, брата Ленина, и 1888 г. — крушение императорского поезда в Борках); убиение великого князя Сергия Александровича (1905 г.); поток террористических угроз, направленных против Императора Николая II и других членов династии (1905 г. и сл.), — все это глубоко оскорбляло русскую императорскую династию, колебало ее веру в свое призвание, подрывало в ней волю к власти, расшатывало ее водительную силу. Вокруг трона все время подогревалась и искусственно сгущалась атмосфера *республиканствующего недоверия;* в либерально-радикальных кругах царила клевета и разливалось злорадство...

После военных неудач 1915 года это настроение стало принимать формы сознательной изоляции и подготовки дворцового переворота. Монархический строй заживо разлагался. В членах династии угасала воля к трону и воля к власти. И все закончилось отречением и великим неискупимым мученичеством.

Таковы были внутренние причины революции в России. Все остальное было лишь проявлением или последствием этих причин: и февральский переворот, и октябрьская революция.

Продолжение в следующем номере.

* См. подробную статистическую сводку С. С. Ольденбурга в № 1 Русского Колокола. В основе этой сводки лежат данные объективного и очень осведомленного английского источника.

* Считая участки до 50 десятин. См. подробные данные у лучшего знатока аграрного вопроса в России проф. В. А. Косинского. Русский Колокол № 4.

** См. мою статью «Будущее русского крестьянства» в № 3 Русского Колокола.

*** См. об этом мои опыты: «Основные задачи правоведения в России». Публичная речь, произнесенная в Москве в 1922 году. Русская Мысль Прага, 1922, кн. VIII—XII. А также «Творческая идея нашего будущего», 1937.

«Моих не замайте...»

Коллеги!

Не будучи постоянным читателем вашего журнала, я только сейчас, по подсказке более начитанных доброжелателей прочел помещенную в ноябрьском номере за прошлый год бойкую статью В. Бондаренки «Гримасы образованщины». Надо сказать, что вот уже лет семь, если не больше, редкая постановочно-проработочная или проработочно-постановочная статья этого автора обходится без негативного упоминания моей фамилии, причем зачастую уничижительно приводимой во множественном числе и уязвления ради написанной не иначе как со строчной буквы. Не желая гадать о причинах пристрастий, сколь стойких, столь безответных (сам я по отношению к В. Бондаренке никакими комплексами не страдаю и платить ему той же грамматической монетой считаю мелким и пошлым), я нимало не удивился тому, что и в новой статье опять выведен одним из главных... — куда там «персонажей», хотя бы и «отрицательных». Мало того, что в сотый раз назван «политически выдержанным, идеологически бескомпромиссным» лидером «неорапповского направления в критике»,— сверх всего зачислен в «доносчики и погромщики всех мастей», которые только и знают, что «суетиться» под ногами В. Корнилова и В. Распутина, Б. Можаева и С. Аверинцева. Любопытствую: кто из них поручал В. Бондаренке адвокатствовать от своего авторитетного имени?..

Разумеется, легче и проще всего было бы не обращать никакого внимания на порядком примелькавшиеся, и, признаться, изрядно поднадоевшие эскапады неистового обличителя. Благо что один из «черных полковников» отечественного разлива преподал на сей счет вдохновляющий урок наплевательства на критику, истерически прокричав о себе на всю страну с трибуны последнего съезда народных депутатов СССР: да, подонок! да, реакционер! да, ястреб! Но, с другой стороны, разве не тот же В. Бондаренко настолько озабочен своим престижем, что — см. «Московский литератор» от 30 ноября 1990 года, — не стыдясь прослыть склочником, бьет челом администрации ЦДЛ, заклинает ее запретить доступ в ресторанный зал корреспонденту радио «Свобода» Марку Дейчу, дабы тому не повадно было передавать в эфир, кто с кем сидит и что ест-пьет? Ничего не скажешь — тоже забота для литератора, и не шутейная, когда есть что таить от стороннего взгляда. Но тем более, значит, негоже помалкивать в моем случае, коль скоро речь идет не о сокрытии ресторанных непотребств, обеденного меню или круга приятелей по застолью, а о литературной репутации, профессиональном достоинстве. А сверх этого — о репутации и достоинстве писательского движения «Апрель», которое заклеймено, похоже, лишь потому, что я, имея честь к нему принадлежать и его представлять (а не руководить им, как с пережимом подчеркнуто в статье), замутил собою и своим «идеологическим грузом» ряды «апрелевцев». Оттого и счел необходимым не просто отозваться протестующим письмом в редакцию на очередные выпады В. Бондаренки, но настоятельно потребовать публикации протеста на страницах того именно журнала, который так охотно и щедро отдал свои дефицитные полосы групповой сваре под видом литературной полемики. Как иначе прикажете понимать оскорбительное зачисление меня в разряд «авторов критических доносов, идеологических разгромов, фальшивых восторгов и лизоблюдских речей»? Основание — спор (не отрекаюсь от него и сегодня) шестилетней давности со статьей самого В. Бондаренки. Не хлипко ли для столь широковещательных инсинуаций, громогласных обличений и уличений?

Допускаю: любимая мозоль. Но неужто так сильно болит, что до сих пор застит свет? Скорее все же — эгоцентрическая привычка взирать на мир исключительно с колокольни «себя любимого» и все вокруг диктаторски подгонять под свой аршин, хотя бы и кривой. Отсюда — самоослепленное «ячество», не знающее удержу и не признающее полей притяжения. Сплошь отталкивание. Добро бы от собственной персоны отталкивал В. Бондаренко неугодных, — так нет же: отторгает, отлучает от литературы. По какому, спрашивается, праву? Не таланта, которого Бог не дал. И не образованности, которая то и дело хромает. Похоже, по примитивному кулачному. Куда там «добро с кулаками»! Одни кулаки без добра...

Но в литературе свои веру и правду, какими б они ни были, кулаком не утверждают. Позволительно спросить поэтому: с какой стати я должен ориентировать их не на собственные вкусы и симпатии, взгляды и позиции, а на директивы В. Бондаренки? Мало, что ли, спускалось мне директив за прожитые годы и десятилетия!

Если глагол «доносить» для В. Бондаренки доступнее и понятнее глагола «писать», то что же — пусть будет так: за три с лишним десятка лет работы в литературоведении и критике я действительно «доносил» на талантов и бездарей. «Доносил» тем, что и устно и печатно защищал от санкционированных аппаратными верхами проработок и погромов Василя Быкова и Булата Окуджаву, Иона Друцэ и Лилли Промет. Тем, что в романе В. Кочетова «Угол падения» выявлял сталинистские симпатии автора, а роман М. Алексеева «Вишневый омут» не соглашался признавать вершинным завоеванием современной прозы; что в антиисторической беллетристике В. Пикуля видел образец пошлости и безвкусицы, а «Индустриальную балладу» М. Колесникова вообще считал явлением внелитературным. Тем, что любимыми «героями» моих работ чаще всего выступали Юрий Трифонов и Федор Абрамов, Вера Панова и Иван Мележ, Даниил Гранин и Чингиз Айтматов, Анатолий Рыбаков и Йонас Авижюс, Григорий Бакланов и Алесь Адамович, Янка Брыль и Яан Кросс, Сильва Капутикян и Юстинас Марцинкявичюс, Юрий Давыдов и Миколас Слуцкис. Односторонний, заявите, выбор? Ничуть. В том же ряду и Валентин Распутин, и Дмитрий Балашов, которого, к слову, привелось защищать не от кого-нибудь, а от журнала «Москва», и покойный Исай Калашников, которому «шили» идеализацию Чингисхана...

Представляю, как заиграли бы у В. Бондаренки скулы и налились мускулы, если б среди моих публикаций (а их за шестьсот перевалило на нынешний день) удалось обнаружить хотя бы одну статейку или на худой конец рецензийку, славословящую брежневскую ли трилогию, романы ли Шарафа Рашидова. И как возликовал бы он, откопав хоть полслова в одобрение изгнания ли Александра Солженицына, ссылки ли А. Д. Сахарова. За неимением ничего подобного могу лишь посочувствовать шустрому изыскателю. А заодно спросить со всей прямотой: кто из нас воспевал афганские стыд и позор, уподобляя боевиков из имперских романов А. Проханова дружинникам Ермака в Сибири? И кто от кого защищал чистоту ленинизма, марксистско-ленинской идеологии и методологии — я от Аполлона Кузьмина и С. Лыкошина или они от меня? Первый, помнится, отказав мне в марксизме, обозвал прилежным, превзошедшим учителя учеником Ричарда Пайпса (отнюдь не чувствую себя этим ни оскорбленным, ни униженным, ибо к уважаемому американскому историку отношусь с почтительным интересом). Второй обвинил в злоумышленных искажениях Ленина, которые-де носят у меня «характер обобщений, свидетельствующих об извращении ленинских идей и замене их на собственные пристрастия». Так в книге С. Лыкошина «Сердце у нас одно» (М., «Молодая гвардия», 1984, с. 76). В той же, но под другим названием и в другом издательстве вышедшей книге «За белой стеной» (М., «Современник», 1984, с. 222) повторено и того хлеще: «...характер обобщений, что несомненно свидетельствует о подтасовке и подлоге ленинских идей, замене их на собственные пристрастия». Ну, не в пору ли, право слово, было заводить на меня персональное дело, как на тогдашнего члена КПСС, скатившегося к ревизионизму? И завели бы, если б, наученный горьким опытом, я не предпринял в ответ упредительных мер...

Так что, вопреки вещуну В. Бондаренке, никак не могу признать себя идеологическим рупором застоя. Какой, к черту, рупор, если два десятка лет был мечен клеймом «подписанта» и, наказанный за упрямство ЦК-скими чиновниками и послушными СП-скими исполнителями, по сию пору остаюсь практически невыездным (дальше бывших «соцстран» не пускали, да и туда со скрипом. Правда, по недосмотру случились как-то Сирия и Ирак).

Но тут-то наверняка припасен у В. Бондаренки камень за пазухой, которым он полагает сразить насмерть: а как же мой спор со статьей М. Лобанова «Освобождение», что уже несколько раз ставили мне лыком в строку? Отвечаю: и в этом случае не стану покаянно биться лбом об пол. Случись сейчас вести тот спор заново — не изменил бы ни слова. Потому что не колхозы (диву, кстати, даюсь, как и по сей день благоволят к ним иные народолюбствующие национал-патриоты) защищал тогда от М. Лобанова, не коллективизацию, обернувшуюся спровоцированным голодом, не раскрестьянивание страны, от которого 60 лет спустя оправиться никак не можем, а наследие Валентина Овечкина, глумливо третируемое критикой. И возражал против того, чтобы всю нашу литературу равнять отныне на «Драчуны», что, впрочем, отвечало и тогдашнему настрою М. Алексеева, также осудившего своего апологета за то, что вознес его выше «самого» Шолохова.

Значит, рыцарь без страха и упрека? — слышу о себе каверзный вопрос и неугомонного В. Бондаренки, и снисходительной к нему редакции «Слова». О нет, коллеги, совсем нет. Если В. Бондаренко «не слышал, не читал» моих покаяний, то это его, а не моя печаль. Не стану же я ему вслух зачитывать соответствующие абзацы из «Диалога о правде и кривде» с молодым литературным и кинокритиком Алексеем Ерохиным («Взгляд». Критика. Полемика. Публикации. Выпуск 2. М., «Советский писатель», 1989). Не для него поэтому, а для дезориентированных им читателей журнала считаю полезным сказать о том, что вменяю себе в вину, хотя не совсем в ту, а вернее совсем не в ту, за которую призывает к ответу В. Бондаренко.

Два десятка лет занимаясь многоразличными теоретическими и историческими, общекультурными и литературными аспектами «национального вопроса», непозволительно долго, вплоть до жестоко отрезвляющих потрясений последних лет, легковерно и бездумно исходил из его декларируемой решенности, бесконфликтности и беспроблемности...

Поздновато, лишь к концу 70-х годов пришел к мысли о необходимости изгнать из своей лексики слова «социалистический реализм», хотя в конкурсах на лучшие работы о нем и прежде не участвовал. А до этого слишком рьяно поддержал дискутировавшийся тезис о социалистическом реализме как открытой эстетической системе. Правда, ввязался в дискуссию, соблазнившись возможностью растворить «метод» в безбрежии направлений, стилей и форм. Но, во-первых, кто, кроме меня, знал об этих подспудных намерениях? И, во-вторых, не значило ли это идти к цели не прямым путем, а окольным, компромиссно прибегать к обходным маневрам?..

Вообще, пора признать, самонадеянно переоценивал подчас в собственных статьях значение подтекста. Тем паче что он превращался зачастую в шифр, который, сейчас, спустя годы, и самому приходится разгадывать не без усилий. Взять, к примеру, статью о «Нетерпении» Юрия Трифонова. Писал ее, преследуя сверхзадачу, — на примере народовольцев оправдать диссидентское инакомыслие. Статью заметили, даже похваливали, но сокровенная мысль ее оказалась упрятанной столь глубоко, что многими так и не была вычитана. Пример, к досаде, не единственный. Уж если Аполлон Кузьмич, предвзятый и злобный критик книги «Роман и история», ни словом не обмолвился о главных для меня «антикультовских», антисталинских мотивах, то где гарантия, что их распознали читатели?..

Стало быть, не всегда доставало мужества и последовательности в высказывании своих убеждений. Многое и вовсе не высказывалось открытым текстом, откладывалось на «потом», до лучших времен. Не всегда полным голосом доводилось отстаивать то, что считал нужным отстоять, и осуждать достойное осуждения...

И, конечно, в некоторых работах, особенно по «национальному вопросу» и проблемам отечественной истории, непростительно часто и помногу цитировал Ленина, причем некритически, или принимая за абсолютную истину его теоретические, исторические, философские, политические суждения, или подавляя в себе даже робкие сомнения в их истинности...

А как же «классовые заслуги»? — возбужденно потирает руки В. Бондаренко. Снова раздосадую самозванного судию: в них каяться не стану. Потому что не писал благоглупостей, которые приписывают мне задним числом. Не следуя примеру журнала «Молодая гвардия», одной из трибун нынешнего национал-патриотизма, не предпочитал «классовый признак» общечеловеческим ценностям, гуманизму и демократии. И если все же настаивал на нестерпимой для В. Бондаренки «классовой точке зрения», то отнюдь не по отношению к современным делам-заботам, как уверяет недобросовестный, склонный к передержкам и подтасовкам оппонент, а к историческому прошлому, которое и поныне предстает зачастую спрямленным и упрощенным, искаженно идеализированным. Как считал тогда, в пору застоя, так и считаю теперь на подъемах и спадах (последних значительно больше) перестройки, что самодержавная Россия была плохо приспособлена для счастья человеческого и народного. (Но отсюда никак не следует, будто наша социалистическая казарма как раз для него.) Не согласны? Вольному воля. Но не требуйте, чтобы и я думал непременно по-вашему.

У каждого в прошлом свои ориентиры, по которым он выверяет, с которыми соотносит знание и чувство истории. И если у В. Бондаренки, скажем, кумир К. Леонтьев с его апологией политических заморозков, крайне симпатичной нынешним охранителям, то для меня, сформировавшегося мировоззренчески в послесталинскую оттепель, превыше всех Герцен. Благо, повторенный им вслед за польскими филоматами и филаретами девиз «За вашу и нашу свободу!» столь многократно усилен политическими реалиями современности, что еще надолго останется путеводным образцом гражданского мужества и нравственного совершенства.

Таковы мои вера и правда. И если они кому-то не по нутру, то пусть остается со своими. Только при этом моих не замайте...

В. ОСКОЦКИЙ

Несколько слов вослед

Мы печатаем это «протестующее письмо» в том виде, в каком получили его от автора. Оно, как нам кажется, в достаточной степени говорит само за себя и предоставляет возможность для размышлений о многих явлениях нашей литературной жизни, в том числе о судьбах критиков, придерживавшихся во времена застоя наиболее ортодоксальных взглядов и ставших ныне радикальными лидерами «Апреля», да и не только «Апреля», но и многих других новоявленных «демократических» движений и партий, о которых можно сказать словами Ф. М. Достоевского из «Бесов»: «Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных».

Наша надежда на *честных* в том же демократическом движении, на то, что они рано или поздно разберутся *кто есть кто* в наше сложное, драматичное время, когда «новое вино» усиленно вливается в «старые меха». Потому столь гневлив и автор этого письма, что методы борьбы с инакомыслящими остались старые. В. Оскоцкий пишет, что «не изменил бы ни слова» в своем споре со статьей М. Лобанова «Освобождение». Но в том-то и дело, что это был вовсе не спор, а расправа над автором, посмевшим усомниться в коллективизации. Напомню, что сначала в «Литературной газете» (1983, № 1) появилась статья П. Николаева «Освобождение»... от чего», а затем в «Литературной России» — В. Оскоцкого «Литературные игрища, или Тотальный нигилизм» (1983, № 4), в которой прямо требовалось призвать к ответственности не только М. Лобанова, но и журнал «Волга». Эти статьи появились перед заседанием секретариата и были, как и многие подобные, наводкой, не чем иным, как «доносительной» критикой. Как правило, они спускались в редакции или заказывались соответствующими отделами ЦК, но писались не по принуждению, а вполне добровольно, искренне и со страстью. К таким ролям допускались далеко не все, а избранные, наиболее доверенные, умевшие пользоваться идеологическими удавками об «отходе от классовых позиций», от «ленинской теории двух культур» и т. п. Далее события развивались как по сценарию, впрочем не «как», а по сценарию, у которого были и свои режиссеры, и свои исполнители. Подобная критика потому и была «доносительной», что не ограничивалась чисто литературной полемикой, а была рассчитана именно на последующее принятие административных мер. И в данном случае оргвыводы последовали незамедлительно на секретариате Правления СП РСФСР (на нем-то и присутствовал главный «режиссер» подобных «спектаклей» времен застоя — зам. зав. отдела культуры ЦК КПСС Альберт Беляев, ныне тоже ставший воинствующим «демократом»). Здесь уже не стеснялись в выражениях. «Удар был нанесен всей советской литературе», — восклицал В. Поволяев. «У Лобанова в статье совершена, на мой взгляд, — вторил ему Егор Исаев, — ревизия основной, генеральной исторической идеи всего нашего государства и всей нашей деятельности» («Литературная Россия», 1983, № 9).

В результате главный редактор «Волги» был снят с работы, а Михаил Лобанов на несколько лет отлучен от литературы, ни один редактор до 1985 года не осмеливался публиковать его. Таковы вот были последствия этого «спора», «шифр» к которому сам В. Оскоцкий, видимо, тоже запамятовал. Что ж, приходится напоминать...

В. КАЛУГИН

СЛОВО

ЖУРНАЛ РЕДАКТИРУЮТ:
Арсений Ларионов, главный редактор, председатель общественно-редакционного совета
Виктор Калугин, заместитель главного редактора
Артемий Игнатьев, главный художник
Владимир Бондаренко, обозреватель
Елена Егорунина, обозреватель
Алексей Тимофеев, обозреватель
Юрий Чернелевский, обозреватель
Марина Подгорская, заведующая секретариатом
Художественно-технический редактор Е. М. Верба.
Технический редактор Н. Н. Козлова.
Корректор М. Х. Асалиева.

Сдано в набор 25.01.91.
Подписано в печать 01. 04. 91.
Формат 84×108 1/16.
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная.
Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42.
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч.-изд. л. 13,44+1,06.
Тираж 180 000.
Заказ 1993.
Цена 1 р. 50 к.

Адрес редакции: 129272, Москва, Сущевский вал, 64.
Телефон для справок: 281-50-98.

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфкомбинат Госкомпечати СССР. 170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.
Во всех случаях обнаружения полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться на Тверской полиграфкомбинат по адресу, указанному в выходных сведениях.
Вопросами подписки и доставки журнала занимаются предприятия связи.

Литературно-художественный и общественно-политический журнал.
Учредители — Госкомпечать СССР и трудовой коллектив редакции журнала.
Издается с сентября 1936 года.
№ 5. 1991.
Издательство «Книжная палата», журнал «Слово», 1991.

В НОМЕРЕ

НАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

Русь моя, милая Родина... 2, 3 стр. обл., сс. 76—77
А. Ларионов. Последние — из миллионов 1
С. Бородин. Наша жизнь еще впереди. Письма с войны 4
А. Виноградов. Победоносец 11

ИСТОРИЯ

А. Деникин. Мировые события и русский вопрос 12
В. Сабинин. Сталинградская мадонна 20
А. Алексеева. Великий терпеливец 25

ЗАКОН БОЖИЙ

С. Тимченко. Соборное творчество 30
Современная иконопись 33—40
Раздел первый 41
Раздел второй 43
М. Вострышев. Не творите мучеников 45
Митрополит Вениамин. Пишу, что на душе... 47

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. БУЛГАКОВА

М. Булгаков. Великий канцлер 51

ЛИТЕРАТУРА

К. Воробьев. Чертов палец 58
А. Жуков. Осенние песни о весне 64
В. Бондаренко. Роман не для слабонервных 71
Г. Климов. Князь мира сего 73

АРХИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

А. Туркул. Герои Белой России 78

МАНИФЕСТ РУССКОГО ДВИЖЕНИЯ

И. Ильин. За национальную Россию 82

ПИСЬМО В НОМЕР

В. Оскоцкий. «Моих не замайте...» 86
В. Калугин. Несколько слов вослед 87

Русь моя, милая Родина...



КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Очерк о художнике Леониде Щетиеве читайте на стр. 76—77.